

ЖУРНАЛ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ  
**СИБИРЬ**  
389/6 6.2021

Литературно-художественный и культурно-просветительский  
журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель — Иркутское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Союз писателей России»

Журнал выходит при финансовой помощи

Министерства культуры и архивов Иркутской области

Основан в 1930 году. Выходит 6 раз в год

## *Содержание*

### Хрестоматия

200 лет со дня рождения

**Федор Достоевский.** Мысли о России и русском народе ..... 3

200 лет со дня рождения

**Николай Некрасов.** Всюду родимую Русь узнаю ..... 8

### Сюве

Юбилей иркутских писателей

**Юрий Баранов.** Наш крепкий отряд ..... 12

### Поэзия

К 90-летию Иркутской писательской организации.

Избранные стихи иркутских поэтов

**Ростислав Филиппов.** Господи, взгляда с меня не своди... ..... 15

**Михаил Трофимов.** И ко мне слетятся птицы... ..... 25

**Петр Реутский.** Вспоминайте меня весело... ..... 37

**Светлана Кузнецова.** Над судьбою, что мне положена... ..... 49

**Татьяна Суровцева.** Все же мир — вдохновенье и тайна... ..... 60

**Марк Сергеев.** Души огонь неугасимый... ..... 80

**Сергей Иоффе.** Я в этот город возвращаюсь... ..... 91

**Юрий Левитанский.** Лермонтов. Облако. Демон. .... 96

### Проза

К 90-летию Иркутской писательской организации.

Избранные произведения иркутских прозаиков

**Константин Седых.** Роман и Дашутка. Глава из романа «Даурия» ..... 20

**Петр Петров.** Борель. Глава из романа ..... 30

**Гавриил Кунгуров.** Артамошка Лузин. Глава из повести ..... 44

**Лев Кукуев.** Живые и мертвые. Отрывок из романа ..... 55

**Алексей Зверев.** Ласточки. Рассказ ..... 68

**Валентин Распутин.** Там, на краю оврага. Рассказ ..... 87

**Глеб Пакулов.** Сугробный старец. Глава из романа «Гарь» ..... 104

### Стрижки и истории

**Протоиерей Евгений Старцев.** Посольский монастырь и миссия за Байкалом ..... 109

**Валерий Медведь, Сергей Доценко.** Русоцентризм ..... 116

**Михаил Орфанов.** Сибирские колонизаторы. Очерки ..... 122

## Очерк и публицистика

**Василий Козлов.** Письма Валентина Распутина Николаю Беляеву ..... 160

## Критика

**Надежда Тендитник.** Иркутские писатели А. Зверев, А. Горбунов, В. Забелло ..... 175

**Валентина Иванова.** Близкий человек. Слово о прозе Альберта Гурулёва ..... 192

**Александр Козин.** В поисках пути праведного.

*О романе Анатолия Байбородина «Боже мой...»* ..... 198

**Алексей Головкин.** Суровой прозой о верлибре ..... 202

**Елена Жданова.** Пять минут, полёт нормальный...

*Слово о сибирской литературе на страницах журнала «Азъ-арт»* ..... 206

## Радевица

**Валентина Семенова.** Геннадий Машкин — писатель талантливый и разный.

*Заметки редактора* ..... 210

**Василий Ознобихин.** Вдохновение и мужество.

*Памяти Надежды Степановны Тендитник* ..... 216

## Вернисаж

**Тамара Драница.** Иркутский портрет ..... 220

## Сулочка к ребру

**Степан Правдуровский.** Пародии ..... 224

## Книжная лавка

**Игорь Шумейко.** Писатели байкальского побережья.

*В.П. Скиф. «Байкальское Переделкино»* ..... 227

**Владимир Скиф.** С ней дружат Байкал и Отечество. Предисловие к книге Тамары

*Бусаргиной «Их песни допоят байкальские метели...»* ..... 232

**Книжная полка** ..... 235

## События

**Высокие награды** ..... 239

**Журнал «Сибирь» удостоился «Золотого витязя»** ..... 241

**Юрий Харлашкин.** «Сияние России» в Иркутске ..... 243

Главный редактор **А.Г. БАЙБОРОДИН**

Директор редакции **Ю.И. БАРАНОВ**

Заведующий отделом поэзии **В.П. СКИФ**

Заведующий отделом прозы, ответственный секретарь **С.В. ЗУБАКОВА**

### СОВЕТ ЖУРНАЛА

Г.В. Аксаментов, А.А. Антипин, А.С. Гурулёв,

В.К. Забелло, В.В. Козлов, И.И. Козлов, В.Н. Хайрюзов

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются, кроме особо оговоренных случаев. Редакция оставляет за собой право принятые к печати рукописи редактировать и корректировать. Произведения более пяти авторских листов к рассмотрению не принимаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Оформление обложки Г.Г. Гордиевских. Комп. верстка А.Л. Гордиевских. Корректор Н.О. Шильникова.

**Журнал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области.  
Свидетельство о регистрации СМИ от 13.12.2012 г. ПИ № ТУ38-00600**

Адрес редакции: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40. Адрес учредителя: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40.

Телефон редакции: 8-914-92-75-720. Электронный адрес редакции: sve-t-lana@mail.ru

Подписано в печать 22.2021 г. Выход в свет: 22.2021 г. Формат 70x108/16.

Усл.-печ. л. 21. Тираж 1300. Цена свободная.

Издательство: ИП Лагтев А.К. Адрес издателя: 664047, ул. Трудовая, 55-51. Тел. 8 (3952) 23-38-45.

Отпечатано в типографии: ООО «Репроцентр+»

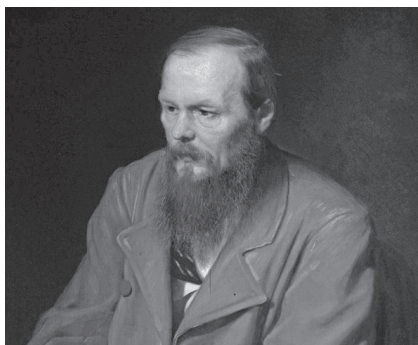
Адрес типографии: 664043, г. Иркутск, ул. Сергеева, 3/1. Тел. 8 (3952) 540-940.

# Брестоматия



200 лет со дня рождения

**ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ**



## Мысли о России и русском народе

«Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих».

«Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем...»

«...Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами...»

«Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса...»

«Да, мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории всего человечества. Характер русского народа до того не похож на характеры всех современных европейских народов, что европейцы до сих пор не понимают его и понимают в нем всё обратно...»

«В русском человеке нет европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Он со всеми уживается и во всё вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы <...>У него инстинкт общечеловечности».

«...В русском человеке видна самая полная способность самой здоровой над собой критики, самого трезвого на себя взгляда и отсутствие всякого самовозвышения, вредящего свободе действия. Разумеется, мы говорим про русского человека вообще, собирательно, в смысле всей нации».

«И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! Никогда никто не отрывался так от родной почвы, как приходилось иногда ему, и не поворачивал так круто в другую сторону, вслед за своим убеждением!»

«Столкновение страшное новых людей и новых требований со старым порядком. Я уже не говорю про одушевление их идеей: вольнодумцев много, а русских людей нет. Главное, самосознание в себе русского человека — вот что надо...»

*Цит. из «Ряда статей о русской литературе» Ф.М. Достоевского, 1861 г.*

\* \* \*

«Да их [прим. — иностранцев] жизнь так устроилась! А мы в это время великую нацию составляли, Азию навеки остановили, перенесли бесконечность страданий, сумели перенести, не потеряли русской мысли, которая мир обновит, а укрепили ее, наконец, немцев перенесли, и все-таки наш народ безмерно выше, благороднее, честнее, наивнее, способнее и полон другой, высочайшей христианской мысли, которую и не понимает Европа с ее дохлым католицизмом и глупо противуречающим себе самому лютеранством. Но нечего об этом! А то, что так тяжело по России, такая тоска по родине, что решительно чувствую себя несчастным!...»

«Так и рвусь в Россию. ...Присяжные наши — лучше невозможно. Но что касается судей, то можно пожелать несколько поболее образования и практики. И знаете чего еще: нравственных начал. Без этого основания ничего не устроится. Но слава богу, идет еще хорошо...»

«Наши соотечественники во множестве едут за границу; там они воспитывают детей и прилагают все старания, чтобы заставить их забыть русский язык. Есть такие, которые живут здесь подолгу, например Тургенев. Он мне напрямик заявил, что не хочет больше быть русским, что хотел бы забыть, что он русский, что он себя считает немцем и гордится этим. Я его с этим поздравил и расстался с ним...»

«И как можно выживать жизнь за границей? Без родины — страдание, ей-Богу! Ехать хоть на полгода, хоть на год — хорошо. Но ехать так, как я, не зная и не ведая, когда ворочусь, очень дурно и тяжело. От идеи тяжело. А мне Россия нужна, для моего писания и труда нужна (не говорю уже об остальной жизни), да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься...»

«...нравственная сущность нашего судьи и, главное, нашего присяжного — выше европейской бесконечно: на преступника смотрят христиански».

«...наша сущность, в этом отношении, бесконечно выше европейской. И вообще, все понятия нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте».

«Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с Православием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно...»

«Через три месяца — два года как мы за границей. По-моему, это хуже, чем ссылка в Сибирь. Я говорю серьезно и без преувеличения. Я не понимаю русских за границей. Если здесь есть такое солнце и небо и такие — действительно уж

чудеса искусства, неслыханного и невообразимого, буквально говоря, как здесь во Флоренции, то в Сибири, когда я вышел из каторги, были другие преимущества, которых здесь нет, а главное — русские и родина, без чего я жить не могу. Когда-нибудь, может быть, испытаете сами и узнаете, что я не преувеличиваю для красного словца...»

«Дай только Бог России не вступиться ни во что европейское, благо у нас своего дела довольно... (о войнах и конфликтах в Европе)»

*Цитаты из писем.*

\* \* \*

«И может быть, главнейшее и предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придёт время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои».

«Он (*старец Зосима, — ред.*) отлично понимал, что для смиренной души русского простолюдина, измученного трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть перед ним и поклониться ему: «Если у меня грех, неправда и искушение, то все равно есть на Земле там-то, где-то святой и высший; у того зато правда, тот знает правду; значит, не умирает она на Земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано».

«Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христово*. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши».

«Деток любите особенно, ибо они безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам».

«Вся глубокая ошибка наших интеллигентных людей в том, что они не признают в русском народе церковь. Но кто не понимает в народе нашем православия, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Никогда и народ не примет такого русского Европейца за своего человека: «полюби сперва святыню мою, почти то, что я чту, и тогда ты точно таков, как я, мой брат».

«Кто не понимает Православия, тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того, тот не может и любить русского народа, а будет любить его лишь таким, каким бы желал его видеть».

«Истинное христианство должно соединить все народы одной верой, а главное в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом».

«Мы предугадываем, что... русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, какие развивает Европа».

«Нигде на Западе и даже в целом мире не найдете вы такой широкой, такой гуманной веротерпимости, как в душе настоящего русского человека... Тем не менее хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорус, малорус, белорус — это все одно), и так будет всегда».

«Нет, судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то спасли его в века мучений».

«Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения, братской любви».

«Материализмом я называю в данном случае преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе вселенную силу, а что говорили ему и чему учили доселе отцы — все вздор».

«Русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли... Уж когда свободы без земли не захотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля — все, а уж из земли и все остальное, то есть свобода и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь, — одним словом, все, что есть драгоценного. Дети должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно потом жить на мостовой, но родиться и всходить нация в огромном большинстве своем должна на земле, на которой хлеб и деревья растут».

«Паши, сей и мели зерно, это святая работа, и в ней одной уже — оправдание жизни твоей. А ежели ты сможешь иное, делай то же, но не гордись, не возвышай себя над пахарем. Засевай ниву душ человеческих, созидай и твори, и знай, что ты мелешь зерно. Созидай труд рук твоих с усилием разума, и, если слишком легок твой труд, усилься и делай больше, ибо несть веры тому, кто лукавит в работе своей».

«Являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. Эта потребность отрицания в человеке, иногда самом не отрицающем и благоговеющем, отрицание всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей своей полноте... Любовь ли, вино ли, разгул самолюбия, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения.

То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым серьезным и глубоким усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе».

«В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтобы всегда во всякий момент быть себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему».

«Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем».

«Русский человек, равно как и весь народ, спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда идти больше некуда».

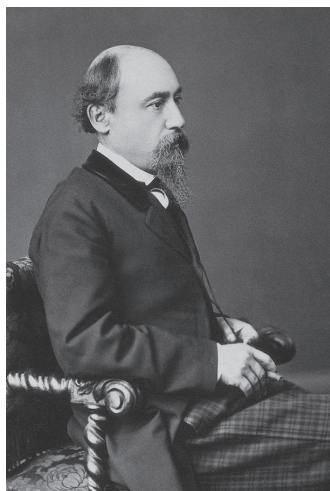
«Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его? Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его... а сколько вещей на каждом шагу таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию зарю, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят...»

«Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадает, бесспорно, на долю русской женщины».

*Цит. из сочинений*

*200 лет со дня рождения*

## НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ



### Всюду родимую Русь узнаю

#### Славная осень

Славная осень! Здоровый, ядрёный  
Воздух усталые силы бодрит;  
Лёд неокрепший на речке студёной  
Словно как тающий сахар лежит;

Около леса, как в мягкой постели,  
Выспаться можно — покой и простор!  
Листья поблекнуть ещё не успели,  
Желты и свежи лежат, как ковёр.

Славная осень! Морозные ночи,  
Ясные, тихие дни...  
Нет безобразья в природе! И кочи,  
И моховые болота, и пни —

Всё хорошо под сиянием лунным,  
Всюду родимую Русь узнаю...  
Быстро лечу я по рельсам чугунным,  
Думаю думу свою...

#### Мороз-воевода

Не ветер бушует над бором,  
Не с гор побежали ручьи,  
Мороз-воевода дозором  
Обходит владенья свои.

Глядит — хорошо ли метели  
Лесные тропы занесли,  
И нет ли где трещины, щели,  
И нет ли где голой земли?

Пушисты ли сосен вершины,  
Красив ли узор на дубах?  
И крепко ли скованы льдины  
В великих и малых водах?

Идет — по деревьям шагает,  
Трещит по замерзлой воде,  
И яркое солнце играет  
В косматой его бороде.



Забравшись на сосну большую,  
По веточкам палицей бьет  
И сам про себя удалую,  
Хвастливую песню поет:

«...Метели, снега и туманы  
Покорны морозу всегда,  
Пойду на моря-окияны —  
Построю дворцы изо льда.

Задумаю — реки большие  
Надолго упрячу под гнет,

Построю мосты ледяные,  
Каких не построит народ.

Где быстрые, шумные воды  
Недавно свободно текли —  
Сегодня прошли пешеходы,  
Обозы с товаром прошли.

Богат я, казны не считаю,  
А все не скудеет добро  
Я царство мое убираю  
В алмазы, жемчуг, серебро...»

## Перед дождем

Заунывный ветер гонит  
Стаю туч на край небес,  
Ель надломленная стонет,  
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,  
За листком летит листок,  
И струей сухой и острой  
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;  
Налетев со всех сторон,  
С криком в воздухе кружится  
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой  
Спущен верх, перед закрыт;  
И «пошел!» — привстав с нагайкой,  
Ямщику жандарм кричит...

\* \* \*

Как ты кротка, как ты послушна,  
Ты рада быть его рабой,  
Но он внимает равнодушно,  
Уныл и холоден душой.

А прежде... помнишь? Молода,  
Горда, надменна, и прекрасна,

Ты им играла самовластно,  
Но он любил, любил тогда!

Так солнце осени — без туч  
Стоит, не грея, на лазури,  
А летом и сквозь сумрак бури  
Бросает животворный луч...

## Вечер

Когда потухший день сменяет вечер сонный,  
Я оставляю мой уют уединенный  
И, голову свою усталую склонив,  
Задумчиво иду под тень плакучих ив.

Сажусь на берегу и, грустной думы полный,  
Недвижимый, гляжу на голубые волны,  
И слушаю их шум и жалобный призыв,  
И с жизнью моей я сравниваю их...

Вдали передо мной душистый луг пестреет,  
Кольшется трава, и жёлтый колос зреет,  
И, тучных пажитей обильные плоды,  
Стоят соломою накрытые скирды;

За гибким тростником глубокие заливы,  
Как зеркала, блестят; на золотые нивы  
Спускается туман прозрачною волной,  
И зарево зари сияет над рекой.

И кажется мне, все какой-то дышит тайной,  
И забываю я тогда свой день печальный,  
С оставленным трудом без жалобы мирюсь,  
Гляжу на небеса и в тишине молюсь.

\* \* \*

В столицах шум, гремят витии,  
Кипит словесная война,  
А там, во глубине России —  
Там вековая тишина.

Лишь ветер не дает покою  
Вершинам придорожных ив,  
И выгибаются дугою,  
Целуясь с матерью-землею,  
Колосясь бесконечных нив...

\* \* \*

Сибирь!.. Напишешь это слово —  
И вдруг свободная мечта  
Меня уносит в край суровый.  
Природы дикой красота  
Вдали встает передо мною.  
И, мнится, вижу я Байкал  
С его прозрачной глубиною,  
И цепи гор с громадой скал,  
И бесконечную равнину  
Вокруг белеющих снегов,  
И грозных, девственных лесов  
Необозримую вершину...

.....

\* \* \*

Из детских всех воспоминаний  
Одно во мне свежее всех,  
Я в нем ищу в часы страданий  
Душе младенческих утех.

Я помню липу, нераздельно  
Я с нею жил; и листьев шум  
Мне веял песней колыбельной,  
Всей негой первых детских дум.

Как ветви сладостно шептали!  
Как отвечал им лепет мой!  
Мы будто вместе песнь слагали  
С любовью, с радостью одной.

Давно я с липой разлучился;  
Она как прежде зелена,  
А я? Как стар! Как изменился!  
Не молодит меня весна!

Увижу ль липу я родную?  
Там мог бы сердце я согреть  
И песнь младенчески простую  
С тобой, мой добрый друг, запеть.

Ты стар, но листья молодеют,  
А люди, люди! Что мне в них?  
Чем старей — больше всё черствеют  
И чувств стыдятся молодых!



*Юбилей иркутских писателей*

**ЮРИЙ БАРАНОВ**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИРКУТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

## Наш крепкий отряд

Дорогие друзья и коллеги! С удовольствием поздравляю вас с 90-летием создания писательской организации Прибайкалья. Несмотря на то, что Восточно-Сибирское оргбюро ассоциации пролетарских писателей приступило к работе в феврале 1931 года, исторически сложилось так, что юбилейные даты мы отмечаем в Дни русской духовности и культуры «Сияние России», подводя итоги пройденного пути.

На самом деле, наша писательская организация создавалась в несколько этапов. Первым ее предвестником было литературно-художественное объединение «Барка поэтов», созданное в 1920 году.

Затем, в 1923 году возникает новое литературное объединение на базе губернской газеты «Власть труда», члены которой несли в массы революционное настроение. Это были известные нам Д. Алтаузен, И. Молчанов-Сибирский, В. Томский.

В двадцатые годы уверенно заявляют о себе многие иркутяне: П. Петров, И. Гольдберг, А. Балин, И. Молчанов-Сибирский, К. Седых, Г. Кунгуров, П. Нилин, П. Маляревский. Их работы получают высокую оценку в столице.

Вместе со всей страной иркутские писатели участвуют в строительстве нового общества, рассказывая о великих стройках, открытиях, трудовых достижениях пятилеток. Первых пролетарских писателей было немного, но недаром один из современников назвал этих писателей «крепким отрядом». Они и в самом деле были крепким, сплоченным отрядом, который вместе со всей страной строил социализм.

В конце 30-х годов появляются в печати эпические полотна К. Седых «Даурия» о судьбе забайкальского казачества, «Строговы» Г. Маркова.

Яркие лирические стихи пишут А. Балин и В. Непомнящих. Одним из популярнейших писателей тех годов и до сей поры выступает Г. Кунгуров. Его книга «Артамошка Лузин» и сегодня не залеживается на полках библиотек, переиздаваемая многократно. Поэт А. Ольхон, воспевающий родную Сибирь, и сегодня звучит в школьных аудиториях, концертных залах и на областных конкурсах чтецов.

Великая Отечественная война поставила в строй и наших земляков — писателей. Военными корреспондентами служат И. Молчанов-Сибирский, Ин. Луговской, Г. Марков. В 1943 году призван в действующую армию М. Сергеев.

После войны как осмысление прошедших грозных лет появляются книги писателей-фронтовиков: В. Козловского, Л. Кукуева, Л. Огневского, Дм. Сергеева.

Сложно даже просто перечислить авторов Восточной Сибири, вошедших в большую литературу в 50-60 годах. Это и Марк Сергеев, и Петр Реутский, и В. Киселев, и хорошо известный ныне главный редактор журнала «Современник» Ст. Куняев. Шестидесятые годы стали временем открытия новых имен в литературе Прибайкалья. На знаменитом Читинском семинаре в 1965 году из 13 рекомендованных в Союз писателей СССР молодых авторов семеро оказались иркутянами. Это А. Вампилов, Л. Красовский, Г. Машкин, В. Распутин, Ю. Самсонов, Дм. Сергеев, В. Шугаев, Р. Филиппов. Участниками семинара были также С. Иоффе, Б. Лапин, Г. Пакулов. Многих из этих авторов ждала в будущем всесоюзная слава. А имена Александра Вампилова, Валентина Распутина, Геннадия Машкина станут известны во многих странах мира.

В 70-80 годах Иркутская писательская организация приобретет славу наиболее сильной в стране. Уже в это время вполне можно было говорить о Восточно-Сибирской литературной школе. Обозначились и типовые темы произведений писателей Прибайкалья: тайга, сибирская деревня, первопроходцы. Громадное влияние на литературный процесс оказывает творчество В. Распутина, Р. Филиппова, М. Сергеева, А. Зверева, А. Вампилова.

Именно в это время раскрывается в полной мере талант Ин. Черемных, Ст. Китайского, А. Гурулева, Е. Суворова, Г. Пакулова. В это время завоевывают читателя работы Ю. Аксаментова, С. Иоффе, М. Трофимова, А. Горбунова, Т. Суровцевой, Г. Михасенко. Уверенно заявляет о себе поэт В. Козлов. Появляются новые талантливые авторы: В. Хайрюзов, В. Сидоренко, А. Байбородин, В. Скиф, Н. Матханова. Прославился на всю страну пишущий для детей Ю. Черных.

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать: прекрасная история!

Но впереди иркутских писателей ждали труднейшие испытания.

Девяностые годы, прозванные в народе «лихими», оставили тяжелейший след в истории иркутской литературы. Прежде всего потому, что произошел разлад внутри нашего союза на почве идеологических и национально-культурных разногласий. Это было драматическое событие, оставившее раны в сердцах людей, отдавших всю жизнь служению литературе. В стороне от Союза писателей России остались литераторы, ориентированные на западные ценности в своем творчестве. Но были и те, кто не мог оставаться рядом с коллегами, зараженными агрессивным антисемитизмом. Разрушительная волна реформ привела к тому, что современные писатели оказались не востребованы. Рухнуло Восточно-Сибирское издательство. Многие писатели, издавая книги на свои средства, с трудом выживают. В этот период особо востребованными становятся публицистические произведения В.Г. Распутина, книги А. Байбородина, общественная деятельность В. Сидоренко. Значительные трудности переживают даже уже известные литераторы. В это время писатели пытаются самостоятельно издавать свои произведения. Открываются частные книжные издательства, такие как «Сибирь» (Козлов В.В.), «Письмена» (А. Румянцев), «Иркутский писатель» (А. Лаптев). А в 2009 году власть наносит новый удар, прекращая финансирование творческих союзов. В это время при значительной поддержке В. Распутина и понимании необходимости данного шага министром культуры области В. Кутищевой создается автономное учреждение «Иркутский Дом литераторов». До сей поры не утихают споры: а нужно ли было его создавать? Увы! Значительная часть ветеранов нашей

организации и сегодня не видят, что правовое поле в новом государстве не позволяет другим способом построить финансовые потоки для обеспечения издания книг иркутских писателей, оплачиваемых выступлений, и, самое главное, пропаганды литературного творчества писателей Прибайкалья. Но, не успело вновь созданное учреждение начать работу, как поступил документ от Росимущества, предписывающий освободить занимаемое помещение, то бишь «Дом купца Бревнова», являющийся памятником архитектуры федерального значения. Однако, на сегодняшний день, все эти проблемы остались в прошлом. ОГАУ «Иркутский Дом литераторов» работает на благо писателей и, пожалуй, нет в России другой писательской организации, которая имела бы столько преимуществ в издании книг, журнала и платных выступлений. Далеко не все проблемы решаются так, как нам бы хотелось. Мало среди нас молодежи. Мешают планомерной работе личные амбиции и «бронзоватость» отдельных членов нашей организации. Но мы уже надежно стоим на ногах, и у нас есть все, чтобы быть крепким литературным отрядом уже нового времени.

# ПОЭЗИЯ



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные стихи иркутских поэтов*

**РОСТИСЛАВ ФИЛИППОВ**



---

ФИЛИППОВ Ростислав Владимирович (14 декабря 1937, с. Семёновка Дальневосточного края, РСФСР, СССР — 15 июня 2006, г. Иркутск, РФ) — поэт, общественный деятель. Главный редактор Восточно-Сибирского книжного издательства (1977–1984), ответственный секретарь Иркутского отделения СП СССР (1984–1993). Родился в семье военного инженера. Из-за частых переездов несколько раз пришлось менять школу. Десятый класс окончил в Омске, затем поступил на факультет журналистики МГУ. После окончания университета в 1960 он приехал в Читу, где в течение семи лет проработал в газете «Забайкальский рабочий». Первые стихи Р.В. Филиппова были опубликованы в 1957 в московском сборнике молодых поэтов «Радуга». Затем в Иркутске в 1964 выходит первая авторская книга стихов «Завязь». В 1966 Р.В. Филиппов был принят в Союз писателей СССР. В 1967 ему предлагают должность заведующего Читинским филиалом Восточно-Сибирского книжного издательства. На этом посту он проработал десять лет. В 1977 становится главным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства в Иркутске, где он проработал до 1984. В 1984–1993 Р.В. Филиппов — ответственный секретарь Иркутского отделения Союза писателей СССР. В 1993 стал инициатором создания газеты «Иркутская культура» и заместителем главного редактора. С 1999 по 2005 Р.В. Филиппов возглавлял областную организацию журналистов. На этом посту поэт проявил себя как незаурядный организатор, талантливый публицист и человек принципа. Одна из книг поэта была отмечена премией губернатора в области литературы за 2005 (за сборник стихов «Красная сотня»). Р.В. Филиппов — автор нескольких сборников стихотворений: «Стихи», Чита, 1967; «Солнечная пурга», М., 1969; «Я к вам с друзьями», Иркутск, 1972; «Выбор», М., 1974; «Сибирские ямбы», Иркутск, 1976; «Пятьдесят превосходных стихотворений», Иркутск, 1994; «Красная сотня», Иркутск, 2005; «Такое дело — жить»: книга избранного, Иркутск, 2017 и др.





\* \* \*

Вот мои шестнадцать строк:	В дружбе не выгадывал.
Я не сделал все, что мог.	В службе не закладывал.
Если Бог окажет честь,	
Все исполню. Силы есть.	На том свете господь Бог
	Подведет и мне итог.
Ради красного словца	Если в рай не попаду,
Я всегда жалел отца.	И в аду не пропаду.

\* \* \*

Господи, взгляда с меня не своди —  
мало добра остается в груди.

Был человеком и я до сих пор,  
но приближается холод и мор.

Грابتь и бить кирпичами в висок  
будем друг друга за хлеба кусок.

Низкое время у нас впереди —  
Господи, взора с меня не своди!

Чтоб не посмел я ни душу, ни имя,  
Боже, сгубить пред очами Твоими!

\* \* \*

Открывается Байкал	Он являет строгий лик —
из окна вагона	Спас нерукотворный.
Синий, красный, золотой —	
древняя икона.	И тревожит, и томит,
	словно весть о чуде,
В этот миг и в этот век,	Все, что было, все, что есть,
в этот мир просторный	все, что дальше будет...

### **Иркутск (из поэмы «Москва — Чита»)**

Опять Иркутск. Опять. И кстати —  
перевести в полете дух...  
привет, старинный мой приятель!  
А может — друг? Не скажешь вдруг...

Уж так живу — не забываюсь.  
Как научили, как могу:  
в друзья нигде не набиваюсь,  
но и от дружбы не бегу.

Мне лишь одно давно противно —  
как делят, не томясь душой:  
мол, тот далекий, тот интимный,  
тот старший друг, а тот — большой.

Не дружбу вижу тут, а службу,  
где рангам зреть и спеть дано.  
Уж если стоит мерить дружбу,  
то лишь годами. Как вино!

Иркутск, Иркутск... Я в нем, как дома,  
мне с ним теплой и веселей.  
Мы с ним не шапочно знакомы,  
а прямо с юности моей.

В те дни он лишь за партой школьной  
давать нам спуску не хотел.  
А в остальном для воли вольной  
Не ограничивал предел.

Он нас гонял по стадионам,  
на лыжах ставил в декабре.  
Садил на лодке плоскодонной  
и уводил по Ангаре.

Он заставлял нас быть постарше,  
когда и летом и зимой  
влюблял до слез в девчонок наших  
любовью первой и земной.

И, наши споры понимая,  
он прекращал кулачный бой,  
как только первая, немая  
текла кровинка над губой.

И слыл тогда он щедрым очень,  
своих запасов не таил.  
Он нас на улицах из бочек  
икрой и омулем кормил.

Варил кисель из облепихи,  
держа под окнами тайгу.  
Он был не громкий и не тихий,  
не выделялся на кругу.

Хотя совсем не за досуги,  
а за напор в делах земных

имел немалые заслуги.  
Да кто же нынче-то без них?

.....  
Иркутск... И мне, когда я ногу  
занес, чтоб выйти за порог,  
он счастья дал на всю дорогу.  
Не пожалел. Не приберег.

А кто от счастья не шалее,  
кого в поэты не влекло,  
когда черемуха белеет,  
как будто лебеда крыло!

Живу. Стихами занимаюсь  
И с этим счастьем дорогим  
и торжествую я, и маюсь,  
и не могу расстаться с ним.

.....  
Мне было молодо повсюду,  
Но прежде все-таки всего,  
Иркутск, тебе обязан буду  
за взлеты духа моего.

\* \* \*

Крестовоздвиженская, белая!  
Да будет вечен твой узор...  
Его, видать, рука несмелая,  
Осмелившись, внесла в простор.

Она как будто опасалась,  
Творя, природе помешать.  
Ей, доброй, может быть, казалось,  
Что грех природе украшать.

У этой творческой несмелости  
Хватает силы с давних пор

Камень из окаменелости  
Перерождают в живой узор.

Смотрю — и светом душу потчую,  
Не устаю благодарить  
Того, кто смог такую прочную  
Из камня хрупкость сотворить.

Искусство — редкая возможность  
Соединять без суеты  
Два мира — слабость и надежность —  
В просторах русской красоты.

\* \* \*

Иркутск — графичен. Словно стая  
птиц на снегу. И я привык  
к изгибам храмов, веток, ставен —  
то плавных, то, глядишь, кривых.

И эта строгая графичность  
мне позволяет различать:  
вот дом. Вот дерево. Вот личность.  
Вот Каин. Вот на нем печать.

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

КОНСТАНТИН СЕДЫХ



## Роман и Дашутка

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ДАУРИЯ»

...Над полями тихо реял золотой свет заката. От сопок тянулись тени, перебегающая прибитую вчерашним дождем дорогу. В полях пахло молодым острецом и мышиным горошком. В придорожных кустах заливались щеглы и синицы, звонко куковали беспокойные кукушки. По дороге ехали с пашни Улыбины. Помахивая сероватым кнудом на потного Сивача, сутулился на облучке телеги Северьян, туго подпоясанный черным тиковым кушаком. На кушаке у него болтался в берестяных ножнах широкий нож с костяной рукояткой. Солнце золотило его широкополую соломенную шляпу, из-под которой торчал тронутый сединой клочок волос.

---

СЕДЫХ Константин Фёдорович — русский советский писатель и поэт. Родился 8 (21) января 1908 в казачьем посёлке Поперечный Зерентуй Забайкальского края. В 1923 году работал селькором, затем окончил Читинский педагогический техникум. С 1931 года жил в Иркутске. В 1930–60-х годах выходят десять сборников стихов. Основные прозаические произведения посвящены жизни сибирского казачества. В 1948 г. выходит роман «Даурия». В 1957 г. — роман «Отчий край». Лауреат Сталинской премии второй степени (1950) за роман «Даурия». В 1971 г. роман «Даурия» экранизирован. Писатель награжден орденом Ленина (1967) и орденом Трудового Красного Знамени (1978). Скончался в Иркутске 21 ноября 1979 года. Похоронен на Радищевском кладбище.

За пыльной телегой, шумно и мерно вздыхая, скрипели ярмом быки, легко тащившие поставленный на подсошники плуг с начищенными до сияния лемехами. На чапыгах плуга из порожних мешков устроил себе сиденье курносый Ганька. Подражая глухому баску отца, он старательно покрикивал на быков. Немного поодаль в надвинутой на самые брови фуражке ехал верхом Роман с дробовиком за плечами. Мошкара, подобно дымку, вилась над его головой, тонко и нежно звеня.

Полноводная пенистая Драгоценка у брода весело шумела, подмывая высокий левый берег. На берегу сидел Никула Лопатин. Охапка свеженарезанного лыка лежала возле него. Он посасывал трубку и сплевывал в воду.

— Здорово, — приветствовал его Северьян.

— Здорова у попа корова, — оскалил Никула зубы. — Помоги, паря, моему горю, перевези на тот берег. Оно можно бы и вброд, да ног мне нынче мочить невозможно. У меня ревматизма, а с ней, елки-палки, шутки плохие. Не поберегся я нынче, и так она меня скрутила, что хоть Лазаря пой. Намедни...

— Садись, — оборвал его Северьян. — На эту-то сторону как попал?

— Через плотину, у Епихиной мельницы. Переходить там способно, да ведь это, елки-палки, у черта на куличках, а мне недосуг.

Не успев еще сесть как следует, запыхавшийся Никула снова зачастил:

— Теперь, паря, у нас дела пойдут.

— Какие дела?

— А с лагерем. Атаман отдела заявил, что лучше наших мест и искать нечего. Наедет к нам скоро народу тыщи две, а то и все четыре. Словом, елки-палки, знай держись.

— Радости мало.

— Ну и сказал же... Голова садовая, лагерь-то строить надо. Заработки теперь у нас будут.

— Век бы их не было, этих заработков. Зря ты до поры до времени радуешься.

— Да я не радуюсь, а так, к слову. Трогай, что ли...

— Ромку надо подождать: быков на поводу перегонять будем, они у меня, холеры, капризные.

Роман взял концы волосяных налыгачей, надетых на бычьи рога, намотал их вокруг руки и стал тянуть упирающихся быков в реку. Сзади на них покрикивал Ганька. Покапризничав, быки шагнули в воду и, припадая к ней на ходу, перебрались за Романом на правый берег. Вслед за ними переехали и Северьян с Никулой.

Никула слез с телеги, взвалил на плечи золотистое лыко и заковылял по заполю к своей избе, крикнув на прощанье:

— Бывайте здоровы!

Роман свернул с дороги в кусты, пониже брода.

— Ты это куда? — спросил отец.

— Искупаться хочу.

— Да кто же сейчас купается? В момент простуду схватишь.

— Ничего, я только раз нырну. Вы поезжайте, я догоню вас.

— Ты только в омут-то не лезь, там при такой воде живо закрутит!

— Ладно!

Роман разделся и, подрагивая, забрел в речку. Розовая от заката вода смутно отражала его, то неправдоподобно удлинняя, то делая совсем коротким, похожим на камень-голяк. Пузырчатая серебристая пена кружилась в непроглядно черной воронке омута под дальним берегом. Обломок берестяного туеса летал среди пены,

изредка показывая крашеное красное дно. Плыть туда Роман не захотел. Присев три раза по плечи в воду, он умылся и, освеженный, вышел на прибрежный песок.

Подымаясь по проулку в улицу, Роман увидел Дашутку. Она гнала от Драгоценки табунок белоногих телят, помахивая хворостиной. Роман наехал на нее конем:

— Посторонись!

Дашутка вздрогнула и отскочила к плетню.

— Здравствуйте, Дарья Епифановна, — раскланялся он, сняв фуражку.

— Испугал, а потом здороваешься. И откуда ты, чертяка, вывернулся?

— С пашни. А ты тут чего делаешь?

— Цветки рву. Не веришь?.. Ну, как, здорово тебе тогда от Алешки попало?

— Так попало, что Сергей Ильич приезжал на меня жаловаться.

— Смелый — так приходи нынче на завалинку к Марье Поселенке.

— И приду, не побоюсь.

— А мамка пустит?

— Ты лучше у своей спроси, а обо мне не беспокойся. Я в куклы не игрывал.

— Поглядим, как пятки тебе наши парни смажут.

— Как бы им не смазали... Ты куда торопишься?.. Пстой, поговорим.

— Коровы у нас недоены. Дома ругаться будут.

Роман нагнулся, схватил Дашутку за полную смуглую руку, придушенно шепнул:

— Пстой...

— Разве сказать что хочешь? — пристально взглянула Дашутка в опаленное румянцем лицо Романа.

Он рассмеялся:

— Дай подумать. Может, и скажу...

— Ну, так думай, а мне некогда, — вырвалась от него Дашутка и легко перескочила через скрипучий невысокий плетень.

Алый платок ее промелькнул в козулинском огороде и скрылся за углом повети. Роман поглядел ей вслед, гикнул на Гнедого и поскакал, счастливый, по улице. Горячая радость переполняла его.

Дома уже садились за ужин. Мать в красной ситцевой кофточке ставила на стол щи и кашу в зеленых муравленых мисках. Отец встретил Романа выговором:

— Пошто наметом летел? Волки за тобой гнались? Доберусь я как-нибудь до тебя... Ешь давай да иди коням сечку делать.

Когда Роман, покончив с делами, вышел на улицу, теплая июньская ночь легла уже на поселок. На молодой месяц, стоявший прямо над улицей, изредка наплывали легкие опаловые облачка. Немолчно баюкала прибрежные кусты Драгоценка, лениво перекликались собаки, да вскрикивали спросонья по темным нашествиям куры.

Напротив, в окне у Мирсановых, тускло светился огонек ночника. «Позову Данилку», — решил Роман и трижды свистнул условленным свистом. Данилка не отозвался. Тогда он подошел к окну, тихо постучал в крестовину рамы.

— Кого тебе, полуночник, надо? — распахнув окно, спросила Данилкина мать Маланья, Романова крестная.

— Данилка дома?

— Дома, да только спит давно. Ужинать даже не стал, так умыкался за день. А куда тебе его?

— Да надо.

— Не добудиться его, иди уж один, — сказала Маланья и захлопнула окно.

Роман постоял, переминаясь с ноги на ногу, решая, идти или нет. «Была не была — пойду. Волков бояться — в лес не ходить», — и он размашистым шагом направился вверх по улице.

На лавочке у ограды Платона Волокитина сидели верховские парни. Не узнав Романа, они окликнули его:

— Кто это?

По голосу Роман узнал Федотку Муратова. От этого голоса сразу заползали по спине мурашки. «Вот влип», — подумал он, но прошел, не прибавив шага. Федотка пустил ему вдогонку:

— Женатик какой-то. Отвечать, сука, не хочет. Лень подыматься, а то бы мы...

На плетневой завалинке Марьи Поселенки, смутно белея, сидели верховские девки. Парней возле них не было. Девки пели, Агапка Лопатина сильным грудным голосом заводила:

*Укатись, мое колечко,  
Под крылечко...*

И десяток высоких девческих голосов подхватывал:

*Укатись, мое витое,  
Под крутое...*

Роман подошел, негромко поздоровался.

— Да это никак Ромаха? — удивилась Агапка. — Каким ветром тебя занесло? — И сама толкнула в бок Дашутку.

— На песню поманило.

— И не побоялся?

— Не из трусливых.

— Пока Федотки поблизости нет, — сказала Дашутка и громко засмеялась.

Агапка напустилась на нее:

— Подвинься-ка лучше, чем измываться. Садись, Ромаха, с нами рядком да потолкуем ладком.

Роман втиснулся меж ними. Незаметно нащупав Дашуткину руку, крепко пожал ее. Дашутка на пожатие не ответила, но и руки не вырвала. Прижимаясь к Роману, Агапка спросила:

— Петь с нами будешь?

— Буду. Давай заводи, — согласился Роман, а сам, взволнованный и счастливый, то пожимал, то ласково гладил покорную Дашуткину руку. Пока Агапка спрашивала у девок, какую песню заводить, он шепнул, прикоснувшись к жаркому маленькому уху Дашутки: — Пойдем куда-нибудь?

— Подожди, — почти беззвучно шепнула Дашутка.

Дружно запели девки протяжную песню. Серебряными бубенчиками звенели нежные девичьи голоса, далеко-далеко летела песня в синюю ночь, к расплывчатым очертаниям хмурых сопок, к желтоватому мутному месяцу. Пела Дашутка, пел Роман, вплетая свои голоса в согласный и сильный поток других голосов. Вдруг Дашутка вздрогнула и замолчала. Потом тревожно шепнула Роману:

— Уходи скорей. Парни идут.

— А ты? Пойдем вместе.

— Иди, иди... Подождешь меня у нашей ограды. Я скоро.

Роман незаметно юркнул в тень от заплота. Вдоль заплотов, от дома к дому, дошел до ограды Козулиных и притаился у калитки. Мимо него гурьбой протопали верховские, горланя на весь поселок.

Дашутка пришла запыхавшаяся, взволнованная.

— Насилу вырвалась от Алешки. Привязался, постылый, и не пускает.

У Романа радостно встрепенулось сердце: «Постылый, а кто же милый?» Ему захотелось сказать ей нежное слово, но вместо этого он совсем некстати бухнул:

— Где сядем-то?

— А тебе кто сказал, что я сидеть с тобой буду?

Он увидел, как в бледном месячном свете польхнули глаза Дашутки, темные-темные, и надменно выгнулись над переносьем тонкие брови.

— Да ты хоть недолго... — попросил он.

Дашутка взялась за кольцо калитки.

— В другой раз... Утром мне подыматься чуть свет.

У него сокрушенно сорвалось:

— А я думал...

— Скажи, если не секрет, о чем думал? — придвинулась к нему Дашутка; по губам ее бегала улыбка, руки теребили полушалок.

— Давай сядем, тогда скажу.

— Не обманешь?

— Нет, — судорожно выдавил он и тихо, но решительно привлек ее к себе. —

Пойдем.

Они уселись на лавочке возле калитки. Старый развесистый тополь протяжно и тихо лопотал над ними.

— Ну, говори...

Закинув голову, она глядела ему в лицо, напряженно ждала, до боли прикусив губы. Совсем по-другому он ощущал в этот миг ее близость. Бурно вздохнувши, Роман решился:

— Люба ты мне, вот что, — выпалил он и припал губами к пахнувшей ландышевым цветом ее щеке.

Дашутка не оттолкнула его.

Круглые опаловые тучки набегали на месяц, клубилась настоящая на травах теплая мгла, дремотно покачивался и баюкал их тихой песенкой старый тополь. Они не слышали, как, предвещая грядущий день, дохнул из туманных низин прохладой ветерок-раностав, как неуверенно крикнул неподалеку первый петух и смолк, прислушиваясь. Где-то на Подгорной улице бойко ответил ему другой, сразу же заглушенный пронзительным голосом третьего, и скоро заревой переклик петухов закипел по всему поселку. Короткая ночь прошла. Смутно обозначались крыши домов, деревья, заплоты. Дашутка опомнилась первой, испуганно ойкнув, сказала:

— Пусти... совсем светло. Увидят нас с тобой — житья потом не дадут.

— И правда светло, — удивился Роман. — Ну, поцелуй еще раз на прощанье...

— Хватит... Рома... — Она бесшумно растворила калитку и уже из ограды сказала: — Иди, иди. Увидят ведь.

— Где теперь встретимся?

Дашутка рассмеялась:

— Была бы охота, а место найдется. Да иди же, не торчи тут, окаянный...

Роман отвернулся, пошел. Тогда она крикнула:

— Постой!

Догнав, порывисто обвила она руками крепкую шею Романа, поцеловала его прямо в губы и, не оглядываясь, побежала в ограду.



# ПОЭЗИЯ



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные стихи иркутских поэтов*

**МИХАИЛ ТРОФИМОВ**



---

ТРОФИМОВ Михаил Ефимович (1936–2019) родился в сибирской деревне Снегиревка Красноярского края. Из воспоминаний Михаила Ефимовича: «Деревня Снегиревка при ферме № 2, праздник Покрова Божьей матери, снег выпал. Дед в дом входит, а бабушка к нему: «Мы мальчика поймали...» Дед, конечно, радешенек: казак на свет явился, потомственный! У дедушки Кузьмы отец с братом в казачьем войске воевали, а бабушка так и сыпала частушками, они запомнились мне все как есть: «Дитятко рожденное, в казаки снаряженное: конь, шинель, фуражка и отцова шашка». Семья Ефима Трофимова ездил по югу Красноярского края, отец был специалистом по коневодству, выводил породистых жеребят. И Михаилу на всю жизнь запомнились ночные дозоры за табуном кобылиц и молодняка, в летнюю теплую пору, на лугах, под звездами. Он рос старшим братом, младшие — сестры. Работал каждое лето, ходил с отцом на охоту, все крестьянские обязанности выполнял, как положено жителю села. Воспитываясь в семье, где никогда не забывали православной веры и чтили традиции, он сызмалства впитывал все семейные предания, а в третьем классе начальной школы уже начал писать первые стихи. Никто из родных не удивился, когда Михаил отправился в Иркутск поступать в университет на филфак, но стать студентом ему тогда не удалось — не прошел по конкурсу. После этой неудачи Михаил Ефимович работал на стройке, занимался парашютным спортом и даже был инструктором, потом поехал на комсомольскую стройку — валить лес в зоне затопления в Братском районе. Попутно Трофимов учился заочно в сельхозинституте. Но совмещать работу с учебой стало трудно, поэтому институт пришлось бросить. Куда только судьба не заносила поэта: был он и промысловым охотником, и участником геологических экспедиций... Однако писать стихи Трофимов не прекращал. И однажды, отправив свои произведения на творческий

конкурс, он стал студентом Литературного института имени Горького, попав на один курс с Николаем Рубцовым. Первая книга его стихов — «Первотрон» — вышла еще во времена студенчества. А в 1972 году увидела свет следующая книга, «Иван-чай», и Трофимова приняли в Союз писателей СССР. Свою писательскую карьеру Михаил Ефимович всегда совмещал с тяжелым трудом — работал то вальщиком леса, то слесарем, то кочегаром, а то и вовсе дворником, — но никогда не прекращал писать, в том числе и для детей. Особенно были любимы малышами книги «Звоньшко» и «Жили в озере Чупыри», ребята постарше с удовольствием запоминают буквы и учатся читать, познают тайны родной сибирской природы, листая вслед за автором «Лесную азбуку». Ему дан талант редкого поэтического качества: пристрастие к стихии народного поэтического мира и умение организовать эту стихию в больших поэтических формах. Скромный и не похожий на других, поэт Михаил Трофимов обитал в мало пригодном для жилья дачном домике. Не жаловался на жизнь, считая ее благодатью Божьей, а в городе его называли «Иркутским ангелом». Занимался лепкой глиняных игрушек и свистулеч. Это увлечение появилось в 1978 г., когда он был в гостях у братского художника Анатолия Иванова и попытался вылепить из глины фигурку. С тех пор поэт не расстается с «глиняшками» — так он называл свои поделки. Трофимов вылепил всех своих сказочных героев: хабалду, лешего, чупыря, барана-охотника и других. Работы сибирского мастера отправляли на всесоюзные выставки, и сейчас его игрушки хранятся в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», а также в музеях Суздаля и Сергиева Посада...

## И ко мне слетятся птицы...

### Надпись на камне

Я ль тебя, земляца, не любил?  
Я ли тебя плугом не пахал?  
Плугом пахал — всё хлеба растил,  
На меже от усталости засыпал.

Ты кормила меня, веселила меня,  
Ты давала тепло — ты дарила жизнь,

И теперь будь мне пухом, моя земля,  
Камнем на грудь мою не ложись.

Люди, земная моя родня,  
Меня забудут, тоскуй не тоскуй,  
Жизнь мою на закате дня,  
Кукушка милая, перекукуй.

\* \* \*

За деревней, в камышах,  
Пруд, заросший тиной,  
Там всю ночь звенит в ушах  
Кряканье утиное.

Там дощатый шаткий мост,  
Шум воды на мельнице,  
И вода в крупинки звезд  
Жерновами мелется.

\* \* \*

Кружат снежинки вороньим граем  
Осенним продроглым утром,  
Речка плотом на порогах играет —  
Моим судёнышком утлым...

Этот снег опустился бедой,  
Что не упал дождями.  
Камни заснеженные над водой  
Мёртвыми лебедями...

Птица глухарь взлетела вслепую,  
От белой беды ослепла —  
Вот и кончились все мои пули,  
Выстрел упал последний.

Скоро в ведёрке костёр догорит,  
Больше не быть ночёвке.  
К селенью причало на склоне зари,  
Люди спросят: «А чей ты?»

Скоро будет большая река,  
Плот поплывет по Лене,  
Крепче весло сжимает рука,  
Тлеют в ведре поленья.

У печки при лампе согреют меня.  
Река меж лесов не заблудит.  
Коснувшись спокойного светлого сна,  
Сердце невзгоды забудет.

## Есть край

Есть край, где в июне не стоять снегам, —  
Сибирью рождённый, я пасынком не был...  
Там летом в горах снеговая пурга,  
Там вечно летящее низкое небо.

Деревьям и людям нелёгкая жизнь:  
Из солнца и снега рождаются реки —  
Стой кедром иль гибкой лозою ложись,  
Иначе не выжить вовеки.

За голые камни цепляются кедры, стоят:  
В них ветра и щебета птичьего много...  
Пугливых и гордых оленей пасутся стада  
На мшистых полянах у Синего лога.

Уходят охотники там за зверями по следу,  
И золото моют, и сеют хлеба по подзолу —  
Там делят душевный огонь и сухарь последний,  
А жадность с корыстью  
считают большим позором.

Там реки веками камень буравят,  
Спят облака на гольцах ночами,  
Зимой дома засыпают снегом бураны.  
Там моя родина — моё начало.

## Тайга

Тайга таит звериное тепло  
И лютые извечные законы,  
Их радости и беды мне знакомы —  
Я греюсь у огня, мне повезло.

Здесь собственною шкурой всяк согрет,  
Тайга, она людьми не так богата,  
А зимовьё убого и щербато.  
Но крепкое. На двести хватит лет.

Звериного лица не различить  
За синевой окна, за сенью хвои,  
Но снег скрипит, и, стало быть, нас двое.  
Беру ружьё — уходит, не убить...

И птицы чёрные летели на ночлег,  
Их тени по земле вослед бежали —  
Поймать и растерзать им угрожали,  
Как будто всех не породнил ковчег.

Как будто места нет и на земле тесней,  
Лесами рыскают, на небесах летают —  
Пугливую добычу настигают:  
Клюют, грызут, рыча, играют с ней.

Я сам бедой звериною брожу,  
Припоминаются лесные встречи.  
Зверь раненый кричит по-человечьи,  
А я в звериной радости гляжу.

## Вожак

Ждал человек с карабином в руках.  
Под выстрелы вышла стая —  
Волчьей кровью пролился закат,  
Тощих зверей спасая...

Но слышен кедровки громкий плач.  
Вожак брёл шагом неверным  
И рану лизал, свернувшись в калач,  
Языком шершавым и нервным.

Случайно, против обычаев всех,  
За стаей своей он вышел:  
Под лапами стал скрипучим снег,  
Луна покатила выше.

А он с дороги зло свернул,  
Верный законам волчьим,  
И долго стоял, и выл на луну  
Седой вожак-одиночка.

\* \* \*

Я из лесу на салазках  
Сучьев палых притащу,  
Сочиню детишкам сказку  
И синичкам посвящу.

Мне синичек бедных жалко:  
На морозе все живут.  
Натоплю я печку жарко,  
Будет в домике уют.

Сочиню я сказку к сроку  
И порадую детей.  
Дам я косточку сороке —  
От неё я жду вестей.

Накормлю собак и кошек,  
Белке сладкий пряник дам,

Воробьям дам хлебных крошек,  
Проса красным снегирям.

Белке — пряник, сойке — сало,  
Всех друзей я накормлю.  
Хоть себе оставлю мало,  
Никого не обделю.

И ко мне слетятся птицы,  
Белки с лесу прибегут.  
Только волки и лисицы  
За кустами подождут.

Волк мне руку не откусит,  
Буду жизнью дорожить —  
Сколько лет Господь отпустит,  
Столько буду в радость жить.

## Русалка

Белый выгоревший песок,  
Бесконечный пустынный берег,  
Только молятся камни безмолвно,  
Только в ярости бьются волны.

Я один пред огромным морем,  
Безуютный, сижу на камне, —  
Словно море, тревога бьётся,  
Тени туч по лицу бегут.

Сам себя по имени кличу,  
И чужим мне кажется имя,  
Только плачет осенний ветер —  
Я уже сам себя позабыл.

Был такой же рассвет солёный,  
Штормовое ревело море.  
Море с небом слилось воедино,  
Я на этом же камне сидел.

Вдруг крутая волна набежала —  
Море выкинуло на берег  
Удивительное создание,  
И я понял, что это она;

Руки были нежны для ласки,  
Были страстными алые губы,  
Волос нежный, зелёный, длинный  
И чешуйчатый рыбий хвост.

По любви истомились груди,  
Ритм единый у сердца и моря,  
Было горьким юное тело —  
Косу плёл я и грудь целовал.

Но она, дитя неземное,  
Умирала, в тоске глядела —

Породила её стихия  
Для течений морских и глубин.

Холодели глаза голубые,  
Ртом красивым хватала воздух,  
Взяв её, чтоб нести в избушку,  
Я не думал, что загублю.

И над нею сжалилось море —  
Нас огромной волной накрыло,  
Нас от берега уносило,  
И она ускользнула из рук.

Я искать уже не пытался,  
Плыл на берег — за жизнь боролся.  
Полз от моря — волна смывала.  
Снова плыл я и снова полз.

Вот опять я один пред морем:  
Каждый день я на дно ныряю,  
В царство синее осьминогов,  
Страшных скатов, морских чертей.

Каждый день я ныряю в море  
С той надеждой — её увидеть,  
Ухожу я в чужую стихию  
С безопасной и твёрдой земли.

А она во сне меня манит...  
Тишина не приходит в сердце...  
Я живу так многие годы.  
Одиночество злое всегда.

Лебедой зарастает избушка...  
Чем я жив и на что надеюсь?  
Только небо, песок да море...  
Да печали жемчужина в нём.

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

**ПЕТР ПЕТРОВ**



**Борель**

ГЛАВА ИЗ РОМАНА

\* \* \*

Квартира Сунцовых состояла из трех комнат. Около кухни была столовая, в двух остальных жили хозяева. Здесь сохранились необыкновенные для того времени и порядок, и уют. В комнатах мебель из красного дерева. Фигуры поднимаются до потолка, на стенах портреты, северные пейзажи, написанные масляными

---

ПЕТРОВ Петр Поликарпович — публицист, прозаик. Родился 13 января 1892 в с. Петровское Канского у. Енисейской губ. В декабре 1917 принимал участие в защите Белого дома в Иркутске. Участник гражданской войны в Сибири, председатель Объединённого совета Степно-Баджейской партизанской республики, заведующий агитотделом партизанской армии, главный редактор газеты «Соха и молот» (Минусинск, 1919–1920), член редколлегии журнала «Будущая Сибирь» (Иркутск). Делегат I и II всесіб. съездов, затем в составе ЦИК Советов Сибири (Центросибирь). В 1924 окончил Красноярский институт народного образования, после окончания работал методистом в Енисейском союзе кооператоров. Печататься начал с 1919 г. Делегат Первого съезда писателей СССР (1934). Автор романов: «Золото», «Борель», «Крутые перевалы», «Шайтан-поле», «Половодье» и др. Последнее произведение — повесть «Памятная скала», написана в 1937, издана в 1959. Состоял членом правления Восточно-Сибирского отделения союза писателей. Репрессирован в 1937 г. По-смертно реабилитирован 1 марта 1957 года Военным трибуналом ЗабВО. Скончался 23 октября 1941 года на Колыме. Имя П.П. Петрова носит Дом литераторов в Иркутске.

красками, по углам громаднейшие маральи рога. Всюду чучела птиц, белок, полярных лисиц. На полу бурые медвежьи шкуры. В углу, в передней, целая пирамида разнокалиберных ружей, патронташей и лыж. А поправее — стена-гардероб. Здесь висят олени дохи, песцовые тужурки, пыжиковые шапочки, несколько пар мужских и женских унтов.

В этом доме до семнадцатого года жил управляющий прииском инженер Стульчинский. Он был художник и сам устроил это уютное гнездо, но в революцию бежал с хозяевами и где-то в тайге нашел свой покой.

Рабочие не успели занять дом, и, может быть, потому он и сохранил былую важность, чистоту и чопорность. Но для Валентины Сунцовой этот дом с широкими итальянскими окнами стал черным склепом почти с первого дня приезда на прииск.

Вот уже два года, как она занималась одним и тем же: ела, читала, играла на пианино, проклинала вместе с братом и невесткой революцию и боялась большевиков.

По ночам, в жутком одиночестве, припоминала разгром гимназии, где засели юнкера, смерть отца на ее глазах, и после вступления Красной армии в их город — бегство в тайгу...

В этот год она чувствовала какую-то недужную, старческую усталость. Жизнь была в прошлом, она не могла найти другой жизни в обществе невестки и приисковых баб, так как после бесед с Яхонтовым ни во что не верила.

Она только под утро задремала и проснулась поздно с головной болью. Слегка откинув песцовое одеяло на шелковой голубой подкладке, она потянулась рукою за открытой книгой. Все читано и перечитано десяток раз.

Валентина достала портрет.

Крупное, вдохновенное, дерзкое лицо и слегка прищуренные глаза под черными скобами бровей.

Как-то незаметно наплывали сравнения.

Чьи это глаза? Где она еще видела такие же глаза? Только почему они, «те» глаза, смотрели на нее, кажется, враждебно?..

Но и этот студент-юнкер — в прошлом. Он уже не существует...

Валентина встала и долго смотрела в круглое туалетное зеркало на свои полные, не тронутые ни одной морщинкой руки и налитые, точно выточенные, шею и грудь. В гимназии считали ее первой красавицей, и однажды на вечере она была признана королевой бала. Тогда это придало гордости, а теперь только усиливало сознание своей никчемности.

В зеркале массивными прядями отражались кудрявые черные волосы, откиннутые на обе стороны, и ослепительно белел прямой пробор. Как и всегда, на минуту залюбовалась своим лицом и блеском глаз. Забывала, что это ее глаза, хотелось, чтоб они были чужие.

Сегодня заметила, что потемневшие подглазницы подернулись едва заметными шелковистыми морщинками. Чувствовала, как сердце забилося чаще, а румянец щек стал бледно-желтым. С досадой тряхнула кудрями и отвела глаза от зеркала. Вспомнила, что давно уже не ухаживала за своим лицом.

«Да и зачем это?» — снова зашевелилась неотвязная мысль.

В это утро она поочередно перебирала все свои книги, альбомы, и ни на чем не остановилась. От всего веяло далеким, невозвратным. Все в прошлом, а настоящего и будущего — нет.

Она наскоро оделась и хотела выйти в кухню. Вдруг около двери ее комнаты послышались шорох и борьба.

— Ты мерзавец! Окаянный! — неистово кричала Галина.

Маленькая женщина с изможденным лицом, как белка, скалила золотые зубы и со сжатыми кулаками наступала на мужа. А он в наглой улыбке растягивал рот, смеялся белками цыганских глаз и, уклоняясь от ударов, отступал вглубь Валентиной комнаты.

Оба они были в спальном белье и босые.

Тощая грудь Галины лихорадочно колыхалась, на лице и шее выступили багровые пятна.

— Убью, негодяй! — шипела она и, ухватив венский стул, бросила им в мужа. Но Сунцов подставил руки, и стул рикошетом ударился в туалетный стол.

По гладкому полу гулко отдались брызги разбитого зеркала. Галина бросилась на пол и задергалась в истерических судорогах.

Валентина не испугалась, но в десятый раз за свою жизнь у брата испытала прилив жгучей обиды. Ноги ее подкашивались, а в горле застрял гневный, отчаянный крик. Она набросила на плечи олений мешок и, не глядя на брата, выбежала во двор.

«И это жизнь?» — думала она, торопливо шагая по мягкому снегу.

С пригорка был виден весь прииск. Над крышами казарм расстилался голубой дым и уходил к хребтам в тайгу. По прииску разными тропами двигались люди, и от того ли, что день был теплый, или потому, что Валентина плохо слышала, их разговоры были глухи, как из-под земли.

Еще не отзвенела утренняя заря. Где-то в снях казармы рубили дрова. Звуки также тихо уходили ввысь, к темным вершинам горных гребней, и там мягко таяли.

У казармы золотничников Валентина почувствовала запах прелых стелек и жженого хлеба.

Около амбаров и внутри их бабы с кошелями на плечах в сорочьей тревоге осаждали Никиту.

Валентина едва поняла, что получают пайки, и тут же вздрогнула от ненавистного прикосновения чужих глаз.

Чей-то насмешливый голос глухой обидой толкнул:

— Недолго, барышня, на музыке брякать... Скоро в нашу компанию запишешься!

Оборванные, пропотелые, с истрескавшимися руками и лицами, бабы тешились своей маленькой животной радостью. У них было что-то свое, непонятное ей. «Что случилось с ними?» Многих из них она видела на баптистских молениях с лицами, как у запуганных животных, а теперь эти лица озарены воскресным светом...

Из амбара сквозь дружеские толчки баб, задевая головой о дверную колоду, выскочил Василий.

Его рот растягивался от хохота, а лицо было набелено мукой. Отряхивая побелевшую шинель, он погрозил бабам кулаком и смело шагнул к Валентине. Она как будто только теперь пришла в себя и посторонилась, намереваясь уступить ему дорогу.

Их одинаковые глаза встретились в жгучем вопросе. Василий улыбнулся.

— Здравствуйте, товарищ Сунцова! Мы вас мобилизовали секретарем в наш



распред. Собирайтесь с духом и выходите на работу. Республика не терпит прогулов. А грамотные люди не могут собак гонять. Заодно и школу вам препоручаем...

Он сощурил глаза и, тряхнув головой, зашагал мимо.

Валентина, как прикованная, стояла на месте и, казалось, не поняла ни слова.

У амбара раздался бабий хохот, и опять тот же голос уколел глухой болью:

— Берегись, барышня, военные — мастера обхаживать вашего брата... А с брюхом приходи ко мне — сбабничаю не хуже кушерки!

Валентина повернулась и пошла обратно, пошатываясь, как пьяная. Не глядя на домашних, она прошла в свою комнату и только здесь припомнила встречу с Василием и его прищуренные глаза. Она порывисто подняла с пола портрет юнкера и долго всматривалась, ища сходства этих угасших глаз с живыми глазами Василия.

В комнату вошла заплаканная Галина. Она в запальчивости сунула Валентине желтую залапанную бумажку и, задыхаясь, присела на стул.

— Разбойники! Звери! Они нас разорят! Они! — Галина закрыла изуродованное морщинами лицо и снова задергалась в судорогах.

Валентина равнодушно прочла безграмотный текст самодельного ордера на конфискацию имущества и ниже приписку:

«А также гражданка Валентина Сунцова мобилизуется для работы в рудкоме и в школе, куда предлагается ей явиться к тов. Качуре».

А в самом конце — размашистая, неразборчивая подпись. Но поняла, что это подпись его — Медведева.

Труدمобилизация была объявлена в субботу вечером на общем собрании рабочих и служащих. Это второе собрание под председательством техника Яхонтова прошло спокойно. Он же докладывал и ближайший план предстоящих работ.

Тунгусников было немного, и те, видимо, пришли из праздного любопытства и желания подтронуть над медведевской затеей. После доклада было принято громкое решение: «Открыть работы воскресником. Не вышедших лишить пайка и жилища».

Утренний сбор был условлен в конторе, а после собрания секретарь Залетов составил именной список боровских жителей и улыбался в свою желтую бороденку, когда очередь доходила до тунгусников.

— Ваше социальное происхождение и занятие?

— Такое же, как и ваше, — отшибали те.

— Родились все из одного места, а вот крещены по-разному, — заметил в шутку Сунцов.

В этот вечер он был необыкновенно подвижен и даже услужлив. На глазах у всех он два раза подходил к Василию и дружески заговаривал с ним.

Старые приискатели перемигивались при этом.

— Смотри, как подсеваает...

— Без мыла прет...

— Вишь, как скоро взял тон...

Утром, в серые сумерки, в первый раз после трехлетнего молчания зазвонил приисковый колокол. И будто дрогнула тайга от давно не слышанных звуков. В ответ медным звоном запело эхо в хребтах.

День был теплый, на дворе пахло талым снегом. Удары колокола мягко дрожали над прииском и где-то в лесах падали, затихали.

Около конторы густо собирался народ.

Бабы отдельным колком, как тетерева на току, будоражили утреннюю тишину. Мужики пыхали трубками и сигарками. Некоторые записывались у Залетова и разбирали сваленные у конторы кайлы и лопаты.

— Рваная армия труда, — сказал Яхонтов, обходя кучки собравшихся. Глаза его горели непотухающими угольками, а губы растягивались в улыбке.

И чувствовал себя опять так же, как раньше — на разбивке.

Вот первый штурм, к которому он готовился с начала приезда на прииски. Сотни рук сегодня сделают первый толчок в мертвые недра, правда, еще холостой толчок, но важна репетиция.

А репетиция удалась: почти все приисковые мужчины и женщины высыпали из своих закоптелых казарм.

Секретарь Залетов захлопнул испачканную тетрадь и подошел к Василию с открытыми от улыбки зубами.

— Все собрались кроме шпаны, — и отмечать нечего! — сказал и раскатисто рассмеялся.

— А ну, постройся в два ряда! — крикнул Василий и вытянул руку, указывая фронт.

Приискатели один за другим начали примыкать. Неумело и от этого забавно подражали военным; у большинства бродни задрали кверху рыжие утиные носы, а на головах — не шапки, а лохмотья звериных шкур.

Женщины одной скупенной фалангой слева беспорядочно топтались и галдели в споре за места.

Мужчины пускали колкие смешки:

— А ну, подравняйтесь, бесштанная команда...

— Эй, женский батальон!

Василий прошелся вдоль по вытянувшейся шеренге. В глазах у каждого чувствовалась скрытая радость. У Василия сильнее стучало сердце.

В стороне строились подростки. В реве детских голосов слышался весенний гомон и молодой задор.

Солнце еще не поднялось над хребтами, когда разрозненные кучки людей двинулись к мастерским. Василий пошел впереди и первый ударил лопатой в сугроб.

В конторе и клубе заправляла Настя.

Подоткнув высоко подол и громко шлепая голыми пятками по полу, она расплескивала направо и налево бурный поток своих слов:

— Эй, почище, бабочки...

— Вот тут дресвой прихватите!

— Не для кого-нибудь, а для себя, бабочки!..

Бабы наперебой бросали ей колкости и вечное недовольство:

— Ой, для себя ли?

— Да она-то для себя плотку дерет, а нас-то тут и не увидишь.

— Вишь, команду какую взяла, — как муж, так и жена.

— А как же? Где болото, там и черт, это обязательно!

— Вот все у нас так... Давно ли к бахтистам нас суматошила, а теперь в комунию волокет.

— Это уж, как наповадится собака за возом бегать, хоть ты ей хвост отруби, а она все свое...

— Ой, не грешите, охальницы, — заступались другие.

Солнце клонилось к паужину. С юга, с гор, тянул легкий ветер. Кучки рабочих, захватив равные участки, отходили все дальше и дальше.

Валентина, в оленьей дохе и унтах, неумело долбила лопатой снег и мешала Качуре с Яхонтовым. Их участок оставался белым островком.

Рабочие обидно посмеивались:

— Ну, ну, нажимай, антилигенция!..

— Вишь, собрался битой да грабленой и плетутся на козе.

— Эй, богадельщики!

— Лопатка-то, видно, не музыка... На ней не так завихаривает барышня!..

Другие степенно унимали:

— Да бросьте вы, трепачи... Вишь, деваха и так разомлела, как паренка в печке... Дай, привыкнет — нашим бабам пить даст... Силы-то у ней, как у ведмедичи. Вон как сложена... Выгуль девка!

— А дух из ее вон!

— Пусть поработает за всю свою породу!..

Василий, смахивая пот со лба, подошел к Валентине.

— Что, упарились, товарищ Сунцова?.. А ну-ка, давайте я...

Он взял у нее из рук лопатку и весело заглянул в глаза.

— На первый день с вас хватит... Садитесь, отдохните, а мы докончим этот клочок.

Ударяя раз за разом, он разбил на куски снежную глыбу и, выкидав наверх комья, свалился, обливаясь потом, в кружок к женщинам.

— Куча мала! — крикнула Настя, вскочив верхом к нему на спину. — Вот же конь гулялой!

— Он двадцать пудов попрет и не крякнет.

— Здоров, якорь его возьми, как листвяжный пень! — смеялись приискатели.

Старшие драгеры поднимались и, вскидывая на плечи заблестевшие на солнце лопаты, направлялись к конторе.

— Шабаш!

И так же, как утром, рабочая армия с веселыми криками возвращалась к кладовым, стуча инструментами. Василия догнали Качура и Вихлястый. Оба они, с обмытыми потом лицами и горящими глазами, заговорили вперебой:

— После такого воскресника не мешало бы ребят побаловать.

Голос Вихлястого звучал неврастенически-радостно.

— Да и не квасить ее нам, — поддержал Качура, суетливо поспевая шагать за Василием. — Только народ она дразнит!

— Да о чем вы толмачите? — недоумевал Василий.

— Как о чем, самогонки-то у нас ведерок двадцать, поди, будет? У мужиков-то отняли! — наклоняясь, шепнул Вихлястый.

Василий, дернув головой, засмеялся.

— Сейчас же выльем вон, чтобы не воняло ею на прииске.

Вихлястый и Качура враз кинули на него испуганные взгляды.

— Да ты чего, облещачил, парень? — обидчиво заскрипел Качура упавшим голосом. — Ведь здесь тайга, а не город. Там тоже — из рукава, а тянут! Зачем растравлять людей? Они кабы не знали про это...

— Выдать, конечно, — отчеканил за их спиною голос техника Яхонтова.

Василий с удивлением взглянул на него и приотстал, выравниваясь.

На упрямом лбу Яхонтова не было обычных складок, и черные глаза не прятались в глубокие орбиты.

— Вот и я говорю тоже, — обрадовался Качура, — ведь не для пьянства, Борис Николаевич, а так, чтобы добро не пропало зря. И наряду будет веселее.

— Ясно! — поддержал Яхонтов. — Если мы не выдадим, то они сами возьмут и права будут.

Василий расхохотался.

— Чудаки! Вам самим хочется нутро смазать... Ну, я же не возражаю! Правду говорит Качура — тайга... А сегодня мы заробили по хорошей баночке. Но только это в последний раз.

На крыльце конторы их поджидала кучка рабочих и баб с Никитой во главе.

— Порцию, начальство! — крикнул кто-то с задорным смехом, и за ним раздались десятки осипших, пересохших голосов:

— Порцию!!!

Толпа в тесной давке нажимала на крыльцо, обтаптывая друг другу ноги. Жарко дышали груди.

— Вот, видишь, — толкнул Яхонтов локтем Василия. — Все в курсе дела. Грамотный народ!

Василий так же, как и утром, протянул руку.

— А ну, подравняйся!..

И когда ряды вытянулись и закачались зигзагами, как туловище большого змея, он вскочил на крыльцо.

— Товарищи! Мы сегодня в первый раз ударили по тяжелой разрухе... И здорово трахнули... Поэтому ничего не будет пакостного, ежели смочим загоревшую утробу. Но только вперед — к чертовой матери эти порции! От них воняет старым дурманом.

Над тайгою спускался тихий теплый вечер, и чуть слышно шумела дубрава. С гор легкий ветерок приносил смолистые ароматы.

# ПОЭЗИЯ



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные стихи иркутских поэтов*

## ПЁТР РЕУТСКИЙ



РЕУТСКИЙ Пётр Иванович родился в 1927 году в селе Михайловское Павловского района Воронежской области в семье полного Георгиевского кавалера Ивана Петровича Реутского, мать Вера Федоровна была домохозяйкой. В тридцатые годы семья была раскулачена и сослана на вечное поселение в Якутию, где прошло детство будущего поэта. Его первое стихотворение было напечатано в газете «Алданский рабочий», когда он учился в четвертом классе. В пятнадцать лет самовольно уехал из дома в Якутск. Но в 1949 году Петр Реутский вернулся на родину, к родителям, освобожденным из ссылки. В пятидесятые годы семья переехала в Иркутск, где жила одна из его старших сестер. Молодой поэт начал активно печататься в газетах и альманахах. В 1956 году вышла первая книжка стихов для детей «*Великаны*», а в 1958 г. Петр Иванович был принят в Союз писателей СССР и отправлен на Высшие литературные курсы в Москву. В шестидесятом году, вернувшись из столицы, молодой поэт много и плодотворно работал. Одна за другой вышли его книги: «*О тех, кому нет еще двадцати*», «*Потомки Корчагина*», «*Ломается лед*» — 1965 г., «*Три дня в гостях у Аллы*» — 1968 г., «*Горячий ключ*», «*Настоящее*» — 1974 г., «*Тропа золотоискателя*» — 1983 г., «*Первозданность*» — 1989 г., «*Свойство жизни*» и другие — пятнадцать полновесных книг издано за два десятка лет! С огромным успехом проходят выступления поэта в самых разных аудиториях — от полевого стана до научной библиотеки. Читателя в его поэзии привлекает правда жизни, образный язык, яркая экспрессия и предельная искренность. Сложная, насыщенная судьба поэта получила выражение в стихах — большинство из них автобиографичны. Несколько больших поэм выстроены на конкретных житейских историях. Большое место в творчестве занимает тема сибирской природы, любовная лирика, есть произведения для детей и юношества. Последняя книга

Петра Ивановича, его лебединая песня — роман в стихах «Второе крещение» — 1997 г. На трехстах страницах поэт рассказывает свою судьбу, вобравшую в себя революцию, гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную войну и сталинские лагеря. Двенадцать с половиной лет (с 1981 г.) он прожил в Ярославской области. Его стихи выходили в Иркутске, Москве, Ярославле, в местной и столичной прессе. О творчестве поэта писали известные критики, отмечая высокий лиризм, проникновенность, исповедальность его стихов. Среди них такие известные имена, как И. Фояков, П. Забелин, Е. Жилкина, И. Новокрещенных, В. Владимиров и ряд других. В последние годы Петр Иванович много болел, перенес несколько инфарктов. Трагически погиб его взрослый сын. Мешала бытовая неустроенность. Но ничто не могло сломить этого человека — до последнего дня он оставался верен литературе. В столе у поэта остались несколько пьес, роман в стихах и новая повесть о Вампилове. За два дня до смерти, уже не в силах выйти из дома, Петр Иванович высказался по телефону за прием в писательскую организацию молодого поэта. Мнение его оказалось решающим — для положительного заключения как раз не хватало одного голоса. Таким образом, Петр Иванович благословил на служение литературе нового автора. Несмотря на тяготы жизни, трудную судьбу и жесточайшие испытания последних лет, Петр Иванович Реутский не закрылся от внешнего мира. Он до конца оставался со своими читателями. Его душа была открыта для общения и добрых дел. Траурная панихида состоялась 22 мая 2004 года в Доме литераторов на ул. Степана Разина.

## Вспоминайте меня весело...

### Осень

Умереть не страшно —  
 Страшно не родиться,  
 Под рябиной рясной  
 Белый пар клубится.

Так же шли туманы  
 Пеленою белой.  
 Опустел без мамы  
 Дом осиротелый.

Зеленеет озимь,  
 Спят холмы нагие.  
 Шлёпаются оземь  
 Яблоки тугие.

Зябко и беззвёздно,  
 Страшно выйти в сени.  
 Поздно, слишком поздно  
 Матерей мы ценим.

С проводов, с деревьев  
 Шлёпаются капли,  
 Плачут за деревней  
 Вымокшие цапли.

Что же мне не спится?  
 Печь трещит под боком.  
 Страшно мне напиться  
 В доме одиноком.

Пастухи отару  
 Гонят по-над Доном,  
 Я живу на пару  
 С одиноким домом.

Надо мне, чтоб в двери  
 Тихо постучали.  
 Пусть никто не верит,  
 Будто я печален.

Дом не дом — избушка,  
 Где будильник тикал,  
 Здесь вот мать-старушка  
 Отходила тихо.

Просто иногда мне  
 Хочется поплакать.  
 На дороге давней  
 Слякоть, слякоть, слякоть...

Тихо над рекою  
Крячет уток стая.  
Жизнь люблю такую,  
Есть она какая,

Доброй, бесшабашной —  
Что кому годится.  
Жизнь прожить не страшно,  
Страшно не родиться.

## 9 мая

Женщина погибшего на фронте  
Спит у железнодорожных касс.  
Вы её, пожалуйста, не троньте.  
Пусть она не беспокоит вас.

И лежит у ног её послушно  
Старый пёс, не видевший войны.  
На людей он смотрит равнодушно  
Со своей собачьей стороны.

Слышите, гремит салют в столице,  
Как гремел он много лет назад.  
Москвичей улыбчивые лица  
Смотрят на торжественный парад.

Что бы там такое ни сказали,  
Разве только высунет язык.  
Он привык к ночёвкам на вокзале  
И к причудам женщины привык.

Женщина сидит в тени от флага,  
Завернувшись в шалевый платок.  
На коленях — фронтовая фляга,  
В ней, должно, спасительный глоток.

Всё, как есть — на свете понимая,  
Одного лишь старый пёс не знал:  
Ну, зачем она с приходом мая  
Каждый год приходит на вокзал?..

## Сорок второй

Не назову счастливым детство,  
Безрадостным не назову,  
И не найду, куда мне деться  
От дум, которыми живу.

Пораньше спать в углах мостились.  
Не потому что света нет,  
А потому что ночью снились  
Хлеб довоенный и паштет.

Воспоминаний целый кузов  
И в день, и в ночь идут ко мне.  
Родился я в краю арбузов,  
А вырос я в краю камней.

Однако сыт не будешь снами.  
И утром вновь гудел наш дом.  
Мать никогда не ела с нами,  
Всё говорила: «Я потом...»

Смерть берегла меня упрямо.  
Я не сидел бы среди вас,  
Когда б не мать моя, не мама,  
Меня спасавшая не раз.

И ты, привычка лет голодных,  
Жила в ней до последних дней.  
Ни модных шляп, ни туфель модных  
Так и не видел я на ней.

Ты знаешь, что такое голод?  
Ты знаешь только по кино.  
Сорок второй. Январский холод.  
Нет электричества — темно.

Не знали мы — «родные крошки» —  
Последствий страшных той зимы...  
Мать ела драчны из картошки,  
А хлеб и сахар ели мы.

## Мелочь

Пришел служивый человек  
Из дальнего похода.  
Он дома не был целый век,  
Четыре долгих года.

Прошел с боями «крым и рым»,  
Потом ещё полсвета,  
Своим детишкам четверым  
Принёс он власть Советов.

Уселись дети на диван,  
Как на пенёк опята:  
Наташка, Галька, Глеб, Иван, —  
А это кто же, пятый?

Сидит двухлетний мужичок  
Как равный среди равных.  
Сползла слеза с небритых щёк,  
Горячая, как раны.

Не верь, солдат, своим глазам.  
И рад не рад служивый,

Что цел их дом, что цел он сам,  
И все детишки живы.

Что также злится пёс цепной  
У справного соседа?  
Молчит солдат, большой ценой  
Далась ему победа.

Солдат с соседом водку пьёт —  
Ну что молва людская —  
Попьёт, попьёт, жену побьёт,  
Детишек приласкает.

Расти, малыш, твоя ль вина,  
что год без урожая.  
Так повелось: кому война,  
Кому жена чужая.

Когда бы не было беды,  
И счастья б не имелось.  
Хватало б только всем еды,  
А остальное — мелочь.

## Гармонь

Стоит гармонь, забытая солдатом,  
Саратовская истинно гармонь.  
Солдат не расставался с ней когда-то,  
И как она вздыхала — только тронь.

О чем она, болезная, скучала?  
В ней было что-то тайное, своё,  
Солдат был ранен в руку у причала,  
Осколком поцарапало её.

Солдат пришел с войны в сорок четвертом,  
Слезой и лаской встретила жена.  
Он в жизнь вступил уверенно и твёрдо,  
Да жаль, гармонь солдату не нужна.

Но он её не продаёт, не дарит.  
Солдат гармонь поставил на покой.  
Лишь иногда слегка по ней ударит  
Единственной левою рукой.

## Среди зимы

*Валентину Распутину*

Я весь в долгах, не утаю.  
Они кругом, я ими маюсь.  
Как мало людям отдаю,  
И очень много занимаю.  
  
Я занимаю доброту,  
Пусть тот заём еще продлится.

По белу свету побреду,  
Чтоб добротой поделиться.  
  
Я обойду знакомых всех,  
Спрошу, кому и сколько должен.  
И знаю, кто-то скажет: «Дожил»,  
И выдворит в ночи на снег.



Замерзну я среди зимы.  
Ну что ж, как нам диктует старость,  
И это надо брать взаимно,  
Чтоб в людях меньше зла осталось.

Приняв, его я не отдам  
Друзьям или кому другому.

Скорей проклятию предам,  
Чем отнесу к чужому дому.

Знакомы мне и грусть и смех,  
Добро и зло. Но больше в свете  
Тех, кто как близкого приветит,  
Не отошлёт в ночи на снег.

## Триптих

*Памяти Александра Вампилова*

1

Все на свете до поры, до срока,  
И никто не знает, где тот срок.  
Расплескался широко-широко  
Ангары стремительный исток.

И уходит август перезревший...  
Как природа-мать ни берегла,  
Он сгорел, теплом своим согревши  
Эти золотые берега.

Всякий лист по-своему сгорает.  
Сумерками тянет от горы,  
И уже последний луч играет  
На волнах кипящей Ангары.

Ночью здесь и холодно и дико.  
Затрещал костер, таежный друг,  
Будто бы жарками и гвоздикой,  
Бликами усыпал все вокруг.

Ты гори, гори, костер, до срока,  
До поры до утренней гори.  
Вот и солнце — всей вселенной око —  
Глянуло на нас из-за горы.

Все, как есть, уходит и приходит,  
Чья-то лодка скрылась за мысок.  
Снова день. И в жизни, и в природе  
Есть всему своя пора и срок.

2

Вспоминайте меня весело,  
Словом, так, каким я был.  
Что ты, ива, ветви свесила,  
Или я не долюбил?

Не хочу, чтоб грустным помнили.  
Много песен дорогих,  
Только песни, ветра полные,  
Мне дороже всех других.

По земле ходил я в радости,  
Я любил ее, как бог,  
И никто мне в этой малости  
Отказать уже не мог.

Все мое со мной останется —  
И со мной, и на земле.  
У кого-то сердце ранится  
На моем родном селе.

Будут весны, будут зимы ли, —  
Запевайте песнь мою!  
Только я, мои любимые,  
С вами больше не спою.

Что ты, ива, ветви свесила,  
Или я не долюбил?  
Вспоминайте меня весело,  
Словом, так, каким я был.

О, нет! Не все уходит в землю,  
 Что от земли к тебе пришло.  
 В далеком небе звезды дремлют,  
 А на земле грешным-грешно.

Но этот мир мне мил и дорог,  
 Как наша пахотная Русь.  
 Возьму лесного сена ворох,  
 По шаткой лестнице взберусь.

Дед заворчит: проломишь крышу.  
 А что, возьму и провалю.  
 Но ничего уже не слышу —  
 Летит звезда, и я люблю.

Я сроду не стремился к звездам  
 И не читал про звезды книг,  
 Но вот — мир, может, так и создан —  
 С годами думаю о них.

Бывает, целыми ночами  
 Сижу у неба на виду.  
 Уже немало за плечами,  
 Пора искать свою звезду.

Ведь все для всех — земля и небо,  
 Пускай не поровну, но всем  
 Глоток воды, краюха хлеба,  
 Который с детства честно ем.

Тепла и радости побольше,  
 Всего, с чем мы привыкли жить.  
 Ищи звезду свою подольше,  
 И тут никак нельзя спешить.

Я миру звезд безмолвно внемлю,  
 Жду радости, но не беды.  
 Не покидайте, люди, землю,  
 Не отыскав своей звезды.

## Волкодав

Его глаза на угольки похожи,  
 В которых еле теплится огонь,  
 Всю жизнь свою он лаял на прохожих,  
 Всю жизнь лизал хозяину ладонь,

Валялся по-собачьи у порога,  
 По целым дням не требуя еды,  
 Бежал на зов охотничьего рога,  
 Вынюхивал звериные следы.

А годы шли. Менял хозяин шляпы,  
 Сменил немало курток и сапог..  
 И вот у пса отяжелели лапы,  
 Звериный след унюхать он не мог.

И стали вдруг глаза его похожи  
 На угольки, потухшие давно.  
 Он по ночам не лает на прохожих —  
 Ему теперь, должно быть, все равно.

И старый пес февральской темной ночью  
 Ушел в тайгу знакомою тропой.  
 За дальним логом встретил стаю волчью  
 И яростно вступил в последний бой.

Три пасти враз вцепились в шкуру псовью,  
 Сплелись в клубок и лапы и хвосты.  
 Февральский снег покрылся волчьей кровью,  
 Собачья шерсть осела на кусты.

Пес слышал зов охотничьего рога,  
 Но не за жизнь терял он кровь свою.  
 Он не хотел подохнуть у порога,  
 Хотел, как верный пес, упасть в бою.

Когда хозяин, взяв свою двустволку,  
 В мороз без шапки прибежал в тайгу,  
 Упрямый пес, вцепившись в горло волку,  
 Лежал окоченевший на снегу.

## Сибирский самородок



*«Квартет имени Реутского» в составе Александра Вампилова, Глеба Пакулова, Петра Пиницы, Бориса Черных.*

Всё творчество Реутского связано с Иркутском, хотя родился он далеко от этих мест. Семейно сосланы на вечное поселение в Якутию. В три года Пётр с мамой, братьями и сёстрами добирался с Дона до Алдана в теплушках, на санях, а где-то и пешком. В дороге умерла новорождённая сестрёнка Люба. На глазах мальчика гибли от болезней и голода его маленькие друзья, чьих родителей также отправили в ссылку. Алдан оказался суровым местом. Будущий поэт перенёс на себе все тяготы спецпереселенцев, с чьими правами считались в последнюю очередь. «Прелести» 30-х годов и жизнь по соседству с конвоирами, вольными, работягами и ворами отложились в первых стихотворных мальчишеских строках. «Родился я в краю арбузов, а вырос я в краю камней», — написал он позже. В 15 лет он сбежал в Якутск. Жизнь вдаль от семьи, голод, неустроенность. Доверчивый и простодушный парень стал лёгкой добычей для воровской шайки. В результате приговор — пять лет заключения. Зона. Сохранился отрывок записи начала 2000-х, где Пётр Иванович вспоминает своё лагерное время. «Нужно было согнуться или встать на колени, чтобы спилить дерево, а пенёк оставить не выше 18 сантиметров. Это был ужасный труд. Ребёнком я, конечно, на нём надорвался, — рассказывал Реутский. — Среди заключённых — тех самых, кого называют «ворами в законе», встречались удивительные люди. Например, Василий Михайлович Синюшкин. Его срок перевалил за сто лет, потому что он всё время проворачивал побег и получал за них «прибавку». Его слова я помню всю свою жизнь: «Пётр, ты не должен воровать — это не твоё дело. Ты должен писать, потому что большинству такое не дано». Учился Реутский в Якутском рыбном техникуме, немного пожил на Дону, работал в воронежском цирке. В 22 года он приезжает в Иркутск уже с опытом стихотворца. Его стихи активно публикуют газеты и журналы. Первая книга для детей «Великаны» выходит, когда поэту исполнилось 29 лет, а через два года его принимают в Союз писателей и направляют на высшие литературные курсы в Москву. Рекомендацию на учёбу дал Александр Твардовский. В 70-е годы в литературной среде Иркутска царил особая атмосфера: все друг друга читали, выручали, ссорились и мирились. К Реутскому тянулось молодое поколение литераторов. Даже появился «квартет имени Реутского» в составе Александра Вампилова, Глеба Пакулова, Петра Пиницы, Бориса Черных. С Вампиловым Пётр Иванович дружил крепко, не было ни дня, чтобы они не виделись. В 80-е он издал книгу «Вспоминая Вампилова» — живые и яркие картины жизни иркутской литературы. Всего при жизни поэта издали пятнадцать его книг в Иркутске, Москве и Ярославле. Незадолго до смерти Реутский работал над рукописью, готовил большое издание своих поэм и стихов, но закончить не успел. К 90-летию писателя это сделала иркутский композитор Ольга Горбовская. Пётр Иванович был её отчимом.

*Журналист Юлия Вяткина*

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

ГАВРИИЛ КУНГУРОВ



## Артамошка Лузин

ГЛАВА ИЗ ПОВЕСТИ

### Тайны человеческие

На окраине городка, в конце Работных рядов, стояла серенькая избенка Филимона Лузина, плотника и кузнеца, храброго мужика, мастера кулачного боя. Придулилась изба сбоку крутого яра, будто ласточкино гнездо под карнизом.

— Упадет, Филимон, изба-то! Упадет! — шутили соседи.

— Небось, не упадет! — отвечал Филимон.

---

КУНГУРОВ Гавриил Филиппович — прозаик, публицист (1903, Забайкалье — 1981, Иркутск). Автор многих книг, в т.ч.: *Топка* (М.; Иркутск, 1935); *Артамошка Лузин* (Иркутск, 1937); *Путешествие в Китай*: ист. повесть (Иркутск, 1940); *Моя Родина непобедима*: рассказы (Иркутск, 1941); *Тыловые рассказы* (Иркутск, 1942); *Золотая степь*: рассказы о Монголии (М., 1946); *Свет не погас*: повесть (Иркутск, 1948); *Бессмертное имя*: рассказы (Иркутск, 1952); *Наташа Брускова*: роман (Иркутск, 1959); *Хозяева тайги*: сказки (Новосибирск, 1962); *Сибирь и литература* (Иркутск, 1965); *Оранжевое солнце*: повесть (М., 1976) и др. Докт. филол. наук. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

На прошлой неделе был кулачный бой на площади. Бились казаки городские и казаки воеводского двора с пашенными мужиками да работными людьми. Сходились стенка на стенку, бились от восхода солнца до его заката. В том бою воеводский казак Никита Злобин выбил Филимону три зуба. Стал говорить Филимон с присвистом, будто ветер-сквозняк у него меж зубов гуляет. И прозвали с тех пор Филимона воеводские казаки свистуном. Затаил Филимон злобу. Вспомнились тяжкие старые обиды на воеводу. Дал себе Филимон зарок сжечь воеводский двор вместе с воеводой и его людишками.

Маланья, жена Филимона, худая, рослая женщина с усталым, бледным лицом и добрыми серыми глазами, ходила по избе, топя разбухшими сапогами; прогнившие половицы жалобно скрипели. Маланья возилась около большой, чуть не в пол-избы, русской печи, громыхала горшками, то и дело посматривая в угол, где в лохмотьях спала маленькая Палашка.

Филимон валялся на печи и не выходил даже во двор: стыдно на глаза людям показаться.

Пришел брат Филимона — Никанор.

Маланья окликнула мужа.

— Филимон, брат к тебе наведалься.

Филимон спустился с печи.

— Что, скулу своротили? — спросил Никанор.

— Отойду, мне не впервой.

— То-то!

Тщедушный, седенький, с кудластой бородой, Никанор не был похож на брата — широкоплечего, плотного и жилистого мужика. Глазки у Никанора маленькие, шустрые да хитрые, как у зверюшки. Из-под густых бровей они выглядели на смешливо и добродушно. Наоборот, узкие, раскосые глаза Филимона смотрели в упор, пронизывая насквозь человека. И не зря говорили про Филимона: «Глазищи у него — огонь, так и обжигают, человеку нутро выворачивают».

Филимон закашлял.

— Ого, да у тебя и нутро-то не в порядках! Пей, брат, траву трилистник — трава та болезни гонит.

— Пью, — сурово ответил Филимон. — Как не пить!

Никанор подсел к брату, приник к уху:

— Расея наша матушка в слезах и крови тонет. В леса народ бежит, в леса...

— Отчего так?

— Слух прошел, что великий наш государь вскипел гневом на народ и повелел рубить и правого и виноватого. Обагрилась вся Русь-матушка горячей людской кровью и задымилась в чаду пожарищ. А бояре, да царские наушники, да палачи от радостей места не найдут — говорят: «В страхе, мол, государь-батюшка народ свой держит, и то правильно делает: народу, мол, надо устрашение превеликое, а то людишки и друг друга побьют».

— А народ что?

— По слухам, народишко люто обиделся. Схватили озорные людишки топоры, колья да дреколья, а кто саблю остру, а кто и пищаль огневую, и пошли на государя, на бояр да на палачей государевых... А смиренные в темных лесах спрятались, живут в тихости...

— Замолчи, Никанор! — озлилась Маланья. — Вырвут язык твой окаянный, вырвут!

— Умолкаю, — опустил голову Никанор.

Маланья вышла.

Братья подошли к оконцу. Филимон вздохнул:

— Смотри, Никанор, каковы дали небесные и лесные — светлы да заманчивы. Есть ли им конец? Сосет и гложет сердце: что за теми синими далями, какие земли, какие царства? Может, счастье-то, брат, там? А? — Он показал рукой на восток, где сизая дымка тихо плыла над далекой тайгой.

Никанор печально покачал головой:

— Непоседлив ты, брат, все бы искал да искал незнаемое, все бы шел и шел куда-то... Кто же тебя гонит? Живи в тихости...

— Кто гонит? Глупые твои речи! Может, в темной тайге, за теми грозными горами, — и золото, и серебро, и камень-самоцветы! Гроби лопатой...

— Мудры слова предков: золото ходит горбато. Печалиться надо о землях, что хлебушко родят, о пашнях-кормилицах. Народишко-то пухнет от голода, а ты о золоте... Смирно надо сидеть, в лесах укрыться и жить на мирной земле, не бегать, не рыскать. Зверь — и тот свое логово имеет...

Филимон рассмеялся:

— Похвально ли, Никанор, человеку в своем логове сидеть, света белого не видеть! Птица — и та счастливее: в небесах парит, пути дальние перед ней открыты...

— Земля — наша мать, человек без нее — дитя глупое... Живи, брат, в тихости...

Опустил голову Филимон, задумался, потом гордо выпрямился, глаза его за сверкали:

— В тихости, говоришь, жить, в лесах хорониться зайцами? Неладно это, не по моему нраву. Рвется сердце на волю-волюшку!

— Уйми сердце, брат, не терзай... — Никанор опять наклонился к уху Филимона: — Могу поведать тебе тайну. Но смотри, браток, смотри: говорю только тебе, иных страшенно боюсь.

— Говори, брата родного не страшись!

— Мне один писец-пропойца тайны человеческие рассказывал. Велики те тайны, и не нашему уму-разуму те тайны понять.

— Говори!

— Читал тот писец-пропойца черную книгу, а писал ту черную книгу беглый человек ума превеликого и писал тайно, крадучись. Земля-то наша матушка, по той черной книге, на китах не стоит...

— Не стоит?..

— Не стоит, а кругла-де она, велика и находится в вечном кружении, плавая в небесах, как рыба преогромная в море-океане плавает и не тонет...

— Диковинно мне это, брат, но опять же умом своим я разумею так: от этого земного кружения, видимо, и на земле все скружилось и перепуталось. И одним богатство валится, как из преогромной бочки, другие же в трудах маются и, животы поджав, лохмотьями землю метут...

— По той черной книге, Земли кружение вечно, и удержать его не можно.

— А бог?

— По той черной книге, о боге слов нет, и место ему не найдено.

— Да ты в уме?

Оба задумались.

— Смотри, Никанор, — свирепо сдвинул брови Филимон, — царя сквернишь —

то можно, бояр-мучителей да воевод с палачами ругаешь — то можно, то мне по душе, а вот бога не тронь!

Никанор хорошо знал нрав своего брата, испугался:

— Бога... не шевелю, да и как его пошевелишь, ведь он бог! От злых людей надобно хорониться, а богу воздавать должное, жить смиренно, праведно...

Братья покосились на маленькую иконку, что висела в углу, засиженном сплошь мухами, и размашисто перекрестились.

За дверями послышался шум. Братья оглянулись. Маланья, открыв дверь, тащила за руку Артамошку. Мальчишка пятился, не хотел идти. Вихрастая голова его была взлохмачена, лицо в крови. Большие отцовские сапоги и длинная, не по росту, казачья кацавейка густо вымазаны в грязи. Артамошка упирался, но мать, крепко вцепившись, тащила его через порог.

Филимон гаркнул на всю избу:

— Обмой бродягу, я его поучать стану!

Мать смыла с лица Артамошки грязь. Остатками гусяного сала смазала распухший нос, толкнула к отцу.

— Кто? — спросил отец.

— Селивановы ребяташки.

— Оба?

— Оба!

— За что?

Мальчик молчал.

— Говори! — не унимался отец, зная, что сын что-то скрывает.

Артамошка покраснелся и зашлепал вспухшими губами:

— Селивановы Гришка да Петрован проходу не дают, орут принародно: «Твоему отцу зубы вышибли. Теперь ты, Артамошка, не Лузинов сын, а Свистунов». А меньшей, Гришка, на одной ноге скакаючи, лопочет:

*Артамошка,  
Артамошка, оглянись!  
Твой отец разбойник...*

Артамошка не договорил, заплакал.

— Сопляк! — стукнул Филимон кулаком по столу и так топнул ногой, что полетел с полки горшок и рассыпался мелкими черепками. — Давно селивановские на рожон лезут! — крикнул он и схватился за топор.

Никанор пытался удержать его:

— Не казни сердце, не горячи кровь! Селивановы — купцы, хоть и мелки, но на виду у самого воеводы, тягаться с ними нам не в силах... Засекут, ей-бо, на площади засекут воеводские палачи!

Маланья вцепилась в Филимона — не пускала из избы.

Филимон бросил топор, потряс кулаками в воздухе и бессильно опустился на землю. Артамошка шмыгнул на печку и притих. Потрогав распухший нос, прошептал:

— Гришку на кулаки вызову, с Петрованом силой померяюсь! В одиночку-то они трусоваты.

На печи он согрелся и сладко задремал. Сквозь полусон услышал стук. Выбегав из избы, Артамошка увидел отца за работой. У потухшего горна на обожженном бревне в ряд лежали свежеотточенные ножи. Артамошка сосчитал девять штук. Отец тесал топором, заготавливал к ним березовые рукоятки. Не утерпел Артамошка, схватил один ножик. Остер, лезвие как жар горит!

— Не тронь! — прикрикнул Филимон. — Я тебе, озорник!

Артамошка заметил, что у отца густые брови сошлись до самой переносицы. «Зол отец... Лют и зол, — подумал Артамошка. — Быть беде». Он положил ножик и ушел от отца обиженный. Потом опять забрался на печь, даже ужинать не стал.

Он слышал, как отец, вернувшись в избу, говорил:

— Побью!.. Погромлю!..

— Не надо, Филимон, — упрашивала, всхлипывая, мать. — Воеводские наушники прознали про твои угрозы, не сносить головы... Бежать тебе надо, спастись.

— А ты?

— Что я! — вздохнула мать. — Мне одна судьба — маяться, обиды сносить.

— Долго ли сносить обиды воеводских мучителей! — не унимался отец.

«Драка! — обрадовался Артамошка. — Селивановых, наверно, отец лупить будет. Вот потеха!..»

— Сожгу! — грозился отец.

— Побойся бога, не надо! — уговаривала мать.



# ПОЭЗИЯ



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные стихи иркутских поэтов*

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА



---

КУЗНЕЦОВА СветлАна АлексАндровна (14 апреля 1934, Иркутск — 30 сентября 1988, Москва) — русская советская поэтесса и переводчик. Член Союза писателей СССР. Лауреат премии журнала «Огонёк» (1988). Отец — Кузнецов Александр Александрович, директор школы, потомок ссыльных поляков — участников восстаний начала 1830-х годов. Мать — Амосова Лидия Ивановна, учитель русского языка и литературы, потомок Дмитриевых из Самары, сосланных в Сибирь в XIX веке по политическим мотивам. Детство Светланы Кузнецовой прошло в Сибири на берегах Витима в центре Ленского золотопромышленного района в Бодайбо, где окончила среднюю школу. Поступила в Иркутский государственный университет на филологический факультет. После смерти отца оставила учёбу. Работала редактором художественной рекламы. Писать стихи начала в 9 лет. Первая книга поэтессы «Проталины» вышла в 1962 году в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» с предисловием известного поэта Александра Прокофьева, который выделил Светлану Кузнецову среди молодых и напутствовал её в поэзии. В 1964 году издательство «Молодая гвардия» выпустило сборник Светланы Кузнецовой в серии «Библиотечка избранной лирики», в редколлегию которой входили Михаил Светлов, Борис Ручёв, Владимир Костров. Светлана Кузнецова переехала в Москву в середине 1960-х годов. Поступила в Литературный институт имени Горького. Окончила Высшие литературные курсы в 1965 году. Её приняли в Союз писателей СССР по рекомендации Александра Прокофьева. Творчество молодой поэтессы заметил Александр Твардовский: будучи главным редактором, он опубликовал в журнале «Новый мир» стихотворение Светланы Кузнецовой «Мои родители». С 1964 по 1972 год в московских издательствах — «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Советская Россия» выходят сборники стихов Светланы

Кузнецовой: «Соболи», «Только о любви», «Сретенье», «Забереги». Её стихи публикуются в ежегоднике «День поэзии», в Библиотеке журнала «Огонёк», в газете «Литературная Россия». После долгого перерыва в 1982 году в издательстве «Советский писатель» вышел новый сборник стихов «Гадание Светланы». В 1983 году в Восточно-Сибирском книжном издательстве (Иркутск) вышел сборник стихов «Соболиная тропа» с предисловием поэта, лауреата Государственной премии СССР Анатолия Преловского. Журнал «Огонёк» (№ 18, апрель 1988 года) публикует девять стихотворений из цикла Светланы Кузнецовой «Русский венок». За эту работу ей была посмертно присвоена премия журнала «Огонёк» за 1988 год (№ 1, январь 1989 года). Последний прижизненный сборник Светланы Кузнецовой «Стихотворения» выходит в издательстве «Советский писатель» тиражом 35 тыс. экземпляров в 1986 году. Критик и литературовед Вадим Кожинов в своём труде «Свет двуединый...» писал: «Со всей взвешенностью и ответственностью скажу, что лучшие из зрелых стихотворений Светланы Кузнецовой — самое значительное из того, что было создано в русской женской поэзии после Анны Ахматовой...» В последние годы жизни Светлана Кузнецова подготовила и сдала в печать два новых сборника: «Второе гадание Светланы» и «Светлана Кузнецова. Избранное. Стихи». Обе книги вышли в издательстве «Советский писатель», когда её не стало — (в 1989 и 1990 годах). Светлана Кузнецова скончалась 30 сентября в московской городской больнице № 71. Похоронена на Ваганьковском кладбище Москвы.

## Над судьбою, что мне положена...

«В цветастом наряде, в обнимку с бедой,  
Сидела подруга. А рядом  
Летали подёнки над грязной водой  
И хвастались чёрным нарядом.

И я говорила ей странную речь  
О том, что сама я — подёнка,  
О том, что мне жизнь неприлично беречь,  
Когда она вся — похоронка.

О том, что не стану минуты считать,  
Которыми так небогата.  
О том, что мне надо летать и летать,  
С восхода летать до заката.

Что нужен мне только мой черный наряд,  
Прозрачные черные крылья,

Которые сладкую легкость творят  
Над зарослями чернобылья.

Подруга в ответ мне роняла слова  
Об отдыхе, счастье и смысле  
И, может, была уж не так неправа,  
Да разные доли нам вышли.

Она переборет и эту беду,  
Немного усилий осталось,  
И встретит в каком-то туманном году  
Спокойную, умную старость.

А мне лишь подёнкой, подёнкою быть  
И в завтрашнем дне не продлиться,  
А мне только траурным промельком слыть  
Над грязной водою столицы».

\* \* \*

Чтобы даль прояснилась яснее,  
Никакому не веря врачу,  
Я руками как можно плотнее  
Нынче голову обхвачу.

И не мелкой, а крупной подробностью  
Задрожит под ногами доска.  
Перейденный мной мостик над пропастью  
Замаячит издалека.

Ощущением вспыхнет, не боле:  
Я прошла. Вам уже не пройти.  
Этим выплеском воли и боли  
Вам уже никого не спасти.

Позже сменится опасеньем,  
Виновато прильнувшим к виску,

Можно ль звать с полным правом спасеньем  
Злую память и злую тоску?

Но когда мои песни споются,  
Те, на самой последней крови,  
В чем-то грязном подоле зальются  
Сберёженные мной соловьи.

\* \* \*

Я та, что всю душу вызнобила,  
Пока вы жаре дивились.  
Я та, что все слезы выплакала,  
Но слезы вновь появились.

Покуда другим сподручно  
Не помнить про мой закут,  
Я плачу почти беззвучно,  
А просто слезы текут.

По всей пробежав Отчизне,  
Собрав судьбу по кускам,  
Дорожки в иные жизни  
Бегут по моим щекам.

О серебре ли, о злате ли  
Не думает вольный зверь.  
Мне другом в другой Галактике  
Уже распахнута дверь.

\* \* \*

Снится сон мне: луна в черном небе блестит,  
Притворяясь чеканной монетой,  
И какая-то черная птица летит  
Над не менее черной планетой.  
В черном платье стою я на черном лугу,  
Черном, словно густые чернила,  
И уже ничего изменить не могу,  
Хоть сама это всё сотворила.  
Хоть впустила сама черноту за черту,  
Зачернив свои волосы русы,  
И покорно смотрю я на их красоту,  
Теребя свои черные бусы.  
Не поднять мне от чёток зловещих лица  
И не снять с себя чёрные вещи...  
Но повинна я сон досмотреть до конца,  
Ибо он называется вещим.

\* \* \*

Знаю — познается всё на практике,  
Но на веру надо принимать  
Ласковость неведомой Галактики,  
О которой напевала мать.

Напевала или бормотала,  
Словно колдовала у огня.

Жалко — я судьбину промотала,  
Не постигнув смысла бытия.

Все же, уходя с земной излуки,  
Верую — в неведомых мирах  
Матери моей зачтутся муки,  
Ну а мне — полночный поздний страх.

\* \* \*

Согласно молодой молве,  
Мы вроде не были, хоть были.  
Давно в холодном зимовье  
Нас вырезали и забыли.

Но в мертвой памяти стоять  
И в сини неживого глаза

Тому ножу, чья рукоять  
Наборная из плексигласа.

Тому, что в рыжих пятнах весь  
На самом юном госте ватник,  
И удивленью, что он здесь —  
Убийца, времени соратник.

\* \* \*

Дальнего леса печальный реликт,  
Буйство родной чернобыли...  
В центре беседы — иранский конфликт,  
Давние русские были.

В центре беседы — арабские сны,  
Сказочки Шехерезады,  
Нового горького смысла полны,  
Новой горчайшей улады.

В центре беседы — прекрасный Афган,  
Запахи гари и крови.

Где он, бывалый кривой ятаган,  
Да насурьмлённые брови?

В центре беседы — прекрасный Китай,  
Многომиллионные сонмы...  
Что ж, поскорее из пепла взлетай,  
Феникс, чьи крылья огромны.

В центре беседы — прекрасный Восток,  
Игры, что мы проиграли.  
В центре беседы — последний виток  
По безысходной спирали.

## Чертополох

Что мне уснуть сегодня не дает?  
О нет, не наводнения, не пожары,—  
То за окном чертополох встает,  
И в комнату его вползают чары.

Не тормози чертят, чертополох,  
Пусть отдохнут. Они и так устали.  
Не затевай зазря переполох  
Средь сумерек умеренной печали.

Что черти мне? Пускай себе живут  
По всем углам, резвятся, корчат рожи.  
Они в быту терпимей, чем слывят,  
И уж давно не вызывают дрожи.

Пусть будет цель святая далека,  
Чертополох, что мне до этой цели?  
Не распускай кровавого цветка  
В оконные нацеленные щели.

Не умножай осмысленного зла,  
Не делай из обыденного драмы  
И не черти на ломкости стекла  
Локаторы — круги и пентаграммы.

Да, жизнь не удалась. Да, сон мой плох.  
Но все же в чем-то главном не сдалась я.  
Не тронь моих чертей, чертополох,  
И домового по прозванию Вася.

\* \* \*

Не прорвавшись в иные миры  
Через плотную сеть отражений,  
Судьи чьей-то удачной игры,  
Мы своих не постигли движений.

Так присядем и руки сплетем,  
Принимая безропотно долю,

Перед непостижимым путем  
В неизвестность по голому полю.

И давай до конца повторять  
Под последние всплески метели:  
«Боже мой, как же страшно терять  
То, чего никогда не имели!»

\* \* \*

Может быть, колос последний сжат  
Мной на родной стерне.  
Мать и отца, что в земле лежат,  
Часто вижу во сне.

Полно, мне ли о том тужить  
В этот дождливый день,  
Что, и попытки не сделав жить,  
Минула, словно тень.

Жизнь в ожиданье смрада тюрьмы  
На острие ножа?  
Школьная пропись: «Рабы не мы»,  
Главная с детства лжа.

Жизни, что быть бы могла, не жаль.  
Ртом ловлю пустоту,  
И волочится за мною шаль  
Черная — в черноту.

\* \* \*

У меня решения чётки.  
Уж давно из надежной стали  
На окошках стоят решетки,  
Чтобы ангелы не залетали.

Но опять сквозь стекла таращат  
Голубые свои гляделки.

Что мне речи их очумелые,  
От земных забот отреченные,  
Одеянья такие белые  
И деянья такие черные?

Но опять металл прогибает  
Их весомая невесомость...  
Видно, в мир наш, что погибает,  
Вновь разверзлась космоса полость.

Но опять свои правды тащат,  
Словно семечки на посиделки,

Только накрепко отгорожена  
От незваных моя обитель.  
Над судьбою, что мне положена,  
Бог судья лишь, но не властитель.

\* \* \*

Отзвенели мои погремушки,  
На куски разлетелась твердь.  
Отыграла, видать, в игрушки  
По названию Жизнь и Смерть.

Отгуляла на свете алом,  
Растеряла последний страх...  
Это кто там под покрывалом  
У меня торчит в головах?

Это кто мне велит уняться  
Непременно в этом году?  
Ведь найду я силы подняться,  
Любопытства ради найду.

Проклиная слабости нóшу,  
С малолетства ясность любя,  
Дотянусь, покрывало сброшу —  
И увижу саму себя.

## ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА

### Север, север

*Памяти  
Светланы Кузнецовой*

На Витиме большая вода  
Затопила прибрежные кущи.  
Словно осы, жужжат провода.  
Облака так легки и зовущи.  
По Витиму — на белой «Москве» —  
Сквозь кипящее, злое течение...  
Что Москва? У меня в голове  
Трепетанье, журчанье, свеченье.

Север, Север! Мирская молва  
Прокляла... Солгала? Обманулась?  
У меня в голове — синева!  
Горным воздухом я захлебнулась.  
Стало сердце моё наконец  
Золотою подковой певучей.  
Я с Витимом иду под венец —  
Сибирячка! Звездой падучей...

## ВЛАДИМИР СКИФ

### Памяти Светланы Кузнецовой

Запирайте заботливо души,  
Не ссылайтесь сегодня на лень,  
Чтобы, ваше застолье нарушив,  
Не вошла моя лёгкая тень.

*Светлана Кузнецова «Завещание»*

Вот и канули в прошлое битвы.  
Ты уходишь, как свет — в высоту.  
Зашепчу над тобою молитвы,  
Что хранили твою чистоту.

Запою твои горькие песни,  
В изголовье поставлю свечу.  
Зашепчу над тобою: «Воскресни!»  
И услышу в ответ: «Не хочу!

Не хочу. Ты моё «Завещанье»  
Прочитай — и узнаешь тогда,  
Что меня моё чёрное знанье  
Торопило уйти навсегда.

Встало куполом Чёрное Знанье  
Посреди затверделого дня,  
Мне присвоило новое званье...  
Вот и вы проводили меня.

Это званье пойдите — измерьте,  
Суетливое дело верша.  
Это ЗНАНЬЕ — из жизни и смерти,  
До него достигнула душа.

Потому-то и живо сознание,  
Что с души начиналось, с неё.  
Я-то знала, храня, как преданье,  
Это вещее знанье моё».

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

ЛЕВ КУКУЕВ



## Живые и мертвые

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

### Часть 1

\* \* \*

...Бойцы продолжали говорить тихо. Друг друга не перебивали. В голосах их слышалась тоска по дому и семьям. Олегу не хотелось шевелиться, мешать тем, кого он привык чаще видеть хмурыми и молчаливыми, обремененными тяготами и лишениями. Пусть говорят. Сердце солдата не камень.

---

КУКУЕВ Лев Архипович — русский советский прозаик, детский писатель. Родился 17 мая 1921 в селе Анцирь Енисейской губернии. Окончил среднюю школу № 9 в Иркутске. В годы Великой Отечественной войны служил в армии, окончил ускоренно саперное училище. В 1942 стал командиром саперного взвода, гвардии майором в 1945. Воевал в Подмоскowie, Брянщине, Орле, Сталинграде. Освобождал от фашистов Варшаву, Берлин. В 1947 году демобилизовался в звании майора и вернулся в Иркутск. После войны преподавал (с 1947) в Иркутском авиационном техническом училище гражданского воздушного флота. Начал печататься в 1952 году. Первая книга — сказки для детей «Медведь-садовник» вышла в 1958 году. Автор романов «Живые и мёртвые», «Море в ладонях», «Эстафета», военных воспоминаний «Полевая сумка» и др. Член Союза писателей СССР с 1958. Член Правления Союза писателей РСФСР (1968–1971). Ответственный секретарь Иркутской писательской организации (1969–1972). Избирался депутатом Иркутского городского и областного Совета депутатов, был директором Восточно-Сибирского книжного издательства. Скончался 26 марта 1992 года в Иркутске.

Олег думал о Наде. Они не виделись с того дня, когда расстались на просеке. Иногда ему приходили в голову просто шальные мысли. Он представлял себя раненым, лежащим в постели. Надя сидела возле него. Он брал ее сильные маленькие руки и долго держал в своих огрубевших. Она понимала его без слов...

Так уж устроен человек, что в надеждах и мечтах всегда опережает жизнь. Он еще боится признаться себе в чем-то, а мечты его разжигают, пьянят, будоражат. Не раз за последнее время Олег ловил себя на мысли о том, что все чаще и чаще начинает рисовать себе живого, хотя и не существующего еще своего ребенка. С синими, как у Нади, глазами и белыми кудряшками... Отец Олега погиб в двадцать первом от пули бандита в Забайкалье, но он продолжает жить в сыне. А вот если погибнет Олег, то исчезнет не только он сам...

Страшно хочется жить!

Он услышал голос Романова, пристальней всмотрелся в глубокие морщины на смуглом лице бойца, в его глаза, наполненные сдержанной теплотой, всмотрелся в синий шрам на щеке и в складки рта, которых коснулась едва заметная улыбка...

— ...А у нас деревня на косогоре стоит, за деревней березняк. Домики белыми ставнями в речку смотрятся. Не налядишься! — Романов вздохнул.

И Курганову стало отрадно, что рядом такие люди, как Галков, Третьяков, Романов, Хаво... Люди, которых он раньше не знал, а верить в них научился уже на войне. Друзья!

## Часть 2

\* \* \*

Вначале враг отходил медленно, цепляясь за каждую пядь земли, пытаясь подвижными резервами затыкать все новые бреши в обороне, и наконец покатился, теряя десятки населенных пунктов.

С первыми сумерками батальон капитана Малышева преследовал противника по пятам. В сторону фронта шли пехота и танки, артиллерия и бронетранспортеры, повозки и санитарные машины.

Но Малышев вынужден был остановить батальон и занять круговую оборону. Его истребительный противотанковый дивизион, рота саперов и взвод разведроты, находясь в авангарде дивизии, сильно оторвались от своих.

Село казалось глухонемым, с мертвыми улицами. Немцы угнали жителей.

В школе пахло порохом, хлоркой, чужим табаком. Командный пункт батальона, саперы и разведчики разместились в пустующих комнатах, где были когда-то классы, а с приходом немцев — комендатура. Малышев, пытаясь связаться по радио с полком и дивизией, ругал радистов, поспешно отдавал в роты распоряжения по телефону и через связных.

Олег и Сокольников вышли на открытую веранду и прислушались к звукам ночи. Гул батареи доносился со всех сторон. На севере горела деревня. Плескалось по небу зарево. Куклин и Рябкин, обнаружив в селе брошенную немцами повозку продуктов и полевую кухню, уже кашеварили. Но Куклин не ограничился этим. Он тщательно исследовал догоравшую санитарную машину, заглянул в сараи и кладовые, а потом в дома, что были расположены вокруг школы.

Через дорогу от школы находилось здание бывшей сельской больницы. Дверь была на замке. Попытавшись проникнуть внутрь через окно, старшина к своему



удивлению почувствовал, как оно легко раскрылось. Взобравшись на подоконник, при тусклом свете зажигалки он увидел белые длинные столы, заставленные колбами и медицинскими приборами. Со стены напротив из золоченой рамки на него зло смотрел Гитлер. Куклин грузно подпрыгнул, сорвал портрет, бросил на пол, продавил его каблуками сапог и в раздумье вышел. «Что за дьявольщина? — думал он. — Надо будет пригласить сюда доктора или начхима».

Но первым, кого он встретил, был Бор. Куклин обрадовался. Он знал, что Бор в занятых немецких блиндажах собирает газеты, письма, листовки и документы.

Куклин потащил Бора за собой, помог влезть в окно, а сам закурил и стал нетерпеливо расхаживать под окнами. То и дело до него доносились хлопанье дверок шкафов, звон и бой стеклянной посуды...

В просвете облаков появилась луна, залила все зябким светом, и Бор предстал перед Куклиным. Немец был бледным до желтизны, руки его тряслись, пилотка осталась в доме, очки сползли на кончик носа и, казалось, вот-вот свалятся, редкие скатавшиеся волосы беспорядочно торчали в разные стороны. Он о чем-то хотел рассказать и не мог.

— Что там? — трепал его за рукав Куклин. — Послушай, что там, а? Газы, да?..

Присев на корточки, он видел, как Бор, освещая себе дорогу фонариком, перебрался через наваленные кучи щебня, скрылся в погребе. Запрыгали на стенах прохода тени и блики.

Куклину стало не по себе, когда из подвала донесся обрывистый стон. Он еще немного постоял и, предчувствуя неладное, но не рискуя с одной зажигалкой спуститься в погреб, засеменял через улицу к школе.

Оказавшись в роте, Куклин поднял на ноги всех. Курганов пристегнул пистолет и собрался идти вместе с ним в подвал за Бором, но дверь отворилась, и он сам появился на пороге.

Лицо его уже не было бледным, оно было пепельно-серым, сразу состарившимся на десятки лет. Все, кто находился ближе к двери, расступились и пропустили Бора к столу.

Немец шел, склонив голову на грудь, не смея поднять глаза. По его впалым, морщинистым щекам бежали слезы. В приступе отчаяния он заломил руки и простонал:

— Мне стыдно, мой бог, мне стыдно, что я немец! Там... Там фашистские псы брали кровь у детей для своих раненых...

Разорвись в эту минуту над головами саперов бомба, она бы не поразила их с такой силой, с какой их поразили слова Бора.

— Что?! — наконец закричала Надя, отрываясь от стены побледневших бойцов. — Что вы сказали?!

Рано утром разведчики передовых отрядов привели пленного. Тот не успел удрать далеко на подбитой машине. Знаков различия на мундире гитлеровца не было, головного убора — тоже, однако нетрудно было догадаться, что немец — офицер. В классной комнате окна были завешены плащ-палатками, на столе ярко горела гильзовая лампа. За столом сидели Сокольников и Курганов. Надя и Бор — поодаль.

Гитлеровец стоял посередине комнаты, слегка расставив ноги, опустив руки по швам. Документов у него не оказалось. Должно быть, в самую последнюю минуту он выбросил их.

Допрос вел Курганов:

— Кто вы такой?

— Вилли Штрупп.

— А точнее?

— Старший ефрейтор Штрупп.

— А еще точнее?

Гитлеровец, отчаявшись, с повинной в голосе проговорил:

— Техник радиосвязи лейтенант Вилли Штрупп.

— Какого полка и дивизии?

Пленный ответил.

— Какие потери в дивизии и когда получили последнее пополнение?..

Закончив официальную сторону дела, Курганов сказал:

— Вы, Штрупп, убийца!

— Я не убийца! — испуганно выкрикнул пленный. — И только что прибыл из тыловых частей... У меня агранулоцитоз...

Бор вздрогнул: «агранулоцитоз».

— Заболевание крови? — проговорила рядом Надя. Слишком профессионально был произнесен пленным медицинский термин. Бор давно заметил, что большой, указательный и средний пальцы правой руки гитлеровца часто сжимаются, потирают друг друга. Казалось, они по привычке пытаются удержать не то карандаш, не то... скальпель?

Бор встал и встретился с пленным глазами:

— Засучите рукава!

Гитлеровец попятился.

— Ваши руки пахнут кровью и формалином, а на запястьях следы резиновых перчаток. Вы вампир с дипломом врача!

— Нет!.. Нет! — загородился ладонью гитлеровец. — Не-ет! — закричал он с таким отчаянием, что всем стало ясно: Бор прав.

Нарушив звенящую тишину, Бор произнес как приговор:

— Именем всех честных немцев я прошу повесить этого негодяя!..

Уже рассвело, когда Сокольников приказал перенести из погребца на площадь трупы детей и уложить их на простыни. Рота саперов, разведчики и все, кто были на командном пункте батальона, выстроились в нескольких метрах от них.

С площади было видно, как по двум дорогам к селу спускаются танки и «ка-тюши». Сокольников приподнял голову, снял пилотку и пошёл к мертвым детям, чтобы от имени их обратиться с призывом к бойцам...

Вдруг комиссар покачнулся, закрыл глаза. Из груди Сокольникова вырвался стон. Он поднял трупик и прижал его к груди...

Было что-то жуткое в этой картине. Все словно окаменели.

А Сокольников целовал в губы и щеки, в лоб и в глаза маленькое худенькое личико восковой желтизны...

Олегу показалось, что он видит, как седина тусклым пятном расплзается от виска к затылку комиссара, и почувствовал, что его руки и ноги одеревенели. Это ощущение мертвенного холода, сковывая все части тела, подступало все ближе и ближе к сердцу. Горло перехватили спазмы, глаза вдруг стали плохо видеть.

Головной танк, вылетев к площади, резко сдал скорость и слишком медленно, так медленно, словно боялся нарушить сон уснувших навек, пошел через площадь. У башни, на которой застыл танкист с приспущенным знаменем, было написано: «За кровь детей наших мы отомстим!»

Прошел второй танк, за ним третий, и лишь тогда Сокольников очнулся от забытья. Он вновь прижался губами к восковому личику девочки и осторожно опустил трупик рядом с другими. Поднимаясь на ноги, комиссар пошатнулся и едва не упал. Надя хотела поддержать его, но он сам взял ее за плечо и притянул к себе. Так они и остались стоять... У нее по щекам катились крупные слезы. Его щеки были сухими.

А танки все шли и шли. На каждом из них — десант автоматчиков. Бойцы, крепче сжимая оружие, молча склоняли головы. За танковой колонной вошли на площадь «катюши», не покрытые брезентом. За ними вступил кавалерийский полк.

Курганов поднял глаза и содрогнулся. Обнаженная голова комиссара была полностью седой.

Тихо, бесшумно на площадь вступила пехота — хозяйка полей, пропахшая порохом, обожженная жаром войны... Люди шли, и каждый клялся мстить и мстить врагу беспощадно, до последней капли крови. До последнего вздоха.

# ПОЭЗИЯ



## *К 90-летию Иркутской писательской организации. Избранные стихи иркутских поэтов*

### ТАТЬЯНА СУРОВЦЕВА



СУРОВЦЕВА Татьяна Николаевна (11 октября 1946, рудник Хапчеранга Читинской области, — 6 марта 2017, г. Иркутск). Окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А.М. Горького. Член Союза писателей СССР с 1989. Автор книг стихотворений *«Я не живу за каменной стеной»* (самиздат КПУ), *«Остров веры»* (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1982), *«Северная песня»* (Москва, «Современник», 1985), *«Крыло судьбы»* (Иркутск, Восточно-Сибирское издательство, 1988), *«Снежные птицы»* (Иркутск, «Письмена», 1999), *«Жизнь свою начинаю сначала»* (М., «Вече», 2016). Лирической героине Т.Н. Суровцевой присущи открытость, доверие к миру, способность сохранять душевное тепло в холоде сибирских пространств, возвышенность поэтического слова. За книгу стихов и переводов *«Снежные птицы»* в 2000 награждена Губернаторской премией. С 6-го класса жила в Чите, много читала, занималась в школьном хоре, каталась на коньках и занималась в секции спортивной гимнастики. В Иркутск приехала после окончания средней школы, здесь напечатала первые стихи в газете *«Советская молодежь»*. Работая на международной телефонной станции, окончила библиотечное отделение Иркутского культпросветучилища, затем работала в библиотеках города. Осенью 1982 года в Новосибирске прошла конференция молодых писателей Сибири, где Татьяна Суровцева приняла участие как автор сборника стихов. По результатам обсуждения была устно рекомендована Сергеем Лыкошиным, представителем московской группы критиков, в члены Союза писателей СССР. Однако от этой рекомендации до приема в Союз прошло долгих семь лет. За эти годы вышли еще две книги: *«Северная песня»* (Москва, изд-во «Современник», 1985 г.) и *«Крыло судьбы»* (Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1988 г.). Книгу *«Крыло судьбы»* известный писатель и критик Станислав Золотцев назвал «прочной, цельной, сильной», заметив, что в ней стало больше «жертвенности, жажды уберечь от бед все родное и близкое». В 1989 году поэтка была принята в Союз писателей СССР. В 1988 году она становится лауреатом премии им. И. Уткина. С 1991 по 1993 год молодая писательница проходила обучение на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. В 1999

году в издательстве «Письмена» вышла книга «Снежные птицы», куда вошли ее стихи, переводы с французского сказок для детей Марии Луизы Вэр, чьим творчеством Татьяна была увлечена.

«Стихотворения для меня всегда итог пережитого — не мгновенная вспышка мысли или чувства, но попытка соединить настоящее, прошлое, будущее — и человек в этом трехмерном пространстве... И все-таки могу сказать, что ставлю перед собой не мелкую цель, но всегда — сверхзадачу, которая ведет меня вперед встраиваться в новую реальность. Какой она будет? На пороге третьего тысячелетия будущее видится прекрасным, люди представляются высококультурными, гордыми, чистыми. Будет ли так — или иначе? Но поэт всегда должен быть выше повседневности. Так мне думается», — пишет Татьяна Суровцева. Лауреат премии им. Иосифа Уткина (1982, за книгу «Остров веры»). 6 марта 2017 года после тяжелой болезни ушла из жизни.

## Все же мир — вдохновенье и тайна...

\* \* \*

*Ничего, никого, никогда*  
не забуду из лет облетевших.  
Всё со мной: молодая вода  
горной речки — дикарки безгрешной,  
и рудничная грубая быль,  
и за нежность жестокая плата...  
Всё, в чем я без вины виновата,  
все, что случай когда-то убил.  
Тем, быть может, и жизнь хороша,  
что не вычеркнуть дела и слова:  
всё к тебе возвратится, и снова  
улыбнётся и вздрогнет душа.

Не отречься от прожитых лет!  
не догнать убежавшую воду,  
но не гаснет особенный свет  
над особенным временем года:  
школьный сад сентябрём занесен,  
репетиция, музыка, поздно...  
Мы читаем по листьям и звёздам:  
будет счастье — для всех и во всём!  
...Тех забот золотая руда  
стала пылью. Но разве напрасно  
так же нежно, тревожно и страстно  
те же звезды глядят сквозь года?!

\* \* \*

...И вёсел узкие запястья,  
летающие над водой,  
И чайки вечное приращенье  
к полету, к риску. И прибой  
у берега — от черной баржи.  
А на мосту — трамвайный бег.  
Отсюда сладко нам и страшно  
увидеть дно знакомых рек.

Зачем влечёт и что скрывает  
стихия сумрачной воды?  
И я стою и замираю,  
как от предчувствия беды.  
Как будто жизнь мою уносит  
река в студёный океан,  
в себе мешая синь и осень,  
и ночь, и звезды, и туман.

## Аршан

Вулканический прах на дороге,  
вечных странствий бесстрастный мотив...  
Простодушны бурятские боги,  
им не надо ни жертв, ни молитв.  
Божества плосколицы эти  
не дано возмутить суете:  
узкий взор созерцает столетья,  
как круги на озерной воде.  
Здесь шагай, да о вечности думай,  
да гляди, не идёт ли гроза.  
Здесь душа не бывает угрюмой,  
не бывают пустыми глаза.  
А когда обронённой монетой  
под холмом засверкает аршан,

ты напьёшься шипучего света,  
ясным холодом жизнь освежа!  
Здесь наивные встретишь приметы  
поклонения богу бурят:  
подари ему денежку, ленту —  
вот и весь немудреный обряд.  
Укроти городскую гордыню,  
отплесни на полянку вина —  
и к тебе подобреют отныне  
духи гор и лесная страна.  
В становище бессмертных деревьев  
удержи ускользающий миг:  
молчаливые бродят поверья,  
стерегут драгоценный родник...

\* \* \*

«По диким степям Забайкалья,  
Где золото роют в горах...»  
По праздникам песня такая  
Звучала в рудничных дворах.  
А праздники круто справлялись!  
Я помню, за нашим столом  
Тоска и веселье казались  
Затянутым насмерть узлом.  
Я песни не знаю прекрасней!  
Бродяга, в наш дом загляни:  
Твой путь одинок и опасен,  
Тебе эти люди сродни.

Дадут тебе хлеба и водки,  
Фуфайку, чтоб легче жилось.  
Уйдёшь ты тяжелой походкой  
К Байкалу — в легенду, в мороз.  
Уходит... А песня осталась:  
Звенящие глухо слова.  
Да детская острая жалость  
К бродяге тому всё жива.  
Легенда, печалью повита,  
Вплелась в мои ранние дни.  
Мгновенье забытого быта —  
Звезда в черноте полыньи.

\* \* \*

*Владимиру Скифу*

В слепую ночь Байкала посреди  
Озёрных духов ты не разбуди.  
Чтоб не восстали из холодных вод,  
Судёнышко не взяли в оборот,  
Не захлестнули б чёрною волной,  
Не забросали дробью ледяной.  
Четвёртый час мы бьёмся о туман.  
Стоит туман, как белый истукан:  
Над мёртвой зыбью руки распростер...  
Невольно замер в рубке разговор.  
Всё тяжелей дыханье водных масс...

Мы здесь, как цепью, скованы сейчас  
Единой волей, чаяньем одним.  
Спешит кораблик к огонькам родным,  
К родной душе торопится душа,  
Седым туманом вечности дыша.  
Озёрных духов в эту злую ночь  
Я вызываю — я прошу помочь.  
Лучом звезды, что глазу не видна,  
Родную душу высветить до дна.  
Лучом любви хочу коснуться ран.  
Да не разбиться б о слепой туман!

## Рассвет на Байкале

Я волосы сушу на берегу:  
холодных брызг в них набросали волны,  
и волосы байкальским ветром полны,  
и солнце в них ночует, как в стогу.  
Встречаем утро в бухте голубой!  
На серых скалах дремлющие чайки  
срываются за первыми лучами,  
кричат, с разлету падая в прибой.  
Зеленый гимн у скал поёт вода,  
и колокольни каменного века  
гудят, ей подпевая.  
Струны света  
уходят в глубину, как невода.

По горизонту тянет лесовоз  
гурты плотов, и труженики моря  
негромкий порт Байкал увидят вскоре,  
и вновь уйдут, и вновь потянут воз...  
Скажите, неужели это я,  
задерганная бытом горожанка,  
гуляю здесь, где так свежо и жарко,  
где бесконечен праздник бытия?  
Хулу я поделила на хвалу.  
Все не важнее травки-повилики —  
здесь, где по склону кедр,  
как Пётр Великий,  
шагнул, корнями расколов скалу.

\* \* \*

Спит человек у нашего костра.  
Он из тайги. Один. Немногословен.  
Он нашим чаем и костром доволен  
И здесь проспит, как дома, до утра.  
Его одежда дымом и смолой  
Давно пропахла. Щёки побурели.  
Пуускай ладони прочно огрубели,  
Зато улыбка не бывает злой.  
Всю жизнь в тайге.  
Премудрости её

Постиг он с детства.  
Всё, однако, знает:  
Где соболь спит, где лоси обитают  
И как добыть из камня мумиё.  
Он утром вскинет на плечи рюкзак.  
Собаку кликнет. Ружьецо приладит.  
И нам кивнет — и по сырой прохладе  
Уйдёт. И горы заглянут в глаза.  
Куда уйдёт по стыни голубой?  
Какие тайны унесет с собой?

\* \* \*

Был поцелуй среди зимы  
И осторожен, и шершав...  
Густели темные дымы  
Над крышами чужих держав.  
Цвёл иней, словно на луне,  
День на излом был твёрд, как жесьть,  
И, налетавшая извне,  
На стёклах окон стыла весть  
О всех тревогах на земле,  
О том, что солнца в небе нет...  
В пустой квартире на столе  
Стыл чай с обломками галет.

Был дом, как скит, угрюм и пуст —  
В нем одиночество твоё  
Вставало, словно снежный куст,  
И заполняло бытиё.  
О, одиночеств наших зло,  
О, отчужденья полоса!  
Всезнанья битое стекло,  
Зима, попавшая в глаза!  
И, недоверчивые, мы  
Молчали, нежность удержав.  
И поцелуй среди зимы  
Был осторожен и шершав.

\* \* \*

Зачем Вам знать, как я жила в те дни,  
Как было в доме холодно и пусто,  
Как посреди всесильной толкотни,  
Не умирая, теплилось искусство?  
Оно горело свечкой на столе,  
А не торшером около постели.  
Раскачивали колокол метели,  
И леденели ветки тополей.  
К шести часам сгущалась темнота,

И бледным льдом надолго оплывало  
Мое окно. Я напрочь забывала,  
Что в мире есть любовь и доброта.  
Так я жила. Чужая среди чужих,  
У хитроумных не прося совета,  
Зимы четыре и четыре лета.  
Я умирала — но осталась жить.  
Не Вы тогда в мою стучались дверь.  
Зачем Вам знать, как я живу теперь?

\* \* \*

Деревья стоят, словно кубки  
Со снежным сыпучим вином,  
И воздух, искристый и хрупкий,  
Синицей звенит за окном.  
Не здесь ли, в продрогших кварталах,  
Моя потерялась душа?  
Не здесь ли я счастье искала,  
Метелью и мглою дыша?  
И только тревожно светилось  
Чужое окно на углу,

И только шоссе уносилось  
Бессонным пульсаром во мглу.  
И — мимо немых светофоров,  
И — мимо взлетевшей руки —  
Слепящих огней метеоры  
И красных огней поплавки.  
Пока я неспешно спешила  
За счастьем — и мимо него,  
Я, кажется, просто забыла  
Значение слова сего.

\* \* \*

Прощаю всех, кто был со мною груб:  
Обида в сердце — не рубец на коже.  
Вот день прошёл.  
Он выстрадан и прожит,  
А новый день как будто новый друг.  
Прощу того, кто мне солгал не раз.  
Желанье лгать — особый род болезни.  
Здесь недостойна месть. Куда полезней  
Лжеца дарить насмешливостью глаз.  
Прощаю тех, кто около меня  
Весь век живёт, меня не замечая.

Я тоже, право, в них души не чаю,  
За семь печатей душу хороня.  
Прощаю всех — затем, что старый друг  
Ко мне придет с первой электричкой,  
С весенним ливнем,  
с птичьей перекличкой —  
Нетерпелив его знакомый стук!  
Каков ни есть: веселый он с утра  
Или угрюм — пусть встанет на пороге.  
Спасибо, рельсы, улицы, дороги:  
Его душа всегда была добра.

\* \* \*

Мне славно жилось той зимою:  
Два светло-холодных окна,  
Метель голосит за стеною,  
Кольшется снега стена,  
Пронесятся снежные птицы  
И снежную песню поют,  
Летят ледяные зарницы  
И дымные тени снуют.

И в этом метельном мельканье  
С любимой книгой в руке  
Я, как в штормовом океане,  
Жила на своем островке.  
И в этом мельканье метельном  
Под мягко светящийся снег  
Душою моей безраздельно  
Владел девятнадцатый век.



И, словно педаль клавикордов,  
Скрипела замёрзшая дверь...  
Я воду носила, и в вёдрах  
Плескалась живая форель!  
При солнце, что ярче малины,  
При ветре, студёном, как лед,

Мне снилось: княгиня Мария  
Навстречу метели идёт.  
Идёт, предвещая денницу,  
Навстречу судьбе и молве,  
И пушкинский стих, словно птицу,  
Под шубкой несёт, в рукаве!

## Памяти Александра Вампилова

Свет и печаль — на твоей остановке.  
Легкие кроны летят в вышине.  
Чудная странница — божья коровка  
Капелькой крови упала ко мне  
На руку... Друг! Сумасшедшее время  
Здесь позабыло, откуда пришло...  
Друг мой таинственный!  
Память — не бремя,  
А оброненное в воду весло —  
Кружит, несётся в прозрачном теченье  
Незамутнённой Реки бытия.  
Мелкое всё потеряло значенье.  
Суть — прояснилась. Ей нет забвения.  
Лесом покрыты холмистые дали,  
Скошены травы, и август примят.  
Вольно дышать на последнем причале!..  
Веток пихтовых сух аромат.

## Стихи в сентябре

Какое утро! Лёд в стакане...  
Река дымит без огня.  
Сегодня ль, завтра — время ранит,  
нерасторопную, меня?  
И далеко ль теперь до снега?..  
Но я сегодня о другом:  
о том, как щедро льётся небо  
на всё, текущее кругом,  
на всё изменчиво-земное,  
живой и вечный, льётся свет.

А листья цвета зла и зноя  
ложатся в мой недавний след.  
От повседневности украдкой  
я остаюсь наедине  
с осенним легким беспорядком,  
с хрустящим полуднем; и мне  
легко — не видеть и не слышать  
глухого грохота колёс  
за робким шелестом над крышей —  
тишайшей жалобой берёз.

\* \* \*

...И в Евангелии от Иоанна сказано,  
что слово — это Бог.

*Н. Гумилев*

Разменяв золотые года,  
загляну в свою жизнь, как в колодец.  
Утонула в колодце звезда,  
из глуби серебрится вода,  
а по краю — осенний морозец.  
Что за птицы кричат надо мной?  
Не могу разглядеть оперенья.  
Что-то лик затуманился твой,  
Богоматерь моя — Умиление.  
Что-то сердце, не знавшее зла,  
словно зимняя ночь, холодеет...

Лищедеи мои, незлодеи,  
так откуда слепая хула?  
Вы не знали, в своей простоте,  
как бывает убийственно слово...  
(А в евангелие от блудослова  
слово — так, ветерок в пустоте.)  
Разменяв золотые года,  
жизнь свою начинаю сначала,  
и летит из колодца звезда  
в серебристую бездну — туда,  
где она при рожденье сияла.

### Моление о чаше

В безветрии душном томящийся сад  
Беззвучно грохочет листвою,  
А небо предгрозя — клубящийся ад —  
Так низко висит над землей.  
Как будто бы пепел горячий летит  
С небес на лицо и на грудь.  
И в страшном предчувствии сердце болит:  
«Приблизился крестный мой путь».  
Отужинав, крепко заснули друзья...  
Будил — добудиться не смог.  
Иуда исчез... И, сомненья дразня,  
Змея заползла на порог.  
Я ныне один в помертвевшем саду,  
В бесплодной и страстной мольбе.  
Не пот — это кровь выступает на лбу...  
«Отец мой! Взываю к Тебе.  
Сквозь молнию, Отче, на сына взгляни.  
Земному земное прости.  
От чёрного слова меня охрани  
И Чашу вели пронести...»  
Тяжёлые,  
редкие капли стучат.  
Небесная воля слепа.  
Шаги... Голоса...  
И светильников чад —  
Там требует жертвы толпа.

«Иуда, и ты... Но тебя я прошу.  
Я меч от врагов отведу.  
Вовек не роптавший —  
и днесь не ропщу.  
Молчите! Я с вами иду.  
Я с вами иду — я один ухожу  
Высокой стезёю своей.  
И вечно сверкающий путь проложу  
Для грешных и смертных людей...»

### Осенние полотна

Рисую осень. Жёлтый карандаш  
очиниваю тоненько и длинно.  
Вот жёлтый лист. Вот жёлтая долина,  
вот жёлтый день — осенний ералаш.  
Вот человек. Его не знала я.  
Не берегла, не называла милым.  
Не задержу: пускай проходит мимо,  
в осенний парк, где смех и толчея.  
Уходит пусть. Ему я не судья.  
Его лица затем лишь я коснулась,  
чтоб жажда жить в груди его проснулась,  
преодолев инертность бытия.  
Пускай он входит в полутёмный зал.  
Он спит душой. Глаза его спокойны.  
Но — музыкой я слух его наполню!..  
Он встрепенулся! Он себя узнал.  
Я окроплю неприхотливый лоб  
Священной влагой Мысли и Страдания.  
Скажу: смотри! И над громадой зданий  
Зажгу заката алое крыло.  
Лишь прикоснись — и пальцы обожжешь.  
Не бойся же! Ожог не так опасен.  
Быть может, мир ожогами прекрасен!  
Где нет ожога — там передвижу ложь  
да вечный страх за собственную кожу...

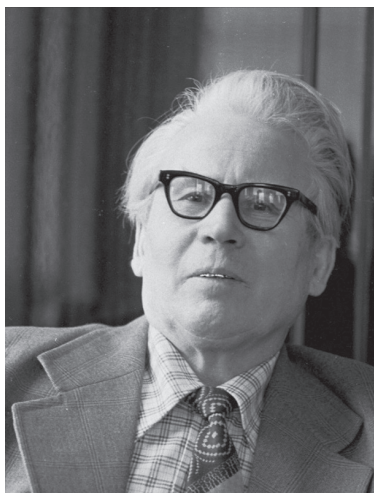
— Бойтесь? О, тогда не потревожу.  
Мне Вас не жаль, ушедшего во тьму.  
Из Ваших рук я хлеба не приму.  
Ну, вот и всё. Сточился карандаш.  
Не мне судить, удачна ли картина.  
Теперь возьму — и клином журавлиным  
Перечеркну осенний ералаш.

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

**АЛЕКСЕЙ ЗВЕРЕВ**



## **Ласточки**

РАССКАЗ

Ласточки прилетели на заре. Ласточки прилетели — это означало, что после холодных дождей и знобких порывистых ветров, когда солнце высокое, но неласковое, пришла летняя благодать. Теперь быстрее зарастёт трава, в огородах поднимутся овощи, а черёмуху покинет робость цветения.

Все ждали ласточек. И старики Якимовы ждали своих.

---

ЗВЕРЕВ Алексей Васильевич — прозаик, педагог (1913, с. Усть-Куда Иркутского р-на Иркутской обл. — 1992, Иркутск). Окончил Иркутский педагогический институт, работал преподавателем русского языка и литературы в школе. Участник Великой Отечественной войны. В 1942–1945 годах воевал на Первом украинском фронте, был тяжело ранен, около года провёл в госпитале. Был награждён орденом Красной Звезды. Автор книг: *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1962); *Дом и поле*: роман (Иркутск, 1970); *На Ангаре*: рассказы (Иркутск, 1972); *Последняя огневая*: повести (Иркутск, 1977); *Лыковцы и лыковские гости*: повести (Иркутск, 1980: Современная сибирская повесть); *Выздоровление*: повести и рассказы (М., 1982); *Раны*: повести и рассказы (М., 1983); *Жили-были учителя*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Как по сценарию морю*: повести, рассказы (Иркутск, 1984). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Прошлым августом, досыта налетавшись с выводком, отрепетировав их для отлёта, ласточки, видно на прощание, прилетели под сарай, покружились там, печально перекликнулись и сели всей пятёркой на изгородь, все в одну сторону — к старикам, вышедшим на крыльцо. Наохлившись, ждали: что-то на дороге им сейчас скажут.

— Ну до свидания, до свидания, — умиляясь и с какой-то проникновенной ласковостью заговорила с ними бабка. — Напрок к нам же прилетайте — дорогу-то не забудете? А мы вас встретим. Да вы ли будете, как вас, по каким перышкам заметить?

— Они будут, — сказал дедка твёрдо, хоть и сам не умел, как отличить своих ласточек от чужих. Сидели, распушившись, пять маленьких мутно-красных комочков с воронёными головками, — где родители, где дети? Разве самчиков от самок отличить можно более чётким оперением. Нет, ничем не приметить своих, и только вера жила в старике, что непременно они и прилетят к ним из дальних стран.

И старуха поверила и потому с ещё большей сердечностью, положив руки на грудь, наказывала:

— Ну и не запаздывайте напрок. А мы вам крышу только покроем. Нонче подтекало, так чуть не подмочило гнёздышко. Извиняемся, а вот уж новым летом будет всё хорошо. Прилетайте.

Бабка закивала головой, а ласточки, словно ждали конца прощальных слов и этого покачивания головой — разом сорвались с изгороди, цивиркнули в воздухе и отлетели к черёмуховым жухлым кустам, где подруги со всей деревни собрались на шумную сходку. Они срывались с кустов и возносились над рекой. Табун с шумом пролетал над избушкой стариков, и шум этот похож был на короткий порыв ветра. На другой день, собирая смородину, старики подивились тишине, пустоте какой-то. Хоть чирикали воробьи и другие пташки, была тишина, чего-то не хватало, мир стал беднее.

— Как-то на душе сиротливо, старая, — сказал дедка, и бабка разогнулась, к чему-то прислушиваясь, и он понял, что и ей чего-то не хватало. Лицо её печально прояснилось, и она широко огляделась:

— Да ведь ласточки-то улетели!

И вот прошла зима. Прошла и весна, и прилетели ласточки. Они разместились по сараям и чердакам деревни и принялись за своё дело.

Дед поправил сарай, приколотил под стреху дощечку, и старики стали ждать своих — вот-вот прилетят и хлопчат и завеселят их молодостью жизни. Но проходили дни, над крышей летали чужие ласточки, и у соседа разгоралось вдруг их неуёмное цивирканье.

— Эко наши запаздывают, — тревожилась бабка.

— Не торопятся, — говорил дед, и оба верили, что их ласточки на подлёте.

К старикам приехал внучек Гриня. Ему было семь годов, он в школу ещё не ходил, но во всём старался казаться взрослым: просыпался вместе со стариками, ходил по двору широким шагом и за грабли и лопату брался одной рукой, будто они для него легки.

— Ну вот, баба, хвасталась: ласточки, ласточки, а где они, наши-то? И, видно, не прилетят, — говорил он, оглядывая небо.

— Будут, Гриня, — уверяла бабка. — Столько лет прилетали, а тут не прилетят.

А дед подумывал, что, видно, этот год жить без ласточек, что где-то в пути, уставшие, опустили они во встречное село и нашли дом. Или сокол их сшиб,

или какая другая беда разлучила парочку. А может, прошлогодняя беда отпугнула их.

Тогда дед ушёл на рыбалку. Он менял мушку за мушкой, пробовал рыбачить на подкрашенного червяка — рыба не ловилась, и лишь когда насобирал в воде бормашей, ловля открылась. Дед увлёкся и забыл про обед. Вернулся вечером, и тут ему рассказали о беде. Тревожный клик ласточки устраивали на дню много раз. Пролетит ли над домом коршун, кошка ли прокрадётся на чердак, сорока ли протарахтит в кустах, дед ли сам, лохматый и седой, пройдёт под гнездом — ласточки сейчас же устраивали переполох. К таким переполохам старики привыкли, и бабка ласково уговаривала их:

— Ну хватит уже, хватит. Зря-то зачем? Кошка своя. Учёная, битая за вас. Дедка не тронет, хоть и лохматый шибко и голос вон как из бочки.

Умела бабка с ласточками разговаривать и защитить умела. Из гнезда своего они глядели на бабку бусинками чёрных глаз, спокойно провозжая её в огород.

— Ласковые вы мои! Да что же вы опять шумите? А ну-ка я на чердак слажу, а не там ли кот Гошка.

Она брала длинное удилице и шуровала им во всех углах чердака, оттуда через голову бабки вылетал кот, фырча, перескакивал изгородь и таился, а ласточки успокаивались, сидя на наличнике, тихо переговаривались, должно быть, благодарили бабку.

— Цивирк, цивирк. Спасибо, бабка.

Но то были обычные повсечасные тоскливые клики. Тот же сигнал был особый. Бабка так о нём рассказывала:

— Ой, как заполошно кричали тожно ласточки. Так много для пушего шуму призвали они соседок. Табун целый кружился над домом. И вопят, и плачут и рыдают, подныривают под сарай, норвяя клюннуть кого-то. Так сразу и решила, что беда стряслась, что этот неслух Гошка опять подкрался к гнезду. Я уж за удилице схватилась, да как гляну на гнездо — и у самой ноги подкосились. Кричу соседу: «Петруха! Петруха! Чё деется! Ласточек змея зорит!» Сама глаз не свожу с холеры, такая матёрая серуха припожаловала. Из-под драниц выползает и уж голова в гнезде. Как закричала я, она голову столбиком поставила и замерла. Петруха с тяткой из огорода прибежал и, не мешкая, сволок её на землю.

После той беды старики недосчитались птенцов. Вместо пяти три жёлтых рта стали тянуться из гнезда. То ли их змея проглотила, то ли, испугавшись, сами выметнулись из гнезда и завалились в дрова.

Нынче тайно побаивались старики: вдруг не прилетят к ним ласточки. Улетели они тогда с памятью дурной. На далёкой стороне зиму всю печалились они о родном доме. Может, и залетали они нынче под сарай и садились в гнездо, да учуяли запахи губительные и оставили дом навсегда.

Гринька о ласточках забыл. Давно уже суслики пробудились и посвистывали рядом на горке, даже у избы под доски забирались, и хлопоты Гриньки были — как поймать зверька. Запыхавшийся, с искрой в глазах, он пронёсся мимо с ватагой ребятишек. Старики пытались унять его и не могли. Назавтра принёс он мокрого, тряпкой повисшего зверушку, был смущён и чуть не плакал, совестился взглянуть на добычу.

— Да, — ныл Гринька. — Суслики же вредители.

— Не суслик, а ты вредитель-то, и тебя бы надо выпороть за него, — пригрозил дед.

Старики проснулись и подняли головы, почувяв, что во двор их пришла перемена. На любимом колышке сидела ласточка и рассыпала радостную песню. Сперва слышалось ворковитое осторожное постреливание. Потом всё разгонялось и разгонялось воркование, концы трели забирались выше, выше, и всё плавно и успокоительно заканчивалось милой доброй ласковостью. Раньше в деревне куплетец ласточкиного пения обозначали словами: «а бабы дома я-и-ца варят» — и делали выгиб, седловинку на слове «я-и-ца».

Бабка тронула Гриньку за плечо.

— Чуешь? Гости приехали!

— Какие гости? — встрепенулся мальчишка, подумав, что не мать ли с отцом приплыли на лодке.

— Послушай-ка. Сейчас окошко распахну, — пропела бабка тонко и пригашенно, легонько раскрыла створки окна и присела, тяжёлая, сырая, на край кровати. Гринька раскрыл глаза, что-то пробормотал в полусне и тут же заснул ещё крепче. Рассветало, окрасился в розовый цвет восток. На улице было тихо, свежо и обновлённо, и ласточка с особой старательностью повторяла незамысловатое коленце — это была «своя» ласточка, она не забыла дом. Набросив на плечи пиджачишко, ласково выпевая «ах, вы, милые, дорогие», бабка вышла на крыльцо, за ней дед. Осторожно они стали выглядывать из-за угла. Ласточки заметили их, не взлетели, а переступили раз-другой по наличнику, слегка скосили головки, чтобы лучше разглядеть хозяев, и тихо по-супружески перемолвились.

— Ну вот, давайте, хлопчите, не сердитесь на нас, — сказала бабка, а дед добавил:

— Гнездо ваше цело, пожалуйста. Не хотите в старом жить, дощечка для нового приколочена.

Ласточки словно поняли: та, что бледнее оперением, самочка, поднырнула под сарай, попорхала перед старым гнездом и села на его край. Села и заглянула вовнутрь, а самчик с ещё большей страстью запел, глядя на поднимающееся из-под горы солнце, и бабка сказала:

— Наши это. Точно, что наши. Не знаю почему, наши и наши.

— А я по крылышку вон тому, чуть оттопыренному, признал певца, — приврал дед, бабка поняла его, но только головой покачала, соглашаясь.

— Хозяйничайте на здоровье, — покивала, даже поклонилась бабка и вернулась в избу.

Гринька рос в городе. Отец с матерью не любили животных, и в доме их ничего живого не было, даже цветов. В конце декабря отец приносил ёлку, и мать, подметая пол, ворчала, что от неё много сору, что иголки усыпают ковёр, и что эта ёлка последняя, потому что Гринька большой, ему осенью идти в школу. На одну неделю ёлка приносила радость. Потом она засыхала, и с балкона ночью мать выбрасывала её на улицу. Потом ёлку пинали ребята, голую втыкали в снежную кучу, хлестались ею по спинам, наконец, обламывали ветки, сгибали слегка, подтягивали верёвочкой вершинку к комлю, и получалась немудрая хоккейная клюшка. Где выросла ёлка, как выглядит лес, из которого привезли её, Гринька не знал. Не знал он, а только слышал, что есть поле, тайга, озеро, река, но отец в выходные дни играл в домино, а мать целыми днями трясла ковры и мыла полы.

Когда Гринька приехал на дачу, всё для него было ново и диковинно. Можно было бегать по лугу и топтать цветы, швырять камнями в сорок и ворон, стрелять из рогатки в воробьев. Всё, что дома называли природой, здесь словно подставля-

ло Гриньке свои бока: бей меня, рви меня, ломай меня, и Гринька почувствовал, что над всем, что окружает его, он старший, и что хочет он, то может делать. Он не понимал бабку, зачем она в красивые грядки сажает лук и репу, редьку и чеснок. Зачем охает и стонет, если вдруг повеет холодом или долго нет дождя. И так, без хлопот, всё зеленеет, всё лезет из земли, и ты только катайся себе на всём, как на ковре. Он так и не понял, почему бабка отругала его, когда он босой пробежал по грядкам и оставил на них следы.

В то утро он проснулся и не заметил никаких перемен. Когда бабка сказала, что прилетели ласточки, он посмотрел на них, сравнил с воробьями и отметил, что величиной они такие же, только поярче и поаккуратнее, и подумал, что рогаткой куда легче сшибить их, потому что они заметнее и сидят тихо, а не прыгают, как воробы.

— Ты послушай, как они поют, — радовалась бабка, и Гриня присел на крыльцо, стал слушать, но ничего не понял, а только смеялся над тем, как ласточки отдувают щёчки, а клювик словно вышелушивает звуки. Его больше интересовала другая, молчаливая ласточка, которая то и дело присаживалась к краю лужицы на дороге, неумело ступала по земле крохотными коротенькими лапками и набирала в рот изрядный комочек грязи.

Затем вспархивала, летела под сарай и там приклеивала грязь к гнезду. Потом вдруг взвилась над крышей, послышался слабый щёлк, и в клюве забелело перышко. И перышко ласточка положила в гнездо. В голове Гриньки заворошилась затея: если привязать перышко к удилищу, залезть на крышу и размахивать — вот как ловко можно подшибить птичку, когда она будет ловить перышко. Раз бабка ушла в огород, Гринька смастерил снаряд и устроился на крыше. Подлетела ласточка и стала ловить перо. Стоило Гриньке махнуть удилищем — и она упала бы замертво. Но пока он будет смотреть, как она кружится, хватается перо и, забыв, что оно привязано, подлетает вновь. Когда от удара упадёт на крышу, он рассмотрит её ближе, увидит хорошо её головку, крылышки, стрельчатый хвостик. «Ударить или не ударить?», — размышлял Гринька, глядя на лёгкое порхание ласточки, её кружение, смешное и глупое непонимание, что перышко на нитке, его не отнёсёшь в гнездо.

— Ты что с удилишком-то по крыше? — крикнула из огорода бабка. — Да он, мошенник, касатку погубить хочет! — хлопнула она руками. — Слазь, разбойник! Чё удумал, чё удумал! Слазь, говорю!

Гринька засмеялся и ответил:

— Не трону. Мне просто смешно, как она кружится. Хотел, а теперь не стану.

— Хотел, говоришь? — и бабка подбежала к сараю и подставила лестницу. Близо увидела настороженные, встревоженные и радостные глаза внука.

— Говоришь, хотел, дак давай-ка сюда удилишко-то. Он хотел! Ты что же это сказал, Гриня? Мы ждали, ждали, а он хотел. Ай-я-я-я!

— А зачем ей это перышко? — спросил Гринька.

— Дак ведь птенчиков же она высиживать будет.

— Как высиживать?

— А нанесёт яичек и сядет на них. Греть их будет. Из яичек-то птенчики и вылупятся. Опять тут перышки пригодятся.

— Ладно, я их не буду убивать, глядеть только буду. — Увлёкся Гринька, не слушая бабку, а всё заворачивая глаза к небу и следя бойко за ласточкиным полётом. Но сильная рука схватила его за ошкур и потащила с крыши, совлекла штаны



и крепко шлёпнула по голому задку. Гринька убежал в сени и только оттуда услышал басовитый и необычно сердитый голос деда:

— Я вот тебе поварначу. Где-ка ты!

Вечером перед сном, когда хлопотуньи-ласточки угомонились, сели на наличник, дедка прилёг к обиженному Гриньке и, дыша ему в затылок, заговорил:

— Ну вот, не сердись. Влетело не зря. Такая пора твоя, всему учить надо. Мне вот такому, как ты, тоже от деда попадало.

Гринька завозился в постели. Ему хотелось узнать, как наказывали дедку, и утешиться.

— Это, наступил раз ильин день, праздник ранешний. Все, кто косил и метал сено, уехали праздновать, а меня оставили на острове балаганы стеречь. Ну вот я и почал тосковать. И туда, и сюда мечусь, на берёзу залез, чтобы хоть гору родную увидеть.

Увидел её — пуще того затосковал. И что ты думаешь: слышу, кто-то мне подвывает, подвизгивает. А это наша рыженькая собачонка Марсик бегаёт под деревом. «Да ведь ты же со всеми домой уплыла!» — удивляюсь я. Она как почала ухмыляться, почала объяснять хвостом своим и всякими виляниями: «Я, говорит, побежать-то побежала со всеми, да и вспомнила, что ты один остался». Я так и возликовал — малый был, а понял, вон каким смыслом живёт собака, она пожалела меня, одиночество моё разделила. Как слез с берёзы, она облизала меня, даже слёзы мои слизнула с глаз и вроде веселит меня. Кувыркается, бегаёт, прячется и выскакивает, манит разыграться, забыться — и увлекла-таки от шалашей к берегу. Брошу я щепку в реку — она бросается за ней, поймает и поднесёт тебе. И так и день и другой играем мы с ней и спим в обнимку. Весь остров с ней обегали, и про шалаша забыли, и не надо было другого товарища. Вот оно животное-то, что значит для человека.

— А попало-то за что? — спросил Гринька.

— А! Попало вот за что. Я за зарод залез и Марсика туда заволок, и измяли мы с ним всю верхушку. Пошёл дождь и промочил зарод-то на весь аршин. Дед мне и всыпал. Надо было. Поучил. Наука нам, брат, ой как нужна.

— Собаку бы нам какую, — с грустью сказал Гринька.

— Собаку бы надо, да бабка не любит. Но ты погоди — мы уговорим её.

Гринька улыбнулся счастливый.

— А ведь я с птичкой-то тоже хотел поиграть. Я что — убить, что ли, хотел?

— Ну, это, брат, игра кошки с мышкой. Иные птичек в клетки ловят — это тоже не игра. Один на воле, другой в тюрьме. А так вот пожить с птахами, как мы с бабкой живём. Ты вот внучек наш, и они как бы тоже из нашей семьи.

Ласточки налетались, напелись и стали тихими и домовитыми. Одна терпеливо ждёт, сидя на наличнике. Вот коротким словом они перемолвились, и та, что сидела в гнезде, чёрным комом вывалилась, плавно подхватила на крыльях и вознеслась над черёмуховым кустом, опустилась к реке, подняла, как бабочка, над собой крылья и на лету чирикнула клювом по воде, попила водички и теперь покормиться надо. Она принялась рисовать в воздухе причудливые углы и повороты, подхватывая встреченных на пути насекомых.

Другая осторожно влезла в гнездо и, встряхнувшись, распушилась, чтобы стать больше и пышней, покрыть собою яички. Ни дедкино колотёе дров, ни бабкино погромыхивание на кухне, ни Гринькино зыбанье в гамаке не пугают её. Стоит Гринькино удилище на крыше, ветер колышет перышко, и ласточке нет до него дела: дом их построен, и заняты они другими заботами. Дрова дедка колет

негромко, посуду бабка моет неторопливо, и разговаривают они вполголоса. И Гринька стал потише.

— Баба! А что, они долго ещё будут сидеть? — полушёпотом спрашивает он.

— Сёдне какой день-то? Понедельник? — задумчиво и умилённо поглядела бабка на внука. — Ну вот, в тот понедельник опять весело будет у нас. Семья прибавится.

Раз Гринька вошёл в сарай и схватился за голову. Досель тихие ласточки подняли крик, так и носятся над головой, словно норовят клюнуть, фуражку ли с головы сорвать. Гринька подумал, что приняли они его за чужого человека, и по-бабкиному заговорил с ними.

— Ну что вы на меня набросились? Что я вам плохого сделал? Отстаньте вы от меня, успокойтесь.

Потом и на деда они так же набросились, и он заулыбался и сказал:

— Вот и дождались. Как говорят, пополнение пришло. Теперь нашему брату мужику крепко попадать будет.

— Это о каком ты, деда, пополнении говоришь? — всё ещё не догадывался Гринька.

— Ластотята у них вылупились. Хлопот у них теперь будет громче наших. Не пройди, не пробеги тут. Крику не оберёшься. Да замолчите вы! — притопнул дед ногой, а ласточки того громче расшумелись: «у-хо-ди-те!»

Шум этот бабка услышала из огорода и, улыбаясь, тихо поджидала, когда дедка позовёт её.

— Иди-ка сама, утихомирь их. Вишь, распетушились. Послушаем-ка, Гриня, как бабка разговаривать с ними будет.

Бабка от гряд махнула на старого с малым рукой: уходите-ка, сейчас я, — и вытерла губы фартуком, охлопалась, откашлялась и с места запела:

— Ах вы, мои голубоньки! Да неужели к вам деточки прилетели! Сколь же их у вас? Пятёрочка, поди, цельная. Ну, летайте, летайте, кормите их и не пугайтесь ни дедоньки, ни внучечка. Они наши, наши оба.

Ласточки всхлипнули ещё по разу и сели рядом на наличник, будто собрались слушать дальше бабку.

— И никто вас не тронет. А котище проклятый придёт, я его метлой прогоню. Сбережём мы вас, сбережём. И не пугайтесь нас. Как же нас пугаться, если кой годок племя ваше оберегаем и от сорок, и от ворон, и от кошек.

Так вот наговаривала бабка ласточкам, стоя перед ними, как перед иконой, сложив на животе руки, вытягивая в ласковости губы и мягко сощуриив глаза. Гринька смотрел, смотрел на бабку и вдруг захохотал. Ласточки сорвались с места и зашумели вновь, и бабка тем же ворковитым голосом попрекнула внука, обращаясь к ласточкам.

— Это он так, милые, по глупости спугнул вас. Глупенький ещё. А наберётся разума и перестанет так делать.

Гринька смутился и отошёл от окна.

— Отчего, баба, так: ты идёшь, они внимания не обращают. Мы с дедой идём, они крик поднимают? — спросил Гринька бабку.

— А я колдунья, Гриня, — ответила бабка. — Я их лаской, добротой околдовала. Они крошки неразумные, а понимают, кто как с ними разговаривает, кто как поведёт рукой, шагнёт, брякнет. Я всё стараюсь ровно делать. Таким колдуном и ты можешь быть.

— Неужели и я могу! — воскликнул Гринька.

— Можешь и ты. Сядь на чурку и делай что-нибудь, хоть поплавок для рыбалки. И как зашумят они, ты песню тихо запой. Какую песню-то запоёшь?

— «Через две зимы, через две весны...»

— Добрая песня. Негромко только, мурлыкай и не гляди, что галдят. Пой по-маленьку, не торопясь, и поплавочек строгай — и околдуешь их.

— Ну, баба! — подивился Гринька и сел на чурбан, проводив бабку в огород.

Ласточки тут же подняли гвалт. Гринька же закачал головой, застрогал палочку и запел песню, прерывая её и тихо приговаривая:

— Поорите, поорите маленько. Устанете и перестанете. — Ласточки покричали ещё немного, устали, видно, на самом деле, и утихомирились, и Гринька косым взглядом стал поглядывать, как птички улетали поочерёдно и приносили полные рты насекомых. Сидя на кромке гнезда, неторопливо одаривали добычей невидимых птенцов, и в этот миг едва доносилось до слуха слабое скрипение. Другая ласточка в это время не сводила с Гриньки чёрных крапинок глаз. «Сторожи, сторожи», — спокойно говорил Гринька и пел песню, постукивая палочкой по чурбану, пяткой поколачивая по земле, всё затем, чтобы взволновать птичку — она в ответ только зевнула. Гринька поднял руки и пальцами поиграл, запел погромче, птичка унеслась с наличника, на её место села другая и тоже зевнула, не выпалились они, что ли? Накормив детёнышей, птички сели рядом и стали переговариваться. Гриньке почудилось, что они говорят о нём.

— Посматривать надо за ним, — говорила одна.

— Этот мальчик не озорник, — отвечала ей другая. На миг умолкали и опять о том же:

— Гляди да гляди.

— Что глядеть, что глядеть, — успокаивала другая.

Обе вспорхнули и улетели. Обрадованный доверием ласточек, Гринька побежал в огород, хлопая в ладоши, закричал:

— Баба! Баба! Мы мир заключили! Мир!

— С ласточками? — спросила бабка.

— Ага! Теперь ещё с дедой им помириться.

Но когда вернулся с рыбалки дед и замахал удилищем, ласточки тут же набросились на него.

— А у меня мир! — похвастался внук.

— Вот и хорошо, — похвалил дед. — А мне что делать? Не любят они мои седые волосы.

Было раннее утро. Солнце ещё скрывалось за горой, когда в тесном дворе поднялся переполох. Ласточки тревожно закричали, и первой проснулась бабка. Её-то они, видно, и ждали, и кружились подле окна, словно просили, чтобы она вышла поскорей и отвела беду.

— Сичас, сичас, перестаньте! Эко расшумелись, видать, и вправду что-то неладно.

Тонкий ласточий вопль на миг заглушил гортанный урывчатый рокот, и бабка метнулась на улицу. Из-под сарая бесшумно и стремительно выметнулась сорока, едва коснулась столба и, уронив себя подстреленно, пронеслась в кусты.

— Ах ты, разбойница! Ах ты, плутовка! — всполошилась бабка и разбудила деда. Он схватил со стены ружьё и в трусах выскочил на крыльцо.

— Где она, мошенница?! — закричал дед, словно перед ним была не сорока,

а страшный зверь. Проснулся и Гринька. Он и глаза забыл протереть, комом вывалился из кровати и выскочил на крыльцо, охваченный светлой утренней прохладой.

— Деда! Баба! Вы кого испугались? Это на кого, деда, с ружьём-то?

На лицах стариков светилось радостное возбуждение, и Гриньке показалось, что дедка с бабкой были тоже дети.

— Не греми-ка ты пушкой-то своей, — засмеялась бабка. — Спрячь её подальше.

Сорока трещала в кустах. Ласточки, уставшие от ранней тревоги, сели на забор, глядели на спасителей и переговаривались:

— У-це-ле-ли, у-це-ле-ли!

— То-то, что «уцелели», — угадывала бабка ласточкино слово. — А вы не плошайте другой раз. Как она из кустов, вы к окошку и зовите нас кого-нибудь.

— Ты бы, деда, пальнул в кусты-то, — посоветовал Гринька. — Может, и попал бы в неё.

Бабка погрозила пальцем.

— Вот скажу тебе, Гриня, не надо так. У сороки-то в черёмушнике пять-шесть малых детёнышей. Что же им потом, погибать, если вы подстрелите мать или отца?

— Она же ласточек наших зорит...

— А ты-то зачем? Вот и паси их, вот и отгоняй разбойницу, не прозевай.

А дед ухмылялся, прислушиваясь к разговору. Переломил ружьё и, патроны вынув, посмотрел в стволы, упирая их в восходящее из-за горы солнце. Потом громко и радостно захохотал.

— Эко славно мы позабавились!

За ночь небо заморочилось, а с рассветом закапал дождь, запорывал ветер, воздух забузился. Бабка прикрыла огурцы плёнкой, собрала в огороде инвентарь и занесла под сарай.

— Видно, ненастье собирается, — сказала она. Гринька ждал такого же, как и раньше, светлого дня, и запечалился было, но бабка с дедкой были веселы, затаённо поглядывали в окно, будто поджидали гостя. Печку затопили и про запас принесли беремце дров.

— Однако перестанет, — заходил дедка с улицы, праздничный и суетливый, — на западе светлеет.

Тотчас и бабка выбегала на крыльцо и возвращалась уверенная.

— Не перестанет. Там облака-то не светлеют, а разглаживаются. Это к дождю. Да и ласточки вон над самой рекой летают.

Гринька глянул на широкую реку — чёрные линии гасли и вновь накладывались на свинцово-пасмурную гладь. Ласточки, казалось, тоже радовались этой хмурой и невесёлой погоде.

— Им ведь там холодно. В гнезде бы им сидеть, — сказал с грустью Гринька.

— Им такая погода как раз, — сказала бабка, — насекомая тяжела, вниз спускается, ласточкам только и остаётся, что собирай да собирай. Им такая пора — благодать. Да и чему не благодать от дождя?

И, улыбаясь, она оглядела затуманенную гору, мокрые и чёрные, как промолённые, крыши, умытую отцветшую черёмуху, и ласково закивала головой, и Гринька повеселел, переняв настроение бабки. Ему показалось на миг, что всё, что есть на земле: трава, кусты, огород бабкин, — глядело сейчас на небо в ка-

ком-то ожидании, подставив лицо дождю, и жаль было желтоцветной травки под крышей, которой не касалась влага. Что-то вольное и доброе разлилось по сердцу мальчишки. Он не мог усидеть в избе и выбежал во двор, за калитку, там собралась уже маленькая лужица. Гринька засучил штанишки и побродил по ней, поплясал, приятно чуя, как просекают рубашку острые капли дождя. С крыльца глядели на него дедка с бабкой и не унимали, не спугивали радость его жёстким словом «нельзя». С обеда дождь пошёл ровно и спокойно. С крыш и сараев побежали неуёмные струйки. Среди двора они собирались в ручеек. Выползал ручеек на улицу и соединялся со своими говорливыми братьями. Обнявшись, бежали они, подсакивая на сучках и коряжках, и ныряли в реку.

Это был первый тёплый ласковый дождь, и Гриньке не хотелось уходить с улицы. Набродившись по лужам и отправив свои бумажные кораблики в реку, он взял бабкин ватник и уселся под сараем. Ласточки то и дело подлетали к гнезду и подносили полные клювы корму. Отталкивая друг друга, тянулись к пище пять жёлтых ртов-треугольничков. И скрывались тотчас, как ласточки отлетали. Гринька глядел долго и убедился, что ластотят не накормишь. Понимали это и ласточки, утомлённые, садились на наличник и тихо переговаривались.

— Кормим, кормим, а накормить не можем, — сказала одна.

— Успокойся, посиди: надо и себя пожалеть, — ответила другая.

Короткими лапками они пришагнули друг к другу и стали обираться, роясь клювом в грудке, в крыльях, в хвосте; стали прихорашиваться, встряхиваясь всем тельцем, трепеща крыльями и примачивая их на спинке. Гринька спрятал под ватник красные холодные ноги, утянул голову в плечи, кепку нахлобучил ниже ушей — ему не хотелось уходить в тёплую избу. Дождь принёс неожиданные радости и волнения. Ему казалось, что похож он сейчас на все эти потяжелевшие и потемневшие предметы, которые промокли под дождём и стыннут, мокнут с удовольствием. Как хорошо солнце и тепло, но и как желанна прохлада и этот ровный, покойный шорох в огороде, на реке, на крышах, словно кто-то без конца посылал на землю эту ласковую неутомительную зябкость. И не видел Гринька, как у окна в избе дед приложил к губам палец и подмигнул бабке: не мешай-де, пусть побудет парень наедине с утолненным и задремавшим миром.

Дождь шёл три дня. Под вечер разлилась пожаром закатная заря. Солнце подняло Гриньку раньше времени. Мохнато-жёлтое, оно заполнило всё кругом чистым светом. От земли, от лапушистых подсолнухов, от крыш и зелёных полей источался зыбкий пар. Всё обещало радость, и было непонятно, отчего тревожатся ласточки. Тревога была особая: они не метались под сараем, не носились над крышей, а тихо трепетали над гнездом, боясь сесть на него, порхали перед окном, словно просили разделить какую-то печаль, всхлипы их были коротки.

— Уж не заболели ли ластотятя? — сказал дедка.

— Просят, просят о чём-то. Помощи просят, — встревожилась бабка и вышла во двор, за ней дедка с Гринькой. Сели под сараем на дрова и стали приглядываться, с какой стороны беда пришла. Ни кошки на сеновале, ни какой другой живности не чувлось, только воробьи дружно чирикали, радуясь наступлению ведренной погоды.

— Спали, видно, плохо, — сказал дедка и добродушно засмеялся.

— А смотри-ка, старик, что это за тёмное пятно над гнездом?

Как ни приглядывался дедка к крыше, а ничего не видел, и внук сбегал в избу за очками.

— Да ведь это, бабка, подтёк! — виновато забормотал дед, вытягивая жилистую шею. — Неужели где дырка образовалась?

— «Дырка, дырка», — сердито заворчала бабка. — У тебя всё так. «Наладил, прилетайте, гости!» Что делать-то, говори?

— А сейчас нам Гриня поможет, — бойко проговорил дед. — Полезай мне, Гриня, на плечи. Дотянись до гнёздышка, узнай поближе, велика ли беда.

Так высоко поднялся Гринька, что увидел всякую палочку, волосинку в гнезде. Открылись ему ластотята, сырые, лохматенькие, слабые головки ладят поднять и роняют их тут же. Не оперились ещё сполна, и тельца их выглядят фиолетовыми. Гринька тронул гнездо — и отвалился от него сырой ком. Гринька заорал, испуганно пуча глаза.

— Дырка, деда, дырка в крыше! Всё мокро тут! Что делать?

— Спасать будем, — вот что делать, — спокойно сказал дед.

— «Спасать!» Зла на тебя не хватает, — не унималась бабка, — мастерил, мастерил, а что толку-то. Всё у тебя комом!

— Гриня, давай-ка вот что, — советовал дед, не обращая внимания на сердитые бабкины слова. — Пошарься в другом гнёздышке, сухое ли оно, крепкое ли?

— Посмотрим-ка, ага, — догадался внук о планах деда и ощупал старое, пустое гнездо. — Хорошее, деда, хорошее!

— Вот и славно. Делай-ка теперь, что надо.

— Ты растолкуй, что делать-то. Несмышлёныш ведь, — в бабке всё ещё кипела досада на старого. Но тут она размягчила строго собранные губы и заулыбалась, увидев, как внук положил на ладонь птенца, подышал на него широко раскрытым ртом и посадил в другое гнездо. Так он всех пятерых обогрел дыханием, переселил из дома в дом и заискал глазами их родителей.

— Глядите-ка! Сидят! — удивился он.

Ласточки не кричали, не кружились, не поднимали тревогу и только поглядывали с наличника на Гринькино дело.

— Сидят, Гриня, вполне доверяют тебе, — заговорила уже ровным голосом бабка. — А не доверяли бы, разве бы они жили у нас. Мало ли лесу.

Только Гринька слез с дедовых плеч, ласточки тут же к гнезду подлетели. Самчик строго сказал что-то, и самка в гнездо полезла. Повозилась там, похозяйничала, распушила себя, большой стала и уселась на птенцов. Самчик же пропел первое коленце своей песни, и Гринька перевёл его на свой язык.

— Гляди-ка чё! Гляди-ка чё! Гляди-ка чё!

И захолопал ладошками, когда и бабка перевела также птичью радость.

— Вот вам и «гляди-ка чё». Дом вам новый подарил Гринька-то наш.

Перед тем как выводку вылететь, ласточки опять сделались сердитыми и запрещали ходить под сарай. И уж вовсе искричались, когда один из птенцов, всякими хитростями выманенный, выпорхнул из гнезда и уселся на жердочке прясла. Родители кружились подле него, спугивали и велели лететь, крыльями касались его — птенец затрепыхался, но усидел, распушился и застыл, замер на целый час, безрадостный, словно обиделся, что лишён теперь тёплого гнезда.

Шепча что-то, Гринька подкрался к пряслу и коснулся вильчатого хвостика птенца, тот вспорхнул и вознёсся. Тут же впереди и позади него оказались родители и повели его в воздух неторопливо, робкого и неловкого. Так они покружились недолго над домом и сели передохнуть, тихо говоря что-то молчаливому малышу.

Последнего птенца ласточки грубовато вытолкали из гнезда, — так он боялся,

слабенький, так не верил в свои крылья. И верно, косо-косо запорхал к поленнице, свалился на неё, но тут же поднялся на ноги и встряхнулся. Ушибся маленько, но и осмелел, и так как отец хотел вновь столкнуть его — сам взлетел и над крышей поднялся, и тут родители, словно под конвоем, усадили его на жердочку, отчаявшегося.

Назавтра вся семья дружно летала над избой, возвращалась отдохнуть на наличник — любимое место родителей, и вновь поднималась в воздух. Лишь ночь подогнала пташек к гнезду, но внутрь они не полезли, а уселись на кромке его, скатавшись в рыженькие комочки.

Прошла неделя. Остудилось и притихло ласточье гнездо, но рядом зазвенел сотнями голосов черёмуховый куст, словно справлялся в нём последний птичий праздник. Вздымалась из листвы шумная стая, и тень её металась в воздухе, то падая к реке, то исчезая в небе.

Раз от работы огородной разогнула бабка спину, прислушалась и обвела удивлёнными глазами небо.

— Дедка! Гриня! Как тихо-то. Это пошто тихо так кругом?

— Да не ласточки ли отлетели? — спохватился дед, глянув на реку.

— Ласточки? Неужто отправились? И не попрощались. Как же так-то?

— Улетели ласточки! Куда улетели? — спросил Гринька.

— В тёплые края. До будущего лета.

И хоть без умолку чирикали воробьи, их песня казалась не главной. Гринька целый день помогал старикам убирать с огорода огурцы и помидоры и всё прихватывал себя на том, что чего-то недостаёт, будто унесли ласточки с собой само лето, и тёплую воду в реке, и радость, которая была такой особенной.

Как-то неожиданно помрачались дни, пошли холодные дожди. Спасаясь от стужи, в сени залетела ласточка и переполошила семью.

— Да как же ты не улетела-то? Что с тобой будет? — заохала бабка.

Ласточка как будто была своя, никого не боялась, спокойно сидела на черепке мухобойки, воткнутой в стену, далась в руки Гриньке и не билась, лишь вздрагивала, а Гринька дышал теплом на её атласную спинку. Так она и ночевала в сенях. Назавтра открылся тёплый день. Гостья забеспокоилась, увидела распахнутую дверь и, поблагодарив коротким щебетом, вылетела и скрылась в синеве.

Скоро Гриньку повезли в школу. Сидя в лодке, он вдруг ощутил прикосновение к рукам своим тёплых ласточкиных перьев и приохнул:

— Ох, деда, мы крышу-то не исправили. — Тут и бабка не удержалась:

— На днях деда крышу отремонтирует, а весной ты сам дощечку приколотить. Ласточки любят новые гнёзда вить.

— Ну, конечно, приколочу, — радостно отозвался Гринька.

# ПОЭЗИЯ



## *К 90-летию Иркутской писательской организации. Избранные стихи иркутских поэтов*

МАРК СЕРГЕЕВ



---

СЕРГЕЕВ Марк Давидович (11 мая 1926, Енакиево — 9 июня 1997, Иркутск) — русский советский писатель, поэт и библиофил, детский прозаик, редактор. Участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР (1958). Главный редактор альманаха «Ангара» (1964–1967). Член Союза российских писателей. Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Почётный гражданин Иркутска (1986). Кавалер орденов «Знак Почёта» и Дружбы народов. Родился в семье строителя, впоследствии начальника комплексной изыскательской партии для проверки Падунского сужения на реке Ангаре. Перед самым выпуском в июне 1941 года весь класс Сергеева посадил тополиную аллею перед школой. Все выпускники поклялись вернуться, но сдержали клятву только пятеро — остальные погибли на войне. Этому посвящено стихотворение «Баллада о тополях». Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета. В 1994 году вместе с Валентином Распутиным и митрополитом Ангарским и Иркутским Вадимом выступил инициатором создания праздника «Дни русской духовности и культуры „Сияние России“». В Иркутске произведения входят в региональную школьную программу по внеклассному чтению. Автор сказочных повестей, составивших сборники *«Весёлые беглецы»* (1963), *«Сказка о летающей снежинке и другие удивительные истории»* (1973), *«Вот так чудеса»* (1976). Написал детскую фантастическую повесть *«Машина времени Кольки Спиридонова»* (1964), которая затем, вместе с повестью-сказкой *«Волшебная галоша»* (1958; испр. 1965) объединена в одном томе — *«Волшебная галоша. Машина времени Кольки Спиридонова»* (1971). В 1991 году стал членом редколлегии детского журнала «Сибирячок». Автор сказки о приключениях Сибирячка и его друзей и ряда публикаций по истории, краеведению. Автор более 60 книг для детей, сказок, поэтических сборников, исторических повестей, исследовательских книг о Пушкине, декабристах, Байкале, изданных в России, бывших советских республиках (Армении, Грузии, Литве, Эстонии и других), в зарубеж-



ных странах (Болгарии, Венгрии, Монголии, Чехии, Югославии, Японии и других). Более 50 фильмов о природе и текстов альбомов «Байкал» (премия ООН за самую красивую книгу года, 1984), «Сибирь», «Декабристы и Сибирь», «Это — Байкал» и другие. Один из инициаторов издания Восточно-Сибирским книжным издательством серий книг «Полярная звезда» (ответственный секретарь серии), «Литературные памятники Сибири» (член редколлегии и составитель томов), «Сибирская лира», «Сибирские записки», «Детская и юношеская библиотека Сибири», создатель (совместно со С.Н. Асламовой и А.М. Муравьевым) цветного журнала для малышей «Сибирячок». Более четверти века работал в качестве члена Президиума ВООПИиК и Общества книголюбов. Сыграл большую роль в становлении детского журнала. Отличительная черта книг Сергеева — сочетание нескольких жанров в пределах одного произведения. В его сказке можно найти элементы повести, научной фантастики, загадки. Похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище рядом с драматургом Александром Вампиловым.

## Души огонь неугасимый...

### **Иркутск — середина земли**

Плывут и плывут прибайкальские шири,  
Саянские горы синеют вдали.  
Нас встретит столица таежной Сибири —  
Любимый Иркутск — середина земли.

Из всех городов — их немало на свете —  
Взгляни на восток и на запад взгляни —  
Сквозь тысячу верст мы свой город заметим  
И сердцем его мы увидим огни.

Пусть есть города и красивей, и выше,  
Но где бы пути иркутян не легли —  
Они тебя видят, они тебя слышат,  
Любимый Иркутск — середина земли.

### **Вечный свет Иркутска**

Иркутск, ты родился острогом,  
таежным бревенчатым градом,  
но с каждой новой эпохой,  
меняясь, рождался ты вновь.  
Иркутск — наша жизнь и работа,  
Иркутск — наша честь и отрада,  
Иркутск — и мечта, и надежда,  
И вечная наша любовь!

Ты три века стоишь на ветрах, на юру,  
и Байкал подарил тебе дочь Ангару.

И пронесит река сквозь года, сквозь века  
твою славу, Иркутск, твою славу, Иркутск.

Иркутск, ты отмечен судьбою,  
ты дружбой встречал декабристов,  
ты помнишь свои баррикады  
в далекий решительный час.  
И свет этих давних событий  
по-прежнему горд и неистов.  
Пусть годы проходят, и годы  
он светится в душах у нас.

Века над тобою не властны,  
Иркутск, ты моложе, чем прежде,  
и дерзкая сила Байкала  
стучит, словно сердце в груди.  
Иркутск — наша жизнь и работа,  
Иркутск — наша честь и отрада,  
Иркутск — все, чего мы достигли,  
и все, что еще впереди.

## С Иркутском связанные судьбы

Души огонь неугасимый,  
байкальский ветер, обнови!  
В который раз, Иркутск любимый,  
я признаюсь тебе в любви.  
Какой крутой ни выбрал путь бы,  
влекут меня в твои края  
с Иркутском связанные судьбы,  
и среди них — судьба моя!

Когда мальцом с обрыва прыгал  
в огонь студеной Ангары,  
ты открывался мне, как книга,  
как сказок маминых миры.  
Тот воздух детства вновь вдохнуть бы,  
восторг счастливый затая.  
С Иркутском связанные судьбы,  
и среди них — судьба моя!

Чтоб жизнь моя не обмельчала  
и набирала высоту,  
храню в себе твои начала,  
суровость, нежность, чистоту!  
Мне в день грядущий заглянуть бы,  
каким ты станешь в дальний час.  
С Иркутском связанные судьбы  
сегодня, завтра и — без нас.

Души огонь неугасимый,  
байкальский ветер, обнови!  
В который раз, Иркутск любимый,  
я признаюсь тебе в любви.  
Какой крутой ни выбрал путь бы,  
влекут меня в твои края  
с Иркутском связанные судьбы,  
поскольку ты — судьба моя!

## Портрет

*Галине Новиковой*

Нарисуй меня, Галя, красивым,  
точно первый весенний листок,

чтоб глаза — с бирюзовым отливом,  
чтобы лоб — и открыт, и высок.

Нарисуй меня, Галя, спокойным,  
как Байкал накануне грозы,  
как патрон непочатой обоймы,  
как глаза после тайной слезы.  
Нарисуй меня, Галя, веселым,  
как осенний просвеченный лес,  
как в поля уходящий проселок,  
как звезда среди синих небес.

Ты уже на палитре смешала  
и любовь, и случайную боль,  
и ранимость, и детскую шалость, —  
так теперь за работу изволь.  
И, окончив труды на рассвете,  
ты задайся вопросом одним:  
— Это кто же такой на портрете?  
Хорошо б познакомиться с ним!

## На Иркутской чаепрессовочной фабрике

Все коридоры в белом кафеле,  
надела лестница халат,  
и стены фабрики, как вафли —  
квадрат гнездится на квадрате.  
Нас водят строгие начальники  
по цеху, пахнущему сном.  
Мы ходим, как чайники в чайнике,  
молочно-белом, заварном.  
По лестнице, как будто на гору.  
А там — девчонки у станка  
в халатах, что подобны сахару,  
с глазами — жарче кипятка.  
Под потолками, в синих бункерах,  
где воздух ароматом сжат,  
дожди тропические булькают  
и зори южные дрожат.  
Из рук рабочих напряжение  
и чьих-то песен красота,  
и даже времени движение —  
в движенье чайного листа.

Здесь Индия приносит нежно  
своих плантаций аромат,  
здесь солнце Грузии развешено —  
его пакует автомат.  
И, пачку яркую встречая,  
там, где все снегом замело,  
шепоткой байхового чая  
заваришь южное тепло.  
Нас водят гордые начальники  
по цеху, пахнущему сном,  
и радуги таятся в чайнике —  
молочно-белом, заварном.  
Беседуем за чашкой чая,  
но тянет нас туда, назад,  
где солнце южное отчаянно  
пакует в пачки автомат.  
Где ходят тихие блондинки,  
как затаенная гроза.  
У них ресницы, как чайники,  
И цвета чайного глаза.

## Баллада о тополях

В тени их скрыта школьная ограда.  
Они следят с улыбкой за тобой,  
горнист из пионерского отряда,  
так мастерски владеющий трубой.

Нас кронами укрыв, как шалашами,  
они шумят под вешнюю грозой...  
Послушай: я их помню малышами,  
обыкновенной тоненькой лозой.

Послушай: в небе стыл рассвет белесый,  
проткнула землю первая трава, —  
за ручки важно, приведя из леса,  
их посадили мы — десятый «А».

И ночью, после бала выпускного,  
мы поклялись сюда опять прийти.  
...И вот мы к тополям вернулись снова,  
но впятером из двадцати шести.

Горнист из пионерского отряда,  
послушай: кляत्व никто не нарушал.  
Ты родился, должно быть, в сорок пятом  
и, значит, сорок первого не знал.

А в том году схлестнулись с силой сила,  
стояла насмерть русская земля.  
За тыщи верст разбросаны могилы  
тех, кто сажали эти тополя.

Но, будто бы друзья мои — солдаты,  
стоят деревья в сомкнутом строю,  
и в каждом я, как в юности когда-то,  
своих друзей приметы узнаю.

И кажется, скажи сейчас хоть слово  
перед шеренгой тополей живой —  
и вдруг шагнет вперед правофланговый  
и в трауре поникнет головой.

Как требуют параграфы устава,  
начни по списку называть солдат:  
— Клим Щербаков! —  
и тополь — пятый справа —  
ответит:  
— Пал в боях за Ленинград.

— Степан Черных! —  
и выйдет тополь третий.  
— Матвей Кузьмин! —  
шагнет двадцать второй...  
Нас было двадцать шесть на белом свете —  
мы впятером с войны вернулись в строй.

Но остальные не уходят. Рядом  
они стоят, бессмертны, как земля.  
Горнист из пионерского отряда,  
взгляни: шумят под ветром тополя.

И если в час беды о нас ты вспомнишь,  
твой горн тревожно протрубит подъем,  
то мы придем, горнист, к тебе на помощь.  
Живые или мертвые — придем.

## Об Иркутске

Мы постепенно город обживаем.  
Сначала дом, где мы явились в мир,  
Потом квартал с грохочущим трамваем,  
Потом подъезды дружеских квартир.

...И переулки, полные преданий,  
Скамейка поцелуев у пруда,  
Затем углы внезапных расставаний.  
И чаще — расставаний навсегда.

Мои паденья и высоты,  
Моих детей друзья и кумовья,  
И все работы, страхи и заботы,  
Моя любовь и нелюбовь моя.

...О город, разноликий, разнолицый, —  
Зимой и летом, и в разгул весны, —  
Ты мой дневник, где вырваны страницы,  
Но многие еще сохранены.

## О Байкале

Лесистых гор полуовалы,  
Касанья голубых лекал,  
И скалы, срезанные валом,  
И небо, павшее в Байкал.

И сам он величав и вечен  
В гранитной раме вырезной.  
И весь — до донышка — просвечен,  
И весь до капельки родной.

И Ангары полет строптивый,  
И ветра крик, и гул турбин,

И птицы — сосны над обрывом,  
И длинный ветер Баргузин —

Все это, без чего не в силах  
Быть далью даль и ширью ширь,  
И ты не мыслима, Россия,  
И ты не мыслима, Сибирь.

Но эти царственные воды,  
но горы в сизой полумгле —  
Байкал — священный дар природы,  
Да будет вечен на земле.

## Возвращение с войны

Эшелоны гремят обратные  
посреди зимы,  
и китайские аккуратные  
отстают дымы.  
По теплушкам снуёт метелица.  
Караулим груз.  
И ещё в наши жизни целится  
по ночам хунхуз\*,  
и ещё, куржаком оправленный,  
от тревог устав,  
через пули и спирт отравленный  
наш гремит состав.

...Глинобитная улица узкая,  
чей-то грустный взгляд.

---

\*Хунхуз — участник вооруженных банд, действовавших в Маньчжурии с середины XIX в. до победы народной революции в Китае в 1949 г.

Но всё ближе граница русская,  
и сердца горят.  
И уже нам ночами снится:  
над волной раки́т,  
распластавши крыла, как птица,  
эшелон летит.

Смотрят матери удивлённо,  
детвора бежит:  
журавлиная стая вагонов  
в небесах кружит.  
И садятся напропалую,  
развернув крыло.  
кто на площадь на городскую,  
кто в своё село.

Мы выпрыгиваем на травы,  
ордена звенят,  
ах, какие, о боже правый,  
очи у девчат!  
Как целуют они нас сладко  
у речных раки́т...  
Голова на шинельной скатке,  
эшелон гремит.

Зори — мимо,  
пространства — мимо,  
в ледяной красе,  
и колёса неутомимо  
всё отстукивают с нажимом:  
«Живы, мальчики... живы, живы...  
Да не все...  
не все...»

# ПРОЗА



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные произведения иркутских прозаиков*

**ВАЛЕНТИН РАСПУТИН**



## **Там, на краю оврага**

РАССКАЗ

Там, на краю оврага, вырыл нору суслик. Это был один из тысяч и тысяч подземных ходов, которые имеют вход и выход, укрытые в густой траве вдоль оврага.

---

РАСПУТИН Валентин Григорьевич — русский советский писатель и публицист, общественный деятель. Родился 15 марта 1937 в п. Усть-Уда Иркутской области. С двух лет жил в деревне Аталанка Усть-Удинского района. Окончил среднюю школу в п. Усть-Уда. После школы поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета. В студенческие годы работал внештатным корреспондентом газеты «Советская молодежь». Член Союза писателей СССР с 1977 года. Жил и работал в Иркутске, Красноярске и Москве. Герой Социалистического Труда (1987). Лауреат двух Государственных премий СССР (1977, 1987), Государственной премии России (2012), премии Правительства РФ (2010), Лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (2003), Лауреат премии им. Л.Н. Толстого (1992), премии им. Александра Невского «России верные сыны» (2004), премии «Ясная поляна» (2012), и множества других литературных премий. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени и другими государственными наградами. В 1991 году стал одним из вдохновителей создания Петровской академии наук и искусств. В 1994 году выступил инициатором создания Всероссийского праздника Дней русской духовности и культуры «Сияние России». В 2010 году был выдвинут на соискание Нобелевской премии в области литературы. Автор романов и повестей: «*Последний срок*», «*Прощание с Матерой*», «*Живи и помни*», рассказов «*Уроки французского*», «*Василий и Василиса*» и др. Многие произведения писателя экранизированы. В. Распутин является Почётным гражданином Иркутска (1986) и Иркутской области (1998). Скончался 14 марта 2015 в Москве. Похоронен на территории Знаменского монастыря в г. Иркутске.

Суслик выскакивал из норы, становился на задние лапы, торопливо осматриваясь, отвешивал поклоны на все четыре стороны и только после этого бросался в пожелтевшее пшеничное поле. Возвращаясь, он снова отвешивал поклоны на север, запад, юг и восток и нырял в холодную нору — маленький капиллярный сосудик, уходящий далеко под землю.

Стоял август, обросший травой, хлебами и солнцем, последние дни августа, когда до начала нового счета остается совсем немного.

\* \* \*

Мальчишка пошел влево, потом повернул вправо и попал на дорогу. Он нашел палку и стал сшибать зернистые верхушки травы по краям дороги: слева направо и справа налево — раз, раз, раз... Оставались последние дни до школы. Ему не хватило лета, чтобы отдохнуть, и он чувствовал, что ему не хватит детства, чтобы набегаться вволю.

Мальчишка все дальше и дальше уходил от деревни по узкой заросшей дороге, пахнувшей бессрочным, незакатным летом. И лето расстилалось перед ним широко-широко: мальчишка уже знал, что горизонты — это мираж, который, кроме самого слова, ничего не имеет. Он мечтал снести однажды горизонт, как заборы, чтобы видеть сразу и день и ночь — семь цветов радуги — там, где они сходятся и расходятся.

Мальчишка шел неторопливо, потому что ему не хотелось уходить из лета и возвращаться к матери, которая обязательно будет говорить о школе. Но ему не пришлось уйти далеко.

Мать видела, как мальчишка уходит все дальше и дальше от нее, и молчала. Она еще могла бы вернуть его, но она вспомнила, что ей не один раз придется окликать его в сентябре, когда он, забыв о школе, вот так же пойдет к краснеющим горизонтам. А до сентября оставалось всего несколько дней — так себе, мелкая, звонкая монета, на которую ничего не купишь. Пусть уж он возьмет ее себе и распорядится этой мелочью, как хочет. Она, вздохнув, согласилась с ним — пусть: мальчишки взрослеют, когда остаются наедине. Она уже давно мечтала о дне, когда он скажет ей не мальчишеское «мама», а мужское «мать».

Много лет назад вот так же просто от нее уходил муж. Тогда ничего нельзя было поделать: где-то уже совсем недалеко от деревни рвались снаряды. Она долго шла рядом с мужем и все целовала его, целовала, пока он не убежал от нее. Он побежал, а она, остановившись, крикнула ему то же самое, что повторяла перед этим тысячу раз:

— Возвращайся!

А вот это, последнее, он, видно, не услышал. Через два года крепко-накрепко его расцеловала немецкая проститутка — маленькая пуля-хохотушка, и он так навсегда и остался с ней, даже не написав письма. Она узнала об этом ранней весной, когда за деревней, среди подснежников, снова гремели взрывы, срывая подснежники и бросая их к ее ногам. Она поднимала подснежники и шла на взрывы, но они умолкали прежде, чем она успевала до них дотянуться, и ей ничего не оставалось, как вернуться домой. И все-таки что-то случилось: ей казалось, что ее душу теперь навсегда опечатали, и уже никто не сможет в нее проникнуть. Она ошиблась. Она не подумала тогда об этом мальчишке.

Десять лет — для нее это был тяжкий груз. Они проходили мимо — незнакомые и чужие — они торопились, чтобы, как спасательная команда после военного



пожара, бури, наводнения, расставить все по своим местам, а она непонимающе смотрела, кому и зачем это нужно. По ночам она оставалась наедине со своей бабушкой тоской, а утром, с трудом поднявшись, смазывала искусанные губы желтым вазелином и шла на работу. Сначала, как ролик киноленты, по ночам она видела одно и то же: где-то уже совсем недалеко рвутся снаряды и муж убегает. Безвкусовые, пресные годы потянулись, как дожди, и у нее не было ни желания, ни сил что-либо менять в своей жизни.

Впрочем, что-то должно было случиться: жизнь, как игрок, не признает вечно-го шаха и всякий раз ищет новый ход. И это, в конце концов, случилось. Она вовсе не думала о том, кто в данном случае проиграет,— она сделала ход и смела фигуры. Он приехал в командировку откуда-то из города и позвал ее, быть может, не надеясь на успех. Она равнодушно — не из желания и не из тщеславия — именно равнодушно прыгнула в эту воду, просто окунулась с головой — плыть пришлось немного, и она, одеваясь, поняла, что легче ей от этого не стало. Он тоже оделся и ушел, тихонько прикрыв за собой дверь, а у нее не осталось ни радости, ни сожаления — одна пустота. Будто ничего не случилось — она уснула так же тяжело, как всегда, и, словно неоткрытая земля, осталась опять одна, не принимая ни радиосигналов, ни света далеких прожекторов.

Но уже скоро, через несколько месяцев, люди легко рассмотрели, что она таит в себе великое богатство для сплетен, и навели на нее десятки чутких локаторов. Ей некуда было скрыться от них, и она шла по улице, принимая множество вспышек осуждения, злобы, гнева, принимая и гася их в себе. Опять она была одна, пока не появился мальчишка.

Мальчишка спас ее от тоски и от сплетен, он вывел ее из небытия и привел в мир, населенный людьми. Ей нелегко было привыкнуть в нем, но, привыкнув, она решила там остаться навсегда. За эти годы она, казалось, залечила все свои раны и забыла о их боли.

И вот теперь, за несколько дней до сентября, мальчишка вышел за деревню и свернул вправо. Она не решилась его окликнуть. Она стояла и смотрела, как он уходит.

\* \* \*

Больше двадцати лет назад мина зарылась в землю, не выполнив чье-то задание, и казалось, навеки похоронила там жуткую силу своего единственного слова. Она лежала, как оброненное яйцо, ни больше, ни меньше: белок — это стальная оболочка, и желток — небольшой, туго свернутый смертельный комок, разлетающийся на тысячи искр. Больше двадцати лет длился ее летаргический сон, и только однажды, когда суслик, проводя мимо нее ход в свое жилище, прикоснулся к ней, она, приготовившись, замерла, но удар был слишком мягкий и никто из них не пострадал. Потом они привыкли друг к другу и уживались как хорошие соседи. И все-таки мина обладала слишком большой силой, чтобы неслышно умереть вместе с ней. Она устала от собственной тайны. Она с нетерпением ждала той минуты, когда можно будет сказать свое единственное слово. Ее жизнь заключалась в смерти.

\* \* \*

А мальчишка все шел и шел к горизонту — маленький, недавно спущенный на воду корабль, плывущий по Великому Летнему морю. Начиная отлив — до

сентября оставалось всего несколько дней, и мальчишке трудно было повернуть обратно, чтобы подготовиться и начать плавание по новому курсу. Он шел, стуча по степи палкой, к далекому горизонту, а горизонт отступал все дальше и дальше, куда-нибудь к Африке, где не бывает зимы. Но мальчишка настойчиво шел за ним.

Суслик выкатился из норы и, оглядываясь, покотился по грустной и пожелтевшей степи. У оврага суслик остановился и, как всегда, встал на задние лапы, оглядываясь по сторонам. И тут он увидел мальчишку. Инстинкт сработал мгновенно. Перевернувшись в воздухе, суслик упал в нору.

Мальчишка остановился. Ему хватило одной секунды, чтобы из мальчишки превратиться сразу в командира, и капитана. Размахивая палкой — ура-а! — он бросился к норе. Перед ним был вход в укрытие врага. Не раздумывая, мальчишка вонзил в него палку.

Степь, охнув, сжалась, охватив в последних днях августа уходящее лето.

Сверкнули тысячи искр, и тишина разлетелась на мелкие кусочки, которые потом долго собирали горизонты.

Суслик, выскочив из норы с другой стороны оврага, долго-долго бежал по вздрагивающей, как от землетрясения, степи. Он так никогда больше и не вернулся к оврагу.

Там, на краю оврага, взрыв поднял из норы натасканное сусликом зерно. Оно лежало на дне воронки — желтое и мудрое — как подарок мальчишке.

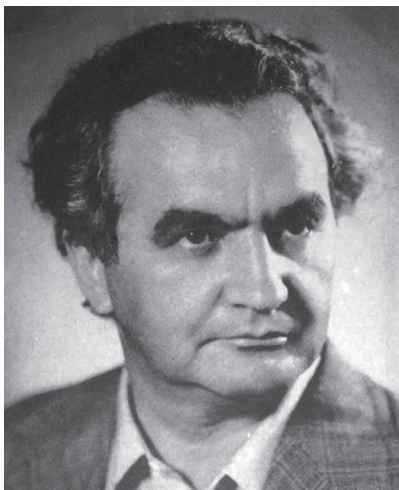
А потом, на следующий год, на этом месте выросла пшеница.

# ПОЭЗИЯ



*К 90-летию Иркутской писательской организации.  
Избранные стихи иркутских поэтов*

**СЕРГЕЙ ИОФФЕ**



Я в этот город возвращаюсь...

\* \* \*

Пригляделся к байкальским красотам.	Ну, скалы нависает громада.
Попривык. Перестал замечать.	Ну, тропа сквозь кедряч пролегла.
Что там горы в багульнике, что там	След медведя. Следы камнепада.
предосенней тайги позолота —	Эка невидаль! Так, мол, и надо.
все поблекло и стало мельчать.	Заурядные, в общем, дела.

---

ИОФФЕ Сергей Айзикович (11 января 1935, г. Смоленск — 24 января 1992, г. Иркутск). Детство С.А. Иоффе прошло в поселках довоенного БАМа, строителем которого был его отец. Школу и педагогический институт окончил в Иркутске. Работал на студии телевидения, в газете «Советская молодежь», на студии кинохроники, преподавал в университете. С ранних лет печатался в иркутских газетах и журналах. Автор поэтических сборников, трех книг литературных эссе о русских поэтах. В последние годы жизни С.А. Иоффе работал в жанре прозы. Реалистичны и проникновенны повести «Был человек», «Северные поезда» (1986) и посмертно изданная книга «Любит, не любит...» (1993).

Но пожаловал в гости однажды  
человек из далеких краев.  
Словно путник, томящийся жаждой,  
и к цветку, и к травиночке каждой  
жадным взглядом приникнуть готов.

Языка поначалу лишился —  
онемело качал головой...  
Уезжая, обнял, прослезился  
и тирадой в сердцах разразился  
умилительной: «Боже ты мой!

Понимаете ли, где живете?  
Чем владеете, цените ли?..»  
Теплоход, как и должно на флоте,  
дал четыре гудка при отходе  
и неспешно растаял вдали.

\* \* \*

Проникаю несуетным взглядом  
в тот Иркутск, где не будет меня...  
С нестареющей церковью рядом  
пробегают трамваи, звеня.

А над ней, в поднебесье взмывая,  
как в былые, мои, времена,  
мельтешит голубиная стая —  
слава богу, сыта и вольна.

Поверну-ка незримо у рынка,  
отдохну на подъеме крутом.  
Прежде звали — Иерусалимка,  
Парк культуры — назвали потом.

Нет в округе удобнее горок:  
безмятежность, простор, высота.  
Открывается прожитый город  
целиком — от моста до моста.

Я остался стоять на причале.  
Как обычно, тугая волна  
била в бревна. И чайки кричали.  
Но — о, чудо! — глаза не скучали,  
будто разом сошла пелена.

И опять я увидел впервые  
и несчитанных птиц в вышине,  
и Дабана гольцы снеговые,  
и в воде облака кучевые —  
в неживой ниже дна глубине.

На единой, на благостной ноте  
пели травы, стрижи и шмели.  
И донес ветерок на подлете:  
«Понимаете ли, где живете?  
Чем владеете, цените ли?»

Предугадываю перемены:  
подросли деревья и дома,  
но душа, сердцевина — нетленны,  
как нетленна природа сама.

Только я бы едва ли ответил,  
в чем она, городская душа.  
Этот звон, переменчивый ветер,  
что балует, листву вороша,

купола, предзакатное солнце,  
яркий блик на ангарской волне,  
вековая резьба над оконцем —  
все, как было когда-то, при мне.

Знать, не страшно сокрыться в природе,  
коли жил, и томясь, и любя.  
Ведь с уходом твоим не уходит  
то, что в жизни превыше тебя.

## Дом на улице Софьи Перовской

*Тамаре Аркадьевне Шитиловой,  
Галине Аркадьевне Садовской*

Задолжал со студенческих лет.  
Задолжал не рубли, не червонцы,  
а приветливый свет из оконца,  
доброты нескончаемый свет.

Вы меня приглашали за стол  
И вздыхали при том: «Чем богаты».  
Словно были и впрямь виноваты,  
что, увы, невелик разносол.

Беспечальный студент, голытьба!  
Разве мог бы учиться, не зная,  
что чужого меня, как родная,  
в ночь-полночь обогреет изба?

Разумел или нет, грамотей,  
что, отрезав мне хлеба краюшку,  
застелив для меня раскладушку,  
вы своих обделяли детей?..

Я мечтал: стану кум королю,  
отучусь, получу назначение —  
накуплю и конфет, и печенья,  
колбасы и вина накуплю.

Заявлюсь — молодец молодец!..  
Думал, можно с единого маху

за отзывчивость, как за рубаху,  
рассчитаться — и дело с концом.

Не судите, простите меня.  
Я признание вынашивал долго,  
и росло ощущение долга  
год от года и день ото дня.

Рядом с вашей святой добротой  
Что они, эти поздние строки?..  
Не смиряюсь, что минули сроки,  
не кичусь головою седой

и — у жизни уже на краю,  
от волненья дыма папиросной,  
в дом на улице Софьи Перовской  
возвращаюсь, как в юность свою.

\* \* \*

Когда этот шумный бульвар  
был садом Парижской коммуны,  
за старой оградой чугунной  
бренчанье бездумных гитар  
не слышалось. В чинной тиши,  
доверившись воспоминаньям,  
сидели бабуся с вязаньем,  
возились у ног малыши.  
И только вечерней порой,  
досужий народ зазывая,  
не струнная, а духовая  
звучала по-над Ангарой.  
Мелодию трубы вели.  
На том берегу, у вокзала,  
она спотыкалась. Стихала  
в Глазковском предместье, вдали.  
...Прносятся годы, пыля.  
Старинные вальсы и марши  
становятся старше и старше.  
Выходят в тираж тополя.  
И, видно, за то, что не юн,  
порушен единожды летом,  
потом увезен Вторчерметом  
ажурной работы чугун.  
А сад без ограды — не сад.  
Здесь грохот транзисторов, пиво...

И смотрит Ермак сиротливо,  
и сумрачен бронзовый взгляд.  
Я, в общем, довольно терпим  
к превратностям и переменам.  
Ни взглядом, ни словом надменным  
не стану пенять молодым.  
И все же тревожит меня  
одна неотступная дума.  
Эпоха бедлама и шума  
промчится, брэнча и звеня, —  
иные придут времена,  
а с ними приметы иные.  
И нынешние молодые,  
коль не помешает война,  
состарятся. Вспомнят иль нет  
они и печально, и сладко,  
как, выпив винца для порядка,  
потом оседлав парапёт,  
неистово, словно в бреду,  
без устали пели и пели —  
базлали, рычали, хрипели  
у всех и у вся на виду?  
Те песни, хотя бы во сне,  
вернутся ли к ним после срока,  
Как танго забытого Строка  
Вернулось сегодня ко мне?

## Холода

Какие нынче холода!  
Как леденят они и жгутся!..  
И лишь ангарская вода  
не замерзает у Иркутска.

Когда мой длинный автовоз,  
моя автобусная пара,  
кряхтя, взбирается на мост,  
я попадаю в царство пара.

И над рекой, как по реке,  
плывут в тумане чьи-то лица.  
Что стоит в этом молоке  
пропасть, исчезнуть, заблудиться?

Баранку резко крутануть,  
порвать ажурные перила...  
река б торила тот же путь  
и все парила бы, парила...

Какие нынче холода!  
От них и сумрачные мысли.  
Но меж столбами провода  
от снежной тяжести провисли.

Но куржаком, как бахромой,  
деревья пышно разодеты.  
А это все зимы самой  
отнодье не зимние приметы!

И зреет заговор уже.  
Весною и не пахнет будто,  
но и в природе, и в душе  
опять воскресла жажда бунта.

Бунтуем! Встали мятежом!  
Идем на вы! Бросаем вызов!  
Сосульки грозным этажом  
Висят, как бомбы, вдоль карнизов.

## Надежда

Я в этот город возвращаюсь  
десятый ли, двадцатый раз.  
Я — как солдат. Я не решаюсь  
нарушить воинский приказ.  
Схожу по трапу с теплохода  
иль из вагона выхожу —  
ищу у выхода, у входа,  
ищу тебя — не нахожу.  
Опять меня ты огорчаешь,  
как зимний дождь, как летний снег:  
не ждёшь, не плачешь, не встречаешь,  
мой гордый, горький человек.  
Я не храбрюсь — мне больно очень,  
мне с каждым разом всё больней...  
Я — как солдат — упрям и точен  
на много лет, на много дней.  
Друзья твердят, что это слишком,  
что так, мол, дальше жить нельзя.  
Они зовут меня мальчишкой,  
бескомпромиссные друзья.  
А может быть, они и правы?..  
Я помню, как давным-давно

лихой мальчишеской оравой  
мы с боем прорвались в кино —  
и там затихли, не галдели...  
В десятый ли, в двадцатый раз  
мы про Чапаева глядели,  
не отводя с экрана глаз.  
А вдруг он выплывет, ребята?!  
А вдруг он выплывет?! А вдруг...  
Я был мальчишкою когда-то  
и верил в силу честных рук.  
Теперь я стал взрослей и строже,  
но я мальчишка всё равно!  
Ты не обманешь. Ты не сможешь.  
Ведь это в жизни — не в кино.  
Надеюсь — не могу иначе.  
Зову тебя — нельзя молчать:  
а вдруг ты вспомнишь? Вдруг заплачешь?  
А вдруг придёшь меня встречать?!  
Я завтра рано-рано встану.  
Уеду, чтоб вернуться вновь.  
Я возвращаться не устану.  
Я верю в чудо. И в любовь.

## Крик

В мороз и зной, на море и на суше,  
в Рязани и в созвездии Тельца  
упрямо ищем родственные души,  
и нету этим поискам конца.

Как часто не ведут они к удаче.  
О, поиски — вслепую, в темноте!

А мы молчим. Храбримся и не плачем.  
А души-то вокруг не те, не те...

В отчаянье молчание нарушу —  
Кричу и заклинаю и молю:  
возьмите вашу родственную душу,  
отдайте мне любимую мою!

\* \* \*

*В. Распутину*

Добротный, навеки поставленный дом  
на взгорке, у самой железной дороги.  
В нем стрелочник жил. Выходил с фонарем,  
цигарку курил в темноте на пороге.

Он знал свое дело — встречал поезда  
и стрелку старательно чистил от снега.  
Он думал: не сдержит ничто никогда  
ни гула, ни свиста, ни стука, ни бега.

Ах, много на свете бесменных вещей,  
да, видно, не всё неизменно на свете...  
Растут между шпал лебеда и пырей,  
играют на рельсах беспечные дети.

Теперь эти рельсы ведут в никуда,  
в тупик упираются на косогоре.  
А дальше — ангарская плещет вода:  
Андрея Ефимыча Бочкина море.

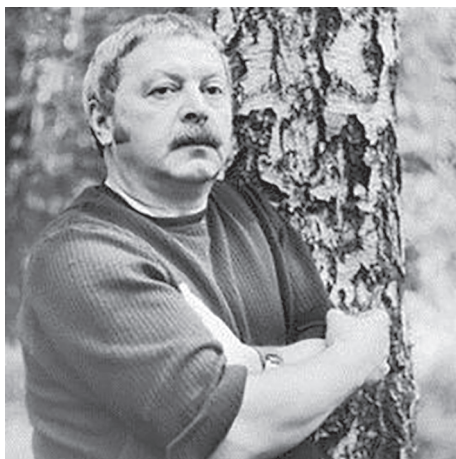
В горах скоростная легла магистраль,  
а эта дорога — уже не дорога.  
Июнь отцветает, метелит февраль —  
Забот у старушки не очень-то много.

Лишь в полночь, от мрачных тоннелей устав,  
приходит не знающий шумных перронов  
печального вида кургузый состав  
из двух или трех допотопных вагонов.

И стрелочник в том не виновен ничуть,  
что вдруг его должность сочли за безделку:  
оставлен отныне единственный путь  
и нету нужды перекидывать стрелку.

...А в доме — иной обитатель. Причем,  
как стрелочник, трудится тоже на совесть.  
Он пишет здесь повесть. Не знаю, о чем.  
Дай бог, чтобы вышла хорошая повесть!

## ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ



### Лермонтов. Облако. Демон.

ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий Давыдович родился 22 января 1922 года в городе Козелец (Черниговская область, Украинская ССР), вскоре после рождения Юрия семья переехала в Киев, а затем в Сталино (ныне Донецк). Окончив школу в 1938 году в Сталино, Юрий Левитанский едет в Москву, где в 1939 году поступает в Институт философии, литературы и истории (ИФЛИ). С началом Великой Отечественной войны поэт со второго курса института добровольцем ушёл на фронт в звании рядового, служил в частях ОМСБОН, стал лейтенантом, затем военным корреспондентом, начав печататься в 1943 году во фронтовых газетах. После капитуляции Германии Левитанский участвовал в боевых действиях в Маньчжурии. За время воинской службы был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», двумя медалями Монголии. Демобилизовался из армии в 1947 году. Первый сборник стихов «Солдатская дорога» вышел в 1948 году в Иркутске. Затем появились сборники «Встреча с Москвой» (1949), «Самое дорогое» (1951), «Секретная фамилия» (1954) и др. В 1955–1957 годах Левитанский учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им. М. Горького. С 1957 года член Союза писателей. В 1963 году он опубликовал сборник стихов «Земное небо», сделавший автора известным. Из Иркутска Левитанский переехал в Москву. В 1960-х — начале 1970-х, вместе с первой женой Мариной Павловной, жил в ЖСК «Советский писатель» (д. № 25 по Красноармейской улице). Одно из первых публичных выступлений Юрия Левитанского перед большой аудиторией состоялось в Центральном лектории Харькова в 1961 году. Кроме стихов поэт занимался переводами, пародиями — в ежегоднике «День поэзии» за 1963 год опубликована подборка его пародий на известных советских поэтов Леонида Мартынова, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Михаила Светлова и других. В подборке все пародии написаны на сюжет известной детской считалочки «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». В 1970 году у Левитанского вышел сборник стихотворений «Кинематограф»; в 1975 — «Воспоминания о Красном снеге»; в 1980 — «Два времени» и «Сон о дороге»; в 1991 — «Белые стихи». Многие стихи Левитанского были положены на музыку, исполнялись и исполняются популярными бардами (Берковским, Никитиным, братьями Мищуками). Группа СВ в 1984 году выпустила альбом «Московское время», в котором звучат несколько песен на стихи Левитанского. Песни на стихи Юрия Левитанского звучат в кинофильмах «Москва слезам не верит» («Диалог у новогодней ёлки»), «Рыцарский роман» («Каждый выбирает по себе», муз. В.С. Берковского), «Солнечный удар» («Каждый выбирает для себя», муз. С.В. Березина). В 1995 году на церемонии вручения Государственной премии Левитанский обратился к президенту России Ельцину с призывом прекратить войну в Чечне. Юрий Левитанский скончался 25 января 1996 года от сердечного приступа на «круглом столе» творческой интеллигенции, проходившем в московской мэрии, где он говорил о чеченской войне. Похоронен на Ваганьковском кладбище.



## Кое-что о моей внешности

Я был в юности — вылитый Лермонтов.  
Видно, так на него походил,  
что кричали мне — Лермонтов! Лермонтов! —  
на дорогах, где я проходил.

Я был в том же, что Лермонтов, чине.  
Я усы отрастил на войне.  
Вероятно, по этой причине  
было сходство заметно вдвойне.

Долго гнался за мной этот возглас.  
Но, на некий взойдя перевал,  
перешел я из возраста в возраст,  
возраст лермонтовский миновал.

Я старел, я толстел, и с годами  
начинали друзья находить,  
что я стал походить на Бальзака,  
на Флобера я стал походить.

Хоть и льстила мне видимость эта,  
но в моих уже зрелых годах  
понимал я, что сущность предмета  
может с внешностью быть не в ладах.

И тщеславья — древнейшей религии —  
я поклонником не был, увы.  
Так что близкое сходство с великими  
не вскружило моей головы.

Но как горькая память о юности,  
о друзьях, о любви, о войне,  
все звучит это — Лермонтов! Лермонтов! —  
где-то в самой моей глубине.

## Белая баллада

Снегом времени нас заносит — все больше белеем.  
Многих и вовсе в этом снегу погребли.  
Один за другим приближаемся к своим юбилеям,  
белые, словно парусные корабли.

И не трубы, не марши, не речи, не почести пышные.  
И не флаги расцвечиванья, не фейерверки вслед.  
Пятидесяти орудий залпы неслышные.  
Пятидесяти невидимых молний свет.

И три, навсегда растянувшиеся, минуты молчанья.  
И вечным прощеньем пахнувшая трава.  
...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта Отчаянья.  
Последней Надежды туманные острова.

И снова подводные рифы и скалы опасные.  
И снова к глазам подступает белая мгла.  
Ну, что ж, наше дело такое — плывите, парусные!  
Может, еще и вправду земля кругла.

И снова нас треплет качка осатанелая.  
И оста и веста попеременно прыть.  
...В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая.  
Неведомо, сколько кому остается плыть.

Белые хлопья вьются над нами, чайки летают.  
След за кормою, тоненькая полоса.  
В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают  
попутного ветра не ждущие паруса.

\* \* \*

В ожидании дел невиданных  
из чужой страны  
в сапогах, под Берлином выданных,  
я пришел с войны.

Огляделся.  
Над белым бережком  
бегут облака.  
Горожанки проносят бережно  
куски молока.

И скользят,  
на глаза на самые  
натянув платок.  
И скрежещут полозья санные,  
и звенит ледок.

Очень белое все  
и светлое —  
ах, как снег слепит!  
Начинаю житье оседлое —  
позабытый быт.

Пыль очищена,  
грязь соскоблена —  
и конец войне.

Ничего у меня не скоплено,  
все мое — на мне.

Я себя в этом мире пробую,  
я вхожу в права —  
то с ведерком стою над прорубью,  
то колю дрова.

Растволку картофель отваренный —  
и обед готов.  
Скудно карточки отоварены  
хлебом тех годов.

Но шинелка на мне починена,  
нигде ни пятна.  
Ребятишки глядят почтительно  
на мои ордена.

И пока я гремлю,  
орудуя  
кочергой в печи,  
все им чудится:  
бьют орудия,  
трубят трубачи.

Но снежинок ночных кружение,  
законный свет —  
словно полное отрешение  
от прошедших лет.

Ходят ходики полусонные,  
и стоят у стены  
сапоги мои, привезённые  
из чужой страны.

\* \* \*

Вы помните песню про славное море?  
О парус, летящий под гул баргузина!  
...Осенние звезды стояли над логом,  
осенним туманом клубилась низина.

Потом начинало светать понемногу.  
Пронзительно пахли цветы полевые...  
Я с песнею тою пускался в дорогу,  
Байкал для себя открывая впервые.

Вернее, он сам открывал себя. Медленно машина взбиралась на грань перевала. За петлями тракта, за листьями медными тянуло прохладой и синь проступала.

И вдруг он открылся. Открылась граница меж небом и морем. Зарей освещенный, казалось, он вышел, желая сравниться с той самою песней, ему посвященной.

И враз пробежали мурашки по коже, сжимало дыханье все туже и туже. Он знал себе цену. Он спрашивал: — Что же, похоже на песню? А может, похуже?

Наполнен до края дыханьем солёным горячей смолы, чешуи омулиной, он был голубым, синеватым, зеленым, горел ежевикой и дикой малиной.

Вскипала на гальке волна ветровая, крикливые чайки к воде припадали, и как ни старался я, рот открывая, но в море, но в море слова пропадали.

И думалось мне под прямым его взглядом, что, как ни была бы ты, песня, красива, ты меркнешь, когда открывается рядом живая, земная, всесильная сила.

### **Грач над березовой чащей**

Света и сумрака заговор.  
Вечно о чем-то молчащий,  
неразговорчивый загород.  
Лес меня ветками хлещет  
в сумраке спутанной зелени.  
Лес меня бережно лечит  
древними мудрыми зельями.  
Мятой травую врачует —  
век исцеленному здравствовать,  
посох дорожный вручает —  
с посохом по лесу странствовать...  
Корни замшелого клена  
сучьями трогаю голыми,  
и откликается крона  
дальними строгими гулами.

Резко сгущаются тени,  
перемещаются линии.  
Тихо шевелятся в тине  
странные желтые лилии.  
Гром осыпается близко,  
будит округу уснувшую.  
Щурюсь от быстрого блеска.  
Слушаю.  
Слушаю.  
Слушаю.

\* \* \*

День все быстрее на убыль  
катится вниз по прямой.  
Ветка сирени и Врубель.  
Свет фиолетовый мой.

Та же как будто палитра,  
сад, и ограда, и дом.  
Тихие, словно молитва,  
вербы над тихим прудом.

Только листья обгорели  
в медленном этом огне.  
Синий дымок акварели.  
Ветка сирени в окне.

Господи, ветка сирени,  
все-таки ты не спеша  
речь заводить о старенье  
этой заблудшей глуши,

этого бедного края,  
этих старинных лесов,  
где, вдалеке замирая,  
сдавленный катится зов,

звук пасторальной свирели  
в этой округе немой...

Врубель и ветка сирени.  
Свет фиолетовый мой.

Это как бы постаренье,  
в сущности, может, всего  
только и есть повторенье  
темы заглавной его.

И за разводами снега  
вдруг обнаружится след  
синих предгорий Казбека,  
тень золотых эпозет,

и за стеной глухомани,  
словно рисунок в альбоме,  
парус проступит в тумане,  
в том же, еще голубом,

и стародавняя тема  
примет иной оборот...  
Лермонтов. Облако. Демон.  
Крыльев упругий полет.

И, словно судно к причалу  
в день возвращенья домой,  
вновь устремится к началу  
свет фиолетовый мой.

### Диалог у новогодней ёлки

— Что происходит на свете? — А просто зима.  
— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.  
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю  
в ваши уснувшие ранней порою дома.

— Что же за всем этим будет? — А будет январь.  
— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.  
Я ведь давно эту белую книгу читаю,  
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

— Чем же все это окончится? — Будет апрель.  
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.  
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,  
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует? — Следует жить,  
шить сарафаны и легкие платья из ситца.  
— Вы полагаете, все это будет носиться?  
— Я полагаю, что все это следует шить.

— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,  
недолговечны ее кабала и опала.  
— Так разрешите же в честь новогоднего бала  
руку на танец, сударыня, вам предложить!

— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,  
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!  
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,  
и — раз-два-три,  
раз-два-три,  
раз-два-три,  
раз-два-три!..

### Зачем дураку море?

Подарили дураку море. Он потрогал его. Пощупал.	Но устал он. И скучно стало. Сел дурак на песок устало.
Обмакнул и лизнул палец. Был соленым и горьким палец.	Повернулся спиной к прибою. Стал в лото играть. Сам с собою.
Тогда в море дурак плюнул. Близко плюнул. Подальше плюнул.	То выигрывает, то проигрывает. На губной гармошке поигрывает.
Плывать в море всем интересно. Дураку это даже лестно.	Проиграет дурак море!.. А зачем дураку море?

\* \* \*

Здесь обычай древний не нарушат.  
В деревянный ставень постучи —  
чай заварят, валенки просушат,  
теплых щей достанут из печи.

В этих избах,  
в этой снежной шири,  
белыми морозами дыша,  
издавна живет она — Сибири  
щедро хлебосольная душа.

Если кто и есть еще, быть может,  
что, шаги заслыша у ворот,  
на задвижку дверь свою заложит,  
ковшика воды не поднесет,

и влечет его неудержимо  
встреча с каждым новым пятакон —  
пусть себе трясется эта жила  
над своим железным сундуком!

Сколько раз  
меня в крестьянской хате  
приглашали к скромному столу!  
Клали на ночь  
только на кровати,  
сами ночевали на полу.

Провожая утром до ограды,  
говорили, раскурив табак,—  
дескать, чем богаты, тем и рады.  
Извиняйте, если что не так!..  
В дом к себе распахивая двери,  
не тая ни помыслов, ни чувств,  
быть достойным,  
хоть в какой-то мере,  
этой высшей щедрости  
учусь.

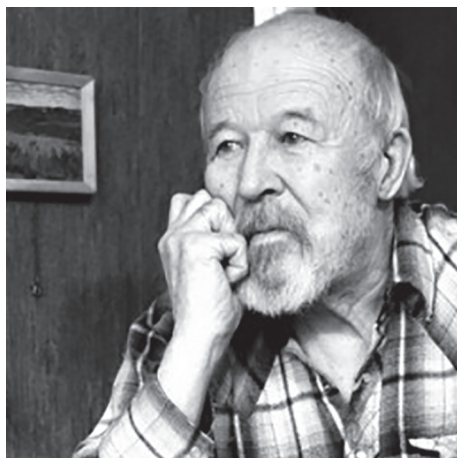
Чтоб делить  
в сочувственной тревоге  
все, что за душой имею сам,  
с человеком,  
сбившимся с дороги,  
путником,  
плутавшим по лесам.

Чтобы, с ним прощаясь у ограды,  
раскурив по-дружески табак,  
молвить:  
— Чем богаты, тем и рады.  
Извиняйте, если что не так!



## *К 90-летию Иркутской писательской организации. Избранные произведения иркутских прозаиков*

ГЛЕБ ПАКУЛОВ



### Сугробный старец

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «ГАРЬ»

...Хромая на одно крыло и свесив вялую красную лапу, летела, слёзно вскрикивая, одинокая белая лебедь. Маясь в полёте, она натужно перемахала крутолобую стену Свято-Кириллова монастыря, низко припала к сонной глади Сиверского озера и, отражаясь в ней встрёпанной снежной пушью, застремилась вдаль от угрюмой обители, цепляя мёртвой лапой светлую воду и оставляя за собой рваную тёмную стёжку — словно зачёркивала в ясном зеркале своё увечное отражение.

Лебедь спешила на яркий закат к плавням, в камышовую затишь, от громоворчащей, широко распахнувшей захапистые аспидные крыла тучи. Проблескивая

---

ПАКУЛОВ Глеб Иосифович, прозаик, поэт (1930, станица Бусеевская Амурской обл. — 2011, Иркутск). Окончил художественное училище в Новосибирске, служил в морфлоте, учился на географическом факультете Киевского университета. Работал в геологических партиях Иркутской области. Работал геофизиком в геологоразведочных партиях Иркутской области. Автор книг прозы: *Тиара скифского царя*: повесть (Иркутск, 1970); *Горнист Чапая и Сказка про девочку Лею...* (Иркутск, 1971); *Варвары*: роман (Иркутск, 1976); *Глубинка*: повесть (М., 1981); *Останцы*: рассказ (Иркутск, 2002); *Гарь*: роман (Иркутск, 2005; М., 2010); поэтич. сб. *Славяне* (Иркутск, 1964: Бригада). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение). Лауреат премии губернатора Иркутской области за роман «Гарь» (2006).



огненными спицами и сея моросью, туча проволокла набрякшее влагой чрево над куполами монастырских церквей, да вдруг густоструйно забрызгала, будто кто невидимый мощно давнул меж ладонями её отвисшее вымя. Озёрная гладь взрябила от гулких струй, забулькала пузырями и взнялась баннным паром. Шквальные, из-под тучи, наскоки ветра-поморника спихивали с валуна сидящего на нём и навалившегося на посох старика-монаха, хлестали мокрыми плетьюми по сутулой спине, по чёрной камиллавке, а над озёрной ширью сивогривым табуном-привидением затоптался туман и скоро упрятал в своих космах только что полоскавшийся в озере кровавый подол заката. Под приникшим к земле небом быстро настоялась сумеречная немота, суля долгую и тревожную ночину.

Напружив глаза, старец взыскующе вглядывался в густеющую потемь, где сокрылась увечная лебедь, и что-то шамкал тёмным провалом запавшего рта. Всегда густые встрёпанные волосы, теперь причёсанные гребнем дождя, мокро облепили костистое лицо, отчего обычно упрятанное в космах хрящеватые, как у сатира, уши остро выставились и пугающе шевелились при немощном шамкании.

«Вишь ты, — вяло думалось ему. — Жива пляскунья, а мнится давность я её в Ферапонтовом монастыре ловконько этак-то пищалью стрелил. Уж как досаждала!.. Крылами из невода-ставка моего крупну рыбу вымахивала, однуё мелочь — костлявую худобу — оставляла, да ишшо и выкликивала явственно: «Табе-е уся мелкота энта, пастырь падших, паси её, болезную, а доброй и здравой в силках твоих николи не бысть». Ну а как стрелил пакостунью, то и унялась. Пала на воду и растопоршилась, долгонько на озере маячила, покуль ветром не отдуло с глаз долой, эвон к тому берегу».

Тут до слуха его отдалённым вздохом-укором донеслось:

«То не лебедь, тобою увечная, горе мыкая, летает, то Русь, доньне казнямая, спасенья светлого взыскует».

И приблазнилось мниху — вроде кто подошел неслышно и присел на соседний валун. Он опасливо свернул голову и ознобно передёрнулся. Застив лицо ладонью немо глядел на пришельца сквозь растопыренные пальцы, как сквозь щель в заплотине, ослезнённым от страха глазом: объявившийся когда-то в Москве в келье слепца Саввы, перед ним сидел, приладив бороду на посошок, никак не изменившийся за протекшие годы сугробный старец и всё так же печально смотрел на оторопнувшего монаха.

— Нико-он, Никон, — скорбно промолвил старец, шевеля понурыми усами. — Тако-то ныне, яко младенчушко зазорный, на жестком камушке тужишь. А сказывал ране — подале от царей, так головушка целей. Нет же, сладили с Лексеюшком дурневу дуду Отчине на беду, а почали дуть — у самих слёзы идут. Царь-от, выученик твой тишайшой, аки пнул тя с престола — тако-то люто доунавотил нивушку русскую чужебесием латинским, а, помирая, боле от страха ревел, чем каялся — до крайнего вздоха всеу надеялся, могила все грехи его с ним прикроет. Ну да укрылся могилой, а грехи на тот свет концами повылезли... Ноне сумерничал аз с преподобным Сергием Радонежским, всё-то он который век молится за землю Отчую, всё-то печалуется. О нонешнем священстве, о службах, тобой умысленных по кривым служебникам греческим, тако молвил: «благодать от них на небо улетела, и вот — суетно кадило их и грешно приношение».

— Опеть ты незван явилси, опеть в душу мою аки в пазуху лезешь. — Никон — опустил руку, мазнул языком по сохлым губам и удавным взглядом уставился в старца. — С чем ноне, припоздняясь, пожаловал, блукалец неусыпный? Всё-то поминашь неотступно?

Старец насупился, кивнул:

— Незабитно поминаю и не я токмо. Помянщикова у тебя тьма, да не мочно до срока им зреть пастыря немилостивого. Ужо пождут мало, да и выйдут, оправданные, на стретенье с тобой долгождомое. Уготовься, день тот на твоём порожке.

Никон ворохнулся на валуне, отвёл от старца бледное, с черными унорышами глаз, оснулое, вроде умершее лицо, болезно заперхал:

— Кхе-кхе... Ува-а-жил. Поминами твоими я, как клюкой, подпираюся. Да нешто жалкуешь о душе моей? Ну, всяко-то услезил меня.

— А как не жалковать, тугой ты человеце! — гость притопнул посошком. — Рабам Божиим душа свыше посылаема есмь, она подарок Господний. Ежели проказят её, то и губят себя неванно. Но... услезил, говоришь? Так это гордыня твоя — грех смертный — уязвлена бысть, сердце сокрушено и слезит во покаяние. То и угодно Богу во всяко время.

Покряхтывая, Никон развернулся к старцу и как захристорадничал:

— Не злоказни боле, кто ты не есть, свет-старче, оставь, пожалуй. Мне даве тобою рекомое всё-то сбылося, да и царь со иудами-греками всяко умаял, то и поделом дурню-мужику. — Мних прищепил губы пальцами, туда-сюда побегал глазами. — И тутока, — откинул головой на стены обители, заподмигивал из тёмной глазницы колким глазом, — чёрная братия без устали смертки моей ждёт. Вдругоряд травить учнут во дни святые, постные. В кашку чего подмешают, кореньев там колдовских, шкурков жабьих, да травки наговорной. Они ж как есть ведьмаки и упыри летячие, а тому, чему статься от них, лешаков, аз, болезной, мышкой-доможилкой наперёд извещаем. Она, задружие моё, в келье со мной живёт — постничает. Оно и молится, токмо по-своему: похрумкат крошками и ну по мордашке усатой лапками возить — умывается, вроде, а сама, хитруха, толмудит, але ишшо ково там творит. А пошто нет? Каждное дыхание своего Создателя славит. У Федьки Ртищева тож собачонка водилась, так она, сказывали, истинне крестилась и благословляла лапой двуперстно. Никоном насмешники кликали, ну да её хлебушком подманули мои добрые монаси и удавили пояском раскольщицу. А ишчо пошепчу тебе про тутошного Никитку-игумена. Ох, не люб до меня! Келейника мово, Шушеру, в келью почал не пушшать, токмо доможилка моя его не послушает и всяко-то около меня: оно и утешливо, и душу теплит. А Никитка, он, неначе, с разуму отпятился: кажну-то ноченьку чертят малых тех ко мне напушшат. Они в уважении к нему, чёрту большему, его, мне сказывали, сам сатана в зыбке нянчал.

Сугробный старец слушал сострадательно, как слушают лепет дитяти неразумного, даже переступил посошком, подвинулся к монаху. И оконца келий в тёмной стене монастырской, едва проявленные тощим свечным отсветом, вприщур глядели на них, как прислушивались.

— А ведь я досель патриарх российский, отец отцов и святитель крайнейший не токмо всему люду, а и ему, архимандритишке! — грозя пальцем, ворчал Никон, по привычке жамкая иссохшей крупнокостной пястью набалдашник берёзового посоха. — Ан неймётся Никитушке, посылат в полную луну их цельной стаей меня наведывать: вскочут и на полу усядутся рядком, на окошице примостятся, копытцами пощёлкивают, а ино на ложе каменном моём в ногах присуседаются. И крестом от них отмахивалси, и кадиллом густо дымил — не уходят! Токмо чихают и глаза лупастые кулачками мохнатыми трут. Ноченьку всюё этак-то посиживают. Ничё не пакостят, не шалуют. Из себя бравенькие, шорстка лоснитса. И почё тако-то люб я имя?

Старец отнял голову с посошка, закивал, понимая.

— Полнолуние — ихнее времячко. Да и ты дитятем снобродным рос, так они тебя своим дедушкой чтут. Небось, хмельное с имя распивал, оно и привадил. А коей гурьбой оне? Числил?

— Дак кажну ночь шшитаю. Вточию тринадцать. Единожды токмо лишний с имя навялился. — Никон примолк, пожевал губами, будто прикидывал — надо ли досказывать — решился и опасливо зашептал. — Тот, которой лишний с имя был, ох страсть как большо-ой! С коломенску версту! Сам лохматай, рога ухватом, да я его, — Никон победно хихикнул, — враз обличил. Эт ж Никитка, игумен тутошнай, которой вконец умом обносилси и в чорта перекинулси, а как обличил его, то и рыкнул и брадой заметлил, а она совьись, да ему промеж ног, так он на ей, яко на помеле, в оконце уфуркнул... Не-е, вино с имя не пью, нету-ка вина. Алексеюшко на мою нищету присылал давность поманеньку в Ферапонтов монастырёк, да помёр, глупой, а нонешный Федорка ску-уп, ничо-то не шлёт сюды, в Кириллов, да оно и разворует братия. Тако-што гостюшки мои беспятые однуё водичку из бадейки сосут: губы выпятят в тросточку и тя-янут, тя-янут, бывает поперхнутся, ежели крестом осенюсь. Ну да попривыкнул к имя и ничо-о. Тихо гостюют. Вечор шептались, мол, архимандрит наш женится — игуменью берёт.

Старец хмыкнул и, завесив глаза снежными застругами бровей, хмуро спытал:

— Староотеческим крестом спасаешься, або как греки указали?

— А всяко, — вяло шевельнул ладонью Никон, — добры обоя.

Гость возразил:

— Только лапоть на обоя ноги плетётся.

— Всяко гоже, — упёрся монах. — Кады как. Аз тремя персты, как к покою гораздше, оно и чертей не корчит и мне от гостюшек бездосадно. Бывает, отойду в забытье, то и двумя перстами обмахнусь, так они из кельи с воем умахнут, яко ветр выдует. Но-о, уж как вспять влетят, то так-то рёбра настучат и боки намнут! Пластом отлёживаюсь. А я от ссылок да неправды царской вкрай охворал и весь оголодовал. В страхе и нищете живот износил и сна лишился. В голове шум велий, аки ковали мехами огонь вздувают, да в наковальни молотами гудут. Оно и ноги не носят. Чую — край доспел на ниву Божию в колодине откочёвывать.

Сугробный старец вновь притопнул посошком и как приговорил:

— Воистину — доспел! Токмо на жальник к содружникам подкатоличным, к другим немцам русским. А нивушка Божия вельми заселена убиенными за Ису-са, и до времени в сельбище том петухи не поют, люди не встают, солнышко не блестит, небушко не звездит, лишь Свете Тихий неизреченный над ними, праведными, царует.

— Алексеюшка-царь, небось, на нивушке почиват, меня подждат? — с виноватинкой в заискивающем шепоте понадеялся Никон.

— Нет, — отрубил старец. — Ему к Свете Тихому врата всекрепко зааминены. Он в собинном местилище в муках преисподних. Суда Страшного ждёт. Тебе к нему наказано, к своему выученику державному.

Никон засопел, навалился на посох, обвис на нём чёрным пугалом и проговорил удушливо, в землю:

— Этак-то допредже и Аввакумушко гордой предрёк: «Знай, патриарше, с греками-латинщиками дашь маху — втащишь себя на плаху». То и сталося. Эт куды от меня ум-от подевалси?..

Сугробный старец поднялся с валуна, стоял во всём белом, сам белый в ла-

поточках берестяных и утешливым взглядом смотрел поверх сникшего мниха на озеро, задёрнутое штормой тумана, за которым упряталась увечная лебедь, проговорил:

— А и с умом воровать — суда не миновать.

— Не миновать, — не поднимая головы, покорливо признал Никон. — Но-о... Есмь у меня надежда едина, кабы её управить ладнее. — И с отчаянием, замешливо, начал выговаривать. — Фёдор Лексеевич, наследыш тишайшего, всё-то грамотки шлёт-ёт, всё-то про-осит моего прощения рукой на бумаге родителю безрассудному и молитв разрешительных. А кого я смею — священства лишенный мних?

— Аки мних и потшись, — тихнул голосом старец. — Слова твои ангелы слышали и на свиток записали, да ведомо будет... Сказываю тебе — потшись.

— Николи! — Никон зло отпнул посохом камешек, он отлетел в туман и там пичкнул в озеро, будто обиженно всхлипнул. — Я ишшо не самошедшай! Пущай поклонно зовёт на престол мой московской. Ужо там в Большом Успении при народном множестве, я, как есмь патриарх Российской, отпущу государю усопшему прегрешения его и помолюсь с иерархами русскими пред святыми мощами во спасение души его. Наче — никак. Наче некомуждо станет и за меня, одним грехом с государем грешного, Господу докучать о милости.

— Как же Иоаким, — совсем уж шепотом прошелестел старец. — Ноне он патриарх.

— Самоставник царской, не патриарх! — вскричал Никон. — Вот его с митрополитами, им ставленными — Лариошкой, да Пашкой, да греков-иудов за хлеб-соль мою распявших меня аки Христа — заломлю наипервейше, потом уж покаяние Господу скажу за грех мой вероотступный. Тако учну, как покойный Иван Неронов наушал. Со слому!

То ли камыш прибрежный еле шумнул, то ли старец затухающе молвил:

— На Руси што ни ломать, чужих бесов не звать, свои есть...

— Е-е-есть... — истаявшим эхом донеслось до чутких ушей Никона.

Он оторопно вскинулся, но сугробного старца никак не нашарил растерянными глазами, подумал: «Явился не зван, отступился не гнан». И вдруг от боли — взрывом-полымем, распёршим голову, замотал мокрыми патлами, тщась вытряхнуть из неё нестерпимую жечь, как из кадила раскалённые добела уголья, и не слышал, как за спиной на монастырской колокольне кто-то раз один гулкнул в ночной колокол. Звон испуганно запорхал над обителью, но его тут же ухапала, как сглотнула, промозглая темень...



ПРОТОИЕРЕЙ ЕВГЕНИЙ СТАРЦЕВ

## Посольский монастырь и миссия за Байкалом

Есть удивительное место на Земле, одно из самых красивых и загадочных, с глубочайшей историей, уникальной природой и удивительными людьми, живущими окрест. Это озеро Байкал. Нам, живущим здесь, многое кажется уже привычным. Так обычны для нас чистая вода, воздух, искренность отношений между людьми, прямота в суждениях и жертвенность в исполнении долга, добрососедские отношения, терпение. Кажется, таким Прибайкалье было всегда. И люди, которые живут здесь, всегда были такими же. И мне совершенно точно известно, что нет лучше места на Земле. Тайны нашего прошлого живут и в нас, часто заставляя найти в себе силы пытаться их постичь. Может быть, еще и для того, чтобы понять, что же будет с нами в будущем, далеко и не очень.

Последние десятилетия для многих стали временем потрясающих открытий и откровений. Возвращение людей к вере и традиции, обретение в себе Бога и желание быть христианином перевернуло сознание и жизнь уже миллионов. Жить христианской жизнью сегодня одновременно трудно и легко. Трудно потому, что вообще идти за Христом почти невыносимый подвиг. А легко — потому что идти приходится вместе с Ним и со многими такими же, как ты.

Наше время — это время свободы для проповеди и дела просвещения. Никто нам сегодня не мешает заниматься изучением своей истории и богословской традиции, воспитанием детей и молодежи в православной вере, не препятствуют нам идти со Словом Божиим к находящимся в узах, к страждущим и больным, творить дела милосердия. Больше того, от нас этого везде ждут. Мы увлечены приобщением к своим истокам, и благоприятная для этого пора позволяет нам проявить пылливость в осознании того, какой исторический путь прошло наше российское государство и церковь.

Обратимся к истории Сибири и Байкальского края XVII века. Россия стремительно продвигалась на восток. Буквально за несколько десятков лет от начала этого движения на территорию, прилегающую к Байкалу, пришли послы, миссионеры, купцы, служивые люди. Сейчас можно только представить, с какими трудностями столкнулись люди, постигая лежащие перед ними невыносимые просторы. Но, так или иначе, пришло время Сибири становиться под Русскую державу.

Самым главным и одновременно непростым было установление добрых отношений с теми, кто жил здесь уже многие столетия до этого времени. Братание шло мучительно, неровно, часто кроваво. Сибирякам еще только предстояло перевариться в котле человеческих страстей, ревности, подозрительности, неуступчивости, прежде чем они стали теми, кто есть теперь.

Неожиданным, покрытым тайной стало убийство в 1650 году на восточном

берегу Байкала посла Ерофея Заболоцкого, его сына и других участников экспедиции, которые были отправлены тобольскими воеводами в Мунгальскую землю к Цысану-хану и к зятю его Турукаю-Табуну для переговоров о вступлении в «подданство великому царю», выраженное ими ранее.

Послы были вероломно и неожиданно убиты напавшими на них «бращкими людьми» (бурятами). Вскоре прибыли мунгалы и силой заставили переводчика Семёнова продолжить путь и разыграть роль посла. Семёнов справился со своей задачей с большим достоинством; его статейный список был приведен Н. Оглоблиным в «Историческом вестнике» 1891 года.<sup>1</sup>

Реакция царской власти была довольно жесткой. Сюда были отправлены казаки, которые проводили объяснение народов, живших в Восточной Сибири. Во все времена единственным смыслом российской государственности было спасение своего народа для Царства Небесного. Поэтому церковь стремилась привести и народы, жившие вне православия, к свету Христовой веры. Миссионеры оказывались востребованными людьми в передовых отрядах землепроходцев, покорявших сибирские территории. Можно сказать, что православная миссия началась практически сразу по приходу в Сибирь государевых людей.

Посольский монастырь наряду с главным центром духовной жизни Забайкалья — Селенгинским Троицким монастырем — был основан, как принято считать, как подворье, заимка Троицкого монастыря в 1681 году на месте убийства тех самых послов. Игумен Феодосий по благословению тобольского митрополита Павла был отправлен в Забайкалье с миссией в Дауры. Отправляя Даурскую духовную миссию из Тобольска в Забайкалье, Сибирский и Тобольский митрополит Павел 13 и 15 мая 1680 г. дал ей наказ: «Приехав в Дауры, в Селенгинском и в иных даурских городех и острожках иноверцов всяких вер к истинней православной христианстей вере призывати... со всяким тщанием и прилежанием, безлестно, и крестити их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и приводит к тому святому и Божию делу иноверцев без чтеславия и гордости, с благоучительным намерением, без всякого озлобления»<sup>2</sup>. В наказе митрополита Павла также содержалось благословение основать на р. Селенге или в каком-либо другом удобном месте монастырь во имя Святой Троицы.<sup>3</sup>

Дауры — народ, представители которого в настоящее время проживают в северной части Китая в основном во Внутренней Монголии и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Входят в 56 официально признанных национальностей страны. По религиозным верованиям — шаманисты.<sup>4</sup> Они были расселены в Забайкалье и были известны своим нравом кочевников, не приобщенных в ту пору ни к китайскому государству, ни к российскому.

Свято-Троицкий Селенгинский монастырь был основан на р. Селенге. Монастырская же заимка — на мысе Посольском. Духовная жизнь начала обустраиваться там, где была пролита кровь невинных жертв. Но, как водится, именно на крови угодников Божьих и зиждется дело Христово.

Монастырь начал обустраиваться быстро. Отсутствие дорог, как с южной стороны Байкала, так и с северной, заставляло путешественников вплавь преодолевать великую водную преграду. Все, кто переправлялся с западного берега Байкала на восточный, прибегал к стенам Посольской обители и получал там для себя духовную поддержку, а подчас и необходимые средства для дальнейшего путешествия. Позже, когда появились другие пути, роль Посольского монастыря как важного транспортного узла постепенно была утрачена.

Благодаря покровительству царской семьи Селенгинскому и Посольскому монастырям, духовная и хозяйственная жизнь обитателей стала осуществляться за счет обширных земельных угодий, которые были им приписаны.

С 1683 г. Посольскому и Селенгинскому монастырям принадлежало устье р. Селенги с богатыми рыбными ловлями. В 1688 г. Троицкому монастырю была пожалована Темлюйская деревня, летом следующего года монастырь получил «заречешные по Селенге покосы». С 1701 г. Даурской духовной миссии принадлежала Кударинская вотчина по правобережью устья Селенги. Здесь предполагалось основать монастырь для новокрещеных бурят, поэтому в этой вотчине оставалось около половины хлебных запасов миссии «про брацкии обиход, и работным людям, и новокрещеным, и иноверцам, понеже то для новокрещеных и обитель оная велено строить» (впрочем, частые наводнения не способствовали развитию в этих местах земледелия). В начале 30-х гг. XVIII в. здесь была построена Благовещенская церковь.

В 1704 г. Троицкий монастырь стал владельцем богатой Хилоцкой вотчины в нижнем течении р. Хилок, где были сосредоточены основные бурятские кочевья. В 1708 г. к вотчине присоединили земли в устье Хилка, в 1720 г. — деревню Буй. В 1729 г. Троицкий монастырь получил обширные сенные покосы по р. Киреть, между реками Чика и Хилок, через год — пахотные земли и выгоны для скота по левобережью Хилка до Бичуры и до Кирети. Вследствие этих пожалований монастырскими стали деревни и заимки Хилоцкой вотчины: Еланская, Сухой Ручей, Бичура, Узкий Луг, Буй, Красная Слобода и Куналей. В 1723 г. в центре Хилоцкой волости, с. Харитонове, насчитывалось 37 дворов. Позднее эти русские поселения вошли в состав Мухоршибирской и Куналейской волостей и стали вторым по значимости центром христианской культуры в Западном Забайкалье. В 1724 г. во владения Троицкого монастыря перешло Котокельское озеро со всеми впадающими в него реками, с сенокосными угодьями. Дворы, земельные участки, промышленные заведения, принадлежавшие монастырям Даурской духовной миссии, появились в Селенгинске, Удинске, Кяхте, Иркутске.

Всего во владениях миссии распахивалось около 200 десятин земли, миссия получала 25 пудов зерна с каждого двора как продуктовую ренту. Монастырские мельницы обслуживали не только приписных крестьян, но и посадских людей, а также земледельцев всего Западного Забайкалья. Излишки хлеба продавались, в первой половине XVIII в. монастырская торговля хлебом стала значительным фактором в развитии экономики Забайкалья, то же самое можно сказать о торговле рыбой и солью с монастырских ловлей и варниц.

Получая от правительства земли, монастыри устраивали на них заимки и деревни, в которых селили всех, кто пожелает обосноваться в Забайкалье: людей «гулящих», беглых, «присыльных» из Центральной России. С конца XVII в. в связи с освоением нерчинских серебрянорудных месторождений правительство стремилось к расширению пахотных угодий в Восточном Забайкалье для поселения приписных к серебряноплавильным заводам крестьян. При этом правительство опиралось на помощь Посольского и Селенгинского монастырей, которым был дарован ряд льгот, в частности разрешение селить на своих землях «беспаспортных» и беглых. Жизнь крестьян во владениях Даурской духовной миссии во многом регулировалась монастырским уставом, и они являлись проводниками христианства в местной языческой среде.

На монастырских землях образовывались селения крещеных бурят, стремив-

шихся устроить свой быт на новых основаниях и не смешиваться с кочевой языческой средой. Таковы были приходы Троицкий, Посольский, Куядский, Кударинский, Голоустный, Твороговский, Куналейский, Еланский. (Число крещенных членами Даурской духовной миссии бурят и тунгусов неизвестно из-за частых пожаров, уничтоживших архивы миссии, в том числе «записные о новокрещенных имянные книги».) Развитие нового для Забайкалья типа хозяйствования — земледелия наравне с организацией рыболовного, солеваренного и прочих промыслов позволяло создать надежную экономическую базу жизни новокрещенных. По мнению ученых, к нач. XVIII в. относится переход бурят к земледелию, причем первыми стали заниматься землепашеством буряты, принявшие крещение, что было заслугой Даурской духовной миссии. Монастыри способствовали бракам русских переселенцев с новокрещеными бурятками и тунгусками, давали на обзаведение дом, скот, зерно; семьи расселялись «за Селенгою на речке Кударе в пустых местах». В Забайкалье стали появляться «карымы», родившиеся от смешанных русско-бурятских браков.<sup>5</sup>

Но главным в монастырской жизни остаются молитва и просвещение. Даурская миссия, начавшаяся в 1681 году, просуществовала недолго. В территорию окормления миссией входила в том числе и территория современной Иркутской области. «... Из приложенной от Слопцова табели видно, что в 1727 г. в состав Иркутской епархии вошли... В городе Иркутске 9 церквей... В Иркутском дискрикте церкви: Идинская Троицкая, Балаганская Спасская, Бельская Сретенская, Кудинская Троицкая, Оецкая Афанасия и Кирилла, Бадайская Николаевская, Олонская Благовещенская, Усольская и Уриковская обе во имя Нерукотворенного Образа, Китайская Христорождественская, Вверх-Иркутская Введенская, Верхоленская Воскресенская, Бирюльская Покровская, Манзурская Введенская и Агинская Ильинская...».<sup>6</sup>

К началу XVIII века тибетский ламаизм стал проникать на территорию России. Конфликт между двумя центрами духовной жизни — ламаистским Тибетом и православной Москвой — оказался неизбежным. Проникновение лам в Забайкалье стало настолько масштабным, что не считаться с этим московское правительство уже не могло. В 1734 г. из-за опасения осложнений в отношениях с Китаем русское правительство запретило миссионерскую деятельность в Восточной Сибири. К середине XVIII в. среди забайкальских бурят широко распространился ламаизм, поскольку по условиям Буринского и Кяхтинского договоров (1727–1728 гг.) российское правительство обязалось этому не препятствовать, в результате чего в Забайкалье прибыли 50 тибетских и 100 монгольских лам.<sup>7</sup>

Можно видеть, что коренные жители буряты, жившие к востоку от озера Байкал, были со временем почти полностью посвящены в религиозную жизнь буддизма. Тунгусские племена и буряты, исповедовавшие шаманизм, были вытеснены в северные районы Забайкалья и Прибайкалья. К рубежу XVIII–XIX веков к востоку от Байкала бурятское население было практически полностью ламаизировано.

Итоги работы миссии сегодня требуют серьезного осмысления. Епископ Вениамин (Благонравов) в «Письмах из Посольского монастыря» относил окончание деятельности Даурской духовной миссии к времени после назначения настоятеля Посольского монастыря архимандрита Илариона (Труса) в 1734 г. главой Пекинской миссии с оставлением в должности настоятеля и после кончины архимандрита Мисаила (1743).<sup>8</sup>

Знаменательным событием в духовной жизни Забайкалья стало появление в наших краях святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутско-



го, направлявшегося для окормления оказавшихся в китайском плену албазинцев. Албазинцы — это потомки русских казаков — поселенцев пограничного с Китаем острога Албазин, основанного Никифором Черниговским в 1665 году на Амуре (ныне с. Албазино Амурской области) на предполагаемом месте расположения крепости даурского князя Албазы, сожженной дотла Е.П. Хабаровым в 1651 г.<sup>9</sup> Промыслом Божиим и интригами иезуитов при китайском императорском дворе, будущий святитель в Китай допущен не был. Большую часть лет, проведенных в Сибири, он жил в пределах Селенгинского Троицкого монастыря — в Староселенгинске. Усматривается прямая связь между его появлением и оживлением миссионерской идеи. Находившаяся в упадке государственная и духовная жизнь в Забайкалье требовала обновления. Святитель Иннокентий за три года смог преобразить жизнь в этом крае настолько, что из глухой провинции окрестности Байкала стали местом служения великих угодников Божьих: по его стопам последовали святитель Софроний Иркутский, святитель Иннокентий, митрополит Московский, святитель Мелетий, епископ Рязанский, преподобный Варлаам Чикойский.

С начала XIX в. церковные власти рассматривали идею учреждения новой миссии для активизации проповеди среди бурят, эвенков и других местных народов. Деятельность миссионеров в Забайкалье активизировалась с 1814 г. при Иркутском епископе Михаиле (Бурдукове). В 20-30-х гг. XIX в. миссионерским делом в селениях по берегам рек Уда, Она, Чесан, Кижинга, Хилок, Селенга и других заведовал священник Александр Бобровников, составивший грамматику бурятского языка. В 1830 г. при Иркутской епархии был создан Комитет по делам духовной миссии. Из-за нехватки средств и сотрудников, а также активизации буддизма успех миссионеров оказался незначительным.<sup>10</sup>

Продолжением дела Даурской духовной миссии стало учреждение Забайкальской духовной миссии в 1861 г. К тому времени был накоплен богатый опыт успешных миссий Америки и северо-востока Сибири. Благодаря деятельности святителя Иннокентия Вениаминова были заложены новые принципы организации миссионерского дела.

Центром вновь образованной миссии стал Посольский Спасо-Преображенский монастырь. В 1861 году было образовано Селенгинское викариатство, во главе которого, а также начальником Забайкальской духовной миссии стал епископ Вениамин (Благодеров). Епископ Вениамин в течение шестилетнего управления миссией, без всякого пособия от казны, благодаря частной благотворительности, со своими соратниками устроил 11 миссионерских станов с церквями, домами для миссионеров, псаломщиков и учеников при них, богадельню для престарелых и больных новокрещенных и центральное училище в Посольском монастыре<sup>11</sup>, которое было учреждено в 1862 году.

В ученики набирались дети из инородческих новокрещенных семейств с целью приготовления их к миссионерскому служению. Состав учащихся был разделен на два отделения, старшее и младшее. В первом обучались чистописанию, священной истории, пространному катехизису, объяснению богослужения, церковному пению, арифметике, русской грамматике, географии, русской истории и книжному монгольскому языку. Младшие учились русскому чтению и письму, молитвам, краткой священной истории, краткому катехизису, а некоторые чтению и письму на монгольском языке и пению. В 1866 г. обучалось 18 мальчиков и одна девочка. Из них трое было приходских, а остальные на монастырском содержании.<sup>12</sup>

Миссионерское училище помещалось в монастырских зданиях. Современные исследователи указывают на развитую инфраструктуру монастырского комплекса, включавшую в себя: Спасо-Преображенский собор, Никольскую церковь, монастырские кельи, Святые Врата с лестницей, часовню Заболоцкого, часовню Г.А. Осколкова, угловые башни, монастырскую ограду, мемориальный комплекс (могилу посла и его спутников), трапезную, главные входные Ворота с часовней во имя Иоанна Богослова с восточной стороны (со стороны с. Посольское).

Центр Забайкальской духовной миссии в Посольском монастыре просуществовал недолго — всего 18 лет. Уже в 1880 году кафедра Селенгинского викариата из Посольска была перенесена в г. Читу.

В чем был смысл организации миссионерской деятельности, ее стиль, изюминка и отличительные черты? Безусловно, очень серьезное идеологическое и методологическое влияние на работу миссии оказал святитель Иннокентий (Вениаминов). Одной из успешных миссий, осуществленных Русской православной церковью, стала миссия Американская, которая благодаря святителю и его сподвижникам закрепила за Аляской именование Русской Америки. Само содержание духа и следа, оставленного русской цивилизацией, до сих пор не могут быть уничтожены.

Когда нам довелось на небольшом парусном корабле проходить между островами Алеутской гряды, нам особенно стало понятно, какими трудами этот континент навсегда останется русским. Господь сохранил святителя Иннокентия и его уникальный опыт для будущих миссионеров, сберег народы, вошедшие через проповедь христианской веры в число цивилизованных народов мира. И этот опыт был востребован в организации Забайкальской духовной миссии.

Святитель Иннокентий считал обязанностью православного духовенства поддерживать все добрые обычаи, существующие у кочевых народов, и одновременно не возлагать на недавно пришедших к Вере Православной «бремена тяжелые и неудобноносимые»<sup>13</sup>. Нельзя, учил святитель Иннокентий, например, требовать от кочевников отказа от мясной пищи во время постов, так как мясо их основная, а нередко и единственная пища. Благодаря по-христиански разумному подходу к святому делу миссионерства, когда православный проповедник, по слову святого апостола Павла, для всех «сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых»<sup>14</sup>, не отступая при том от догматов и канонов Святой Церкви, многие нехристиане обратились к Православию.<sup>15</sup>

То есть необходимо, чтобы народ не почувствовал не только насилия над своей традиционной духовной культурой, но и увидел радость и естественность своего вхождения в мир православия. В этом смысле серьезное научное рассмотрение опыта этой миссии сегодня для нас с вами звучит особенно актуально.

Можно ли говорить, что миссия завершена? Пока существует Церковь, ее миссия не заканчивается. Она лишь с каждой новой исторической эпохой приобретает новые черты и особенности. И народы, живущие в Сибири и Америке, ждут своих миссионеров, которые обязательно придут и укажут им тот путь в Царствие Небесное, по которому шли наши предки, населявшие некогда и наш Байкальский край, и Русскую Америку, и другие территории нашего славного отечества. А возрожденная духовная жизнь Посольской обители — прямое этому свидетельство, обнадеживающее послание из прошлого, указывающее нам на то, что миссия продолжается.

## Библиографические сведения

- <sup>1</sup>Заболоцкий Ерофей. Биография. [Электронный ресурс] // Академик / URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25975>
- <sup>2</sup>История Российской духовной миссии в Китае: Сб. ст. М., 1997. С. 42
- <sup>3</sup>Жалсараев А.Д. Даурская духовная миссия // Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. — Т.14. — С. 217.
- <sup>4</sup>Дауры. [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. / URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F3%F0%FB>
- <sup>5</sup>Жалсараев А.Д. Даурская духовная миссия... С. 218-219.
- <sup>6</sup>Громов П. Иннокентий Святой, 1-й епископ Иркутский. Начальный состав Иркутской епархии // Иркутские епархиальные ведомости. Прибавления. 1863. № 23. С. 344.
- <sup>7</sup>Жалсараев А.Д. Даурская духовная миссия... С. 219.
- <sup>8</sup>Там же.
- <sup>9</sup>Албазинцы. [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. / URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%E1%E0%E7%E8%ED%F6%FB>
- <sup>10</sup>Жалсараев А.Д. Забайкальская духовная миссия // Православная энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. — Т.19. — С. 427.
- <sup>11</sup>Мелетий, еп. Отчет о состоянии и деятельности Забайкальской духовной миссии за 1885 год // Иркутские Епархиальные Ведомости. Прибавления. 1886. № 29. С. 329-336.
- <sup>12</sup>Вениамин, еп. Забайкальская духовная миссия в 1866 году // Иркутские Епархиальные Ведомости. Прибавления. 1867. № 14. С. 160.
- <sup>13</sup>Мф. 23:4
- <sup>14</sup>1 Кор. 9:22
- <sup>15</sup>Внутренняя миссия в Восточной Сибири в XIX в. и Посольский Спасо-Преображенский монастырь. [Электронный ресурс] // Читинская епархия. / URL: <http://www.eparhiachita.ru/index.php/ct-menu-item-357/ct-menu-item-359/ct-menu-item-363/ct-menu-item-397/ct-menu-item-407>

## ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЬ,

ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

## СЕРГЕЙ ДОЦЕНКО,

ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА, ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

# Русоцентризм

В среде российских антисоветчиков всех мастей неизменно популярным (относительно, конечно, ибо этой тенденции уже больше тридцати лет!) является утверждение: тридцать лет Советским Союзом правил держиморда-грузин, ненавидевший всё русское. Так ли это? Попробуем разобраться.

Некоторые авторы, даже позиционирующие себя как русские историки, ничтоже сумняшеся, утверждают, что лишь военная угроза коммунистическому режиму заставила лидера ВКП(б) сменить риторику с интернационалистской на почвенную, патриотическую, не от хорошей жизни, мол.

Действительно. Речи Сталина в ноябре 1941 г. звучат именно как державно-патриотические. «...И эти люди, лишённые совести и чести, люди с моралью животных имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации — нации Плеханова и Ленина, Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!.. Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы хотят иметь истребительную войну, они её получают. Отныне наша задача, задача народов СССР, задача бойцов, командиров и политработников нашей армии и нашего флота будет состоять в том, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве её оккупантов. Никакой пощады немецким оккупантам! Смерть немецким оккупантам!» — провозгласил Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1941 года, когда нацистские немецкие войска стояли на расстоянии менее 100 км до Москвы, а во всём мире считали дни до её сдачи.

На следующий день, на параде 7 ноября (ни одна бы другая страна в мире не рискнула проводить военный парад в условиях, когда вражеская армия стоит под стенами столицы) вождь ещё более конкретизировал свою мысль, обращаясь к воинам своей армии: «Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!».

Но когда же произошёл этот поворот к идее русского патриотизма? И в 1941 ли? На наш взгляд, в 1929. В год высылки Троцкого за пределы СССР.

Троцкий — реальный антипод Сталина, его смертельный враг. Воплощение «перманентной» революционности, столь глубоко чуждой Кобе. Человек, для которого «лапотная Россия» всего лишь «вязанка дров» в костёр мировой революции, мелкая разменная монета на пути к глобальному успеху. И у него колоссально много сторонников в партии и в стране. По сути, в 20-е годы XX века в Советском

Союзе большевистская партия превратилась в арену борьбы И.В. Сталина с Л.Д. Троцким не только за власть, но и за будущее страны. Следует отметить, Лев Давыдович был человеком талантливым и незаурядным. Писатель Владимир Карпов пишет: *«Он был блестящий оратор, очевидцы свидетельствуют, что Троцкий своим сочным громким голосом, с великолепной дикцией, зажигательным темпераментом и неотразимой революционной логикой, буквально завораживал, гипнотизировал слушателей. И даже те, кто несколько минут назад были настроены против него, перевоплощались под влиянием его речи и готовы были идти за ним в огонь и воду».*

В борьбе все средства хороши. Снова свидетельствует В. Карпов: *«Вместо того, чтобы решать народнохозяйственные задачи и выполнять решение съезда об индустриализации, оппозиционеры продолжали расширять единство партии, навязывали всякие дискуссии, дискредитировали ЦК и Сталина. В сентябре 1927 года они направили в ЦК ВКП(б) «Платформу 13». Она называлась так потому, что ее подписали тринадцать троцкистов, в том числе Каменев, Зиновьев, Троцкий и другие. Платформа представляла собой программу на многих страницах, официально она называлась «Проект платформы большевиков-ленинцев (оппозиция) к XV съезду ВКП(б)», в скобках («Кризис партии, пути его преодоления»). Почти на ста страницах в двенадцати разделах излагались подробно вопросы международные, народнохозяйственные, партийные и главное — борьба за власть и смещение Сталина.*

*Платформа представляла собой очень путаный документ, в котором правильные партийные положения были перемешаны с троцкистскими взглядами. Была в ней и подтасовка, и ложь — лишь бы привлечь на свою сторону широкие массы членов партии перед съездом»* (Там же).

Карпов отмечает, что в документе было замаскировано *«прямое провокационное жульничество против Сталина»: «Свою платформу оппортунисты требовали опубликовать для предсъездовской дискуссии. Им было отказано, тогда они создали подпольные типографии в Москве, Харькове, Ленинграде и стали сами печатать эту платформу и другие материалы. Таким образом, оппозиционеры не только нарушали партийную дисциплину, но и советскую законность. В Москве была обнаружена нелегальная типография, созданная Мрачковским. Его арестовали. Троцкий стал защищать, публично солидаризировался с подпольщиками, хвалил их, называя честными борцами»* (Там же).

По сути в Советском Союзе в середине 20-х годов разворачивалась, говоря современным языком, настоящая «цветная революция». Цель — свержение «узурпатора Сталина». Опорой Сталина в борьбе с Троцким и троцкистами стали рабочие и крестьяне, пришедшие в партию в 1924 году: *«В партию пришли новые молодые силы, не зараженные инфекцией троцкизма и оппортунизма. Это был вошедший в историю партии «Ленинский призыв»: из общего числа коммунистов — 735 000 в 1924 году — 241 591 были представителями этого ленинского призыва»* (Там же).

А вот покончив с борьбой за власть в партии и стране, Сталин относительно спокойно мог заняться, наконец, преобразованиями страны в том духе, в котором ему виделось её будущее. Весьма характерно тут письмо Сталина поэту Демьяну Бедному, которого интернационализм давно заводил «не туда» (в его «творениях» «Перерва» и «Слезай с печки»), письмо ясно показывает контуры будущей страны: *«12 декабря 1930 г. Т[овари]щу Демьяну Бедному. Письмо Ваше от 8.XII*

получил. Вам нужен, по-видимому, мой ответ. Что же, извольте... Существует, как известно, «новая» (совсем «новая»!) троцкистская «теория», которая утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь «Перерва». Видимо, эту «теорию» пытаетесь Вы теперь применить к политике ЦК в отношении «крупных русских поэтов»... Перейдем к существу дела.

В чем существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и умело, увлекла Вас сверх меры и, увлекши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях в клевету на СССР, на его прошлое, на его настоящее. Таковы Ваши «Слезай с печки» и «Без пощады». Такова Ваша «Перерва», которую прочитал сегодня по совету т. Молотова... Я хвалил этот фельетон..., так как там (как и в других фельетонах) имеется ряд великолепных мест, бьющих прямо в цель. Но там есть еще ложка такого дегтя, который портит всю картину и превращает ее в сплошную «Перерву». Вот в чем вопрос и вот что делает музыку в этих фельетонах. Судите сами.

Весь мир признает теперь, что центр революционного движения переместился из Западной Европы в Россию. Революционеры всех стран с надеждой смотрят на СССР как на очаг освободительной борьбы трудящихся всего мира, признавая в нем единственное свое отечество. Революционные рабочие всех стран единодушно рукоплещут советскому рабочему классу и, прежде всего, русскому рабочему классу, авангарду советских рабочих как признанному своему вождю, проводящему самую революционную и самую активную политику, какую когда-либо мечтали проводить пролетарии других стран. Руководители революционных рабочих всех стран с жадностью изучают поучительнейшую историю рабочего класса России, его прошлое, прошлое России... Все это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских рабочих чувство революционной национальной гордости, способное двигать горами, способное творить чудеса.

А Вы? Вместо того, чтобы осмыслить этот величайший в истории революции процесс и подняться на высоту задач певца передового пролетариата, ушли куда-то в лощину и, запутавшись между скучнейшими цитатами из сочинений Карамзина и не менее скучными изречениями из «Домостроя», стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную «Перерву», что «лень» и стремление «сидеть на печке» является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими. И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата.

Может быть, Вы, как человек «грамотный», не откажетесь выслушать следующие слова Ленина: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов...». Вот как умел говорить Ленин, величайший интернационалист в мире, о национальной гордости великороссов. А говорил он так потому, что он знал, что: «Интерес (не по-холопски понятый) национальной гордости великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) пролетариев»...

*Возможно ли примирить эту революционную «программу» Ленина с той нездоровой тенденцией, которая проводится в Ваших последних фельетонах? Ясно, что невозможно. Невозможно, так как между ними нет ничего общего... Вы требовали от меня ясности. Надеюсь, что я дал Вам достаточно ясный ответ. И. Сталин».*

Ещё 25 января 1930 года И.В. Сталиным было дано указание Главнауке прекратить разработку вопроса о латинизации русского алфавита, т.е. окончательно была похоронена идея-фикс, принадлежавшая наркому просвещения А. Луначарскому.

В свете данного письма становятся понятными дальнейшие шаги вождя:

1. Ликвидация «исторической школы Покровского», которая небезуспешно выкорчевывала русскую, традиционную историческую школу.

2. Воспрещение всяких «реформ» и «дискуссий» о «реформе» русского алфавита (постановление ЦК ВКП(б) от 5 июля 1931 г.).

3. Прямой запрет генсеком латинизировать алфавит тех народностей, которые применяют русскую письменность.

4. Создание вместо пропитанного троцкизмом РАППа Союза советских писателей.

5. Перевод, начиная с 1936 г., всех языков народов СССР на кириллицу, что было в основном завершено к 1940 г. (некириллизированными из распространенных в СССР языков остались немецкий, грузинский, армянский и идиш).

6. Развёртывание в СССР мощной пропагандистской компании в литературе, театре и кино по возвращению к исторической теме национальной традиции (обращаем внимание — совершенно не в 1941 году, а в 1930-е годы!): такие кинофильмы, как «Тихий Дон» (ещё немой, 1930 г., первая экранизация романа М. Шолохова), «Гроза» (1933 г., по пьесе А. Островского), «Пётр Первый» (1937 г.), «Александр Невский» (1938 г.), «Суворов» (1940 г.), «Богдан Хмельницкий» (март 1941 г.) и другие.

7. Уничтожение антинациональной «пятой колонны». Об этом пишет П.А. Судоплатов: *«Жизнь показала, что подозрительность и ненависть Сталина и руководителей ВКП(б) к политическим перерожденцам и соперникам в борьбе за власть имели под собой реальную почву. Решающий удар по КПСС и Советскому Союзу в 1990—1991 годах был нанесён именно группой бывших руководителей партии»* (Судоплатов П.А. Победа в тайной войне: 1941—1945 гг. М., 2019, с.34).

8. Введение орденов, посвященных русским полководцам и флотоводцам.

9. Возвращение в армию исконно русской формы, традиционных воинских званий, погон и передовых традиций русской военной школы, возрождение кадетских корпусов под названием суворовских и нахимовских военных училищ, учреждение советской гвардии и конных казачьих корпусов.

10. Использование в тексте советских листовок, обращённых к Германии, немецкой армии и немецкому народу идеи непрерывности русской военной традиции, объединяющей разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера 1242 г., в битве под Грюнвальдом 1410 г., победы русских в ходе Семилетней войны (1756–1763) и в период военной интервенции 1918 г. Так, советская листовка «В борьбе за правое дело русский воин непобедим!» заканчивалась обоснованным выводом: *«Русский воин побеждал потому, что защищал свою Родину от иностранных захватчиков, потому, что вёл справедливую борьбу. Ты видишь, как храбро и мужественно дерётся русский воин сегодня. Ты видишь его извечные качества: несокрушимую*

*стойкость в обороне, неодолимую храбрость и напористость в наступлении. Не одолеть вам силы русского воина!»* (Политическая работа среди войск и населения противника в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). М., 1971, с. 70–73).

11. Возрождение, в пику прозападной РПЦЗ, Русской Православной Церкви с избранием Патриарха.

12. Учреждение национального гимна со словами:

*«Союз нерушимый республик свободных  
Сплотила навеки Великая Русь.  
Да здравствует созданный волей народов  
Единый, могучий Советский Союз!..  
Мы армию нашу растили в сраженьях.  
Захватчиков подлых с дороги сметём!  
Мы в битвах решаем судьбу поколений,  
Мы к славе Отчизну свою поведём!  
Славься, Отечество наше свободное,  
Славы народов надёжный оплот!  
Знамя советское, знамя народное  
Пусть от победы к победе ведёт!»*

Впоследствии эти чеканные фразы из текста гимна СССР благополучно исчезли.

Сам композитор Александров писал: *«Мне хотелось соединить жанры победного марша, чеканной народной песни, широкого эпического русского былинного распева».*

13. Борьба с «безродным космополитизмом» и прозападным «низкопоклонством».

14. Знаменитая речь 24 мая 1945 г., произнесённая Сталиным в Георгиевском зале Кремля на приёме советских полководцев (текст приводим по стенограмме):

*«Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост. Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура».) Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне, и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение. У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–42 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что не овла-*



*дели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы всё-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое! За здоровье русского народа! (Бурные, долго несмолкаемые аплодисменты)».*

Всё это — звенья одной цепи.

Вышеизложенное говорит о том, что выстраиваемую И.В. Сталиным государственную систему можно назвать русоцентризмом, т.е. соединением социалистической идеи с русским патриотизмом.

Основной идеей русоцентризма служит понимание того факта, что русский народ является государствообразующим народом, привлекает в орбиту своего развития другие, преимущественно соседние народы. Основной центральной созидательной силой в России считаются русские со своим языком и культурой. Русоцентризм не преследует целью унижить представителей нерусских народов. Для нерусских народов в советское время введен термин «братские народы», что подчеркивало близость и привязанность к русскому народу и государству.

Возможно, это и есть идеология будущего для России?

*«Учиться у Сталина».*

*[https://ruskline.ru/news\\_rl/2020/09/28/uchitsya\\_u\\_stalina](https://ruskline.ru/news_rl/2020/09/28/uchitsya_u_stalina)*

*(в журнале использован новый заголовок статьи)*

МИХАИЛ ОРФАНОВ

## Сибирские колонизаторы

Очерки

*От редакции:* В одном из номеров журнала «Сибирь» редакция опубликовала первый очерк Михаила Орфанова, сибирского писателя-очеркиста XIX века, «Вояж сибирского купца. Из путевых воспоминаний», а ныне публикуем несколько очерков талантливого сибирского бытописателя. В первом номере журнала предваряет публикацию предисловием Николай Блохин, который и открыл для журнала некогда известного читающей Сибири, а ныне забытого очеркиста.

\* \* \*

Под этим общим заглавием мы предлагаем читателям ряд рассказов или, вернее, очерков, которые будут все посвящены описанию различных типов ссыльного люда и дальнейшей судьбы их в ссылке. Так как мы описываем только то, что непосредственно видали и наблюдали, то не наша вина, если влияние ссылки в одном случае окажется совершенно противоположным, чем в ином, т. е. если на одних ссылка оказывает благотворное влияние, вызывая в человеке энергию, желание подняться хоть до уровня окружающих его свободных людей, в других же оно окончательно добывает и тот малый запас честности, искренности и энергии, с которым данный субъект прибыл в ссылку. Мы воздержимся от всякого рода выводов и обобщений, ограничившись скромною ролью бытописателя.

### I

#### Из «золотой молодежи»

В 187\* году, в И-е, обращал на себя общее внимание так называемого «порядочного общества» один недавно прибывший из Петербурга молодой человек Лев Сергеевич Бойцов. Это был высокий красавец-блондин, с великолепными бакенбардами, с которыми он как-то особенно умел обращаться, так что они необыкновенно шли к его молодцеватой, изящной фигуре и составляли немалый предмет зависти для наших местных львов, как военных, так и штатских. Прибыл он из Петербурга по делам: обладая хорошими средствами, он, по его словам, совершенно случайно встретился с одним из своих товарищей по корпусу, долго прожившим в Восточной Сибири, в качестве управляющего приисками одной выдающейся золотопромышленной компании. В дружеских беседах товарищ его, рассказывая про сибирское житье-бытье, сетовал на недостаток предприимчивости и инициативы у местных капиталистов, привел несколько примеров, показывающих, как трудно в Сибири привлечь капиталы к новому делу, несмотря на очевидную его выгоду, и, между прочим, рассказал, что он тщетно, несмотря на свои знакомства в коммерческом мире, старался устроить компанию для освещения И-а, где оно до сих пор находится в самом печальном состоянии. По словам его, дело это представляет несомненные выгоды, и что он, если бы не нездоровье его жены, лечение

которой требует долговременного пребывания за границей, непременно постарался бы устроить компанию в Петербурге. Мысль эта запала в голову Льва Сергеевича, человека в это время свободного, так как он только что вышел в отставку с чином поручика из одного из старейших гвардейских полков, именно с целью удобнее поместить свои средства в какое-нибудь солидное предприятие. К тому же и новизна края сильно манила его, человека молодого, сильного, энергичного к попытке взять и-е дело на себя.

Приехав в И., он только одни сутки пробыл в лучшей тамошней гостинице, употребив почти целый день на розыски подходящей квартиры.хлопоты его увенчались желанным успехом: в центре города, в одной из улиц, пересекающих главную улицу, так называемую «Большую», неподалеку от нее, он нанял премиальную квартиру из четырех комнат, с кухней внизу, с конюшней и сараем на дворе.

Кое-как устроившись, прикупив мебели, наняв по рекомендации хозяина гостиницы (поляка из сосланных за повстание шестидесятых годов) приличного лакея и получив из литографии свои визитные карточки с городским адресом (это тогда была новость для И-а), на третий день поехал с неизбежным в провинции, а в Сибири в особенности, визитом к выдающимся городским обывателям. Начал он с генерал-губернатора, к которому явился в приемный час вместе с массой разных представлявшихся или откланивавшихся офицеров и чиновников, а также и частных лиц, имевших какое-либо дело до главного начальника края. Представляясь генералу, он тут же объяснил причину своего приезда в И. и просил милостивого содействия его высокопревосходительства. Последний принял его весьма ласково и помимо того, что обещал свою помощь в таком важном, по его мнению, деле, как городское освещение, тут же пригласил Льва Сергеевича к себе, «как-нибудь на днях, вечером, пообстоятельнее потолковать об этом деле». То же или почти то же было с Львом Сергеевичем у губернатора, у членов совета главного управления Восточной Сибири и других местных административных тузов. При одном из этих визитов он встретился с адъютантом генерал-губернатора ротмистром Чемякиным, которого он знал еще будучи на службе в Петербурге, и по совету последнего, знавшего уже основательно нравы И-а, отложил визиты к купечеству и золотопромышленникам до другого дня, с тем, чтобы делать их вместе с Чемякиным: будучи со всеми знаком, Чемякин, конечно, был для него дорогим человеком. В первый же после своих визитов праздничный день Лев Сергеевич, приехав домой часов в пять после обеда, имел удовольствие увидеть у себя на столе массу карточек: это означало, что все те, которые оставили карточки, этим самым заявляли о полном своем желании поддерживать знакомство с Бойцовым. Согласно провинциальному этикету, это давало ему право приехать уже запросто, вечером, в любой из этих домов.

Лев Сергеевич широко воспользовался этим правом: не прошло и двух недель со времени его приезда, как он успел уже занять ампула первого льва, и не было званого вечера, обеда или загородного пикника без его деятельного участия. Лучше его никто из молодых людей не танцевал; шансонетки и отрывки из опереток, которые он мастерски исполнял и по-русски и по-французски, вызывали обыкновенно единогласное и даже бурное одобрение. У своих новых знакомых, людей более или менее состоятельных, он стал очень скоро «своим человеком» до того, что даже поваров учил новым, каким-то необыкновенно пикантным, кушаньям. Выражаясь фигурально, «звезда его взошла высоко» на и-м горизонте. Барыни

и барышни были от него в восторге. Отцы и матери были с ним очень ласковы: «Он такой милый, такой веселый и в то же время не вертопрах! Служа в лучшем гвардейском полку, кружась в лучшем обществе Петербурга, он сумел вовремя остановиться и принялся за серьезное дело. Теперь таких редко встретишь». Словом, Лев Сергеевич сделался баловнем общества. Одно только его несколько огорчало, это «невозможность скоро переписываться с Петербургом, где проживали его компаньоны по предприятию; мало ли возникало вопросов при обсуждении с представителями города об устройстве этого, в высшей степени важного для города дела?» Обо всем «мало-мальски серьезном» ему приходилось писать в Петербург, потому что он, «несмотря на полное доверие своих компаньонов, не хотел брать на себя нравственной ответственности за какое-нибудь упущение в контракте, могущее вовлечь, хотя бы и в ничтожные, убытки компаньонов», а «почта так медленно ходит. Чтобы получить ответ на письмо, нужно, по крайней мере, два с половиной месяца». При подробной разработке проекта выясняется то одно, то другое обстоятельство, не предусмотренное его товарищами. Такого рода объяснения слышали знакомые от Льва Сергеевича, если кто-нибудь, вопреки деликатности, обращался к нему с наивным вопросом:

— Ну, что, батенька, как у вас с нашей думой идет по освещению-то? Уж не тормозят ли?

— Что вы, что вы, да таких милых людей, как ваши думские, нужно еще поискать! Они очень сочувственно относятся к моему проекту, да видите ли какие возникают затруднения... — И Лев Сергеевич начинал свои жалобы на расстояние и проч.

Жил он таким образом, что-то около года, совершенно открыто; вечера у него все нарасхват. Что такое обед дома или в гостинице — он и понятия не имел, быв постоянно завален приглашениями, не исключая и губернаторского дома. Одевался безукоризненно, участвовал во всех пикниках и подписках, не отставал ни в чем от «порядочного общества». Иногда задавал у себя «холостые» пирушки, однако не без женского персонала, доставать который он умел, по его словам, «со dna морского» и который он удивительно скоро культивировал. На таких пирушках портер и шампанское, часто пополам с «fine champagne», играли главенствующую роль и уничтожались в весьма солидных размерах. Постоянно участвуя с Бойцовым в пирушках и попойках, никому из собутыльников его и в голову не приходил вопрос: «На какие же средства мог он это проделывать?» — «Раз человек заявил себя «порядочным», какие же тут вопросы!»

Надо тут отметить одну характерную черту сибиряков состоятельных: они чрезвычайно падки до приезжих молодых людей, и последним очень нетрудно добиться у них кредита, и кредита немаленького; а только приезжий «лев» принят «порядочным» обществом, то отказать ему в небольшой сумме считается как-то «неловким». Черту эту Лев Сергеевич подметил очень скоро и эксплуатировал ее мастерски: встретившись, например, с кем-нибудь из приятелей в клубе, он небрежно, показывая вид, что ему это не существенно важно, кидал на ходу, так сказать, фразу:

— Не богат ли ты *сегодня* капиталом?

— А что, разве нужно?

— Нужно-то не особенно, да вдруг придется за карты засесть, а у меня до послезавтра всего-навсе рублей триста *свободных*, — нужно, значит, маленький резерв...

— Сделай милость, сколько?

— Пустяки, рублей сто-полтораста, — словом, перевернуться дня два-три...

— Есть о чем говорить! Через три дня отдашь, через месяц, — мне все равно.

Получай!

Лев Сергеевич брал эти «пустяки» так, как он взял бы предложенную ему папиросу, не глядя опускал в карман и, едва успев пробормотать что-то вроде «спасибо», уже заговаривал с другим знакомым, на другую совершенно тему, например о необходимости выписки в Восточную Сибирь племенных жеребцов и об устройстве случных конюшен и т. д. в том же роде. Через два-три дня он заезжал к своему кредитору — так, навестить, поболтать кое о чем, и, уже прощаясь, вдруг вспоминал:

— Вот, черт возьми, совершенно из памяти вон! Помнил, выезжая, что мне нужно с тобою по делу поговорить, а забыл! Ведь я твой должник, — смеясь и доставая свой бумажник, говорит он, — получи-ка! Обрати внимание: «новенькие», только что получил из банка перевод, — и он отсчитывал не перегнутыми бумажками свой долг, не вникая увещаниям хозяина, что «это можно после», «над нами, благодаря Бога, не капит», «авось еще свидимся» и т. д.

Но Лев Сергеевич был непреклонен и, несмотря на отговорки хозяина, всучал ему свой долг не позже обещанного срока. Такою аккуратностью он получил репутацию человека со средствами, серьезного и делового, и с помощью ее вертелся как белка в колесе: чтоб отдать вовремя одному, он занимает вдвое большую сумму у другого; чтоб заплатить последнему, он занимал у третьего, постепенно возвышая сумму займа, и к концу своего пребывания в И-е он, незаметно для своих многочисленных кредиторов, задолжал более десяти тысяч рублей. Всякий из дававших ему получал с него уже несколько раз, всегда в срок, и был убежден, что Бойцов должен только ему одному, и что он всегда может заплатить по первому требованию.

Долго бы еще продолжал он так жуировать, если бы не случилось одно крайне прискорбное происшествие. Приятель его Чемякин, попавший из адъютантов генерал-губернатора в полицеймейстеры, должность весьма выгодную и почетную в И-е, получил для исполнения, чрез огорченного губернатора, из Петербурга бумагу, в которой говорилось приблизительно следующее: «До сведения подлежащего начальства дошло, что лишенный некоторых прав состояния, за растрату казенных сумм, бывший поручик N-ского полка, лишенный чинов и орденов, Бойцов, сосланный по судебному приговору на житье в И-ю губернию, вопреки судебному решению проживает в самом городе И-е, причем выдает себя за вышедшего добровольно в отставку офицера. Ставя на вид вашему превосходительству подобное послабление ссыльным, покорнейше прошу распорядиться немедленной высылкой Бойцова в один из окружных городов вверенной вам губернии или Забайкальской области и т. д...»

Велико было смущение интимных друзей Льва Сергеевича, ранее других узнавших неприятную истину, т. е. губернатора и полицеймейстера. В первую минуту они до того растерялись, что потеряли, что называется, голову, да и было отчего: полицеймейстер был его восприемником, так сказать, в губернском бомонде, а губернатор, как слухи шли, собирался выдать за него свою племянницу, и вдруг такой удар: ссыльный за растрату! Лишенный чинов и орденов!

Когда первое впечатление несколько прошло, они порешили так: негласно предупредить Бойцова, чтоб он, под предлогом какого-нибудь внезапно предста-

вившегося дела, уехал тотчас же за Байкал, а они уже постараются распуścić по городу слухи о важности этого дела и о его неотложности, чем и объяснят полную невозможность для Бойцова остаться некоторое время в городе для исполнения обычного этикета — делания прощальных визитов — и принесут за него его искренние извинения перед многочисленными его друзьями.

Таким образом они думали избежать огласки хоть на первое время. Не прибегнуть к этим мерам им обоим было невозможно, ибо происшествие это, по справедливости, могло дать обильный материал для «зубоскальства и глупых острот разных шалопаев», как выражались эти почтенные администраторы. И действительно, положение их было чрезвычайно комичное. Главные представители губернской полиции очутились главными пособниками в обмане целого города каким-то «проходимцем».

Вечером того дня Чемякин разыскал где-то Льва Сергеевича, улучил минутку и один на один передал ему вкратце содержание неприятной бумаги, выразительно подчеркнув, что немедленный отъезд его необходим, так как если этот факт огласится, то его превосходительство вынужден будет прибегнуть к более формальному образу действий относительно Бойцова, что, вероятно, для него не желательно.

Тот на мгновение смутился, но, быстро оправившись, проговорил:

— И чего так поторопились сообщить об этом вам теперь? Действительно, меня осудили на житье к вам, но мне дали слово, и положительно обещали высокопоставленные особы, что не пройдет и года, как я получу полное прощение, и только потому я умолчал об этой неприятности. Мне и самому в высшей степени важно избежать огласки, потому что родные мои и знакомые петербургские тоже ничего не знают. Но когда же мне поехать и куда?

— Генерал думает, что лучше бы всего вам направиться к г. М-ву, на Кару, — вы с ним хороши. Кроме того его превосходительство дал мне для вас письмо к нему, да и предлог отличный: там теперь кончаются сроки контрактам на поставку для ссыльных и батальона пищи и вещевого довольствия на огромную сумму, что-то около 400.000 руб. на год, — вот мы и распуścим слух, что вы случайно узнали о имеющих быть торгах на этот подряд и, как человек деловой (тут полицеймейстер вздохнул, — он вспомнил свои пятьсот рублей, с неделю им данные займы «деловому человеку»), опасаясь пропустить срок, мгновенно собрались и поехали... Вы, с своей стороны, будете если сюда писать, рассказывайте то же, а то согласитесь: положенье губернатора и мое — самое глупое!

— Так вы думаете, что самое лучшее это мне уехать сейчас же, ночью?

— Да, да, конечно.

— Но, признаться, так скоро я тронуться с места не могу: у меня теперь в кармане почти ничего нет, — проговорил Бойцов, сразу смекнувший, что на прощанье вполне возможно еще малую толику содрать с попавших в яму администраторов. — Ведь на дорогу нужно по крайней мере триста рублей, а у меня не наберется и двадцати пяти...

— Гм... — только и мог произнести несколько оторопевший Чемякин, думая про себя: «Что это за бестия? И где у меня глаза были, когда я его как дурак представлял в «первых домах» города, как старого приятеля и богача! Придется еще дать, только бы уехал». — Ну, какое же триста, тут всего сто, а полтора за глаза хватит... А приедете к г. М-ву, жизнь ничего не будет стоить вам; пожалуй, и прощение скоро подоспеет, вы и поправитесь...

— Да вы забываете, что у меня и этих полторасот нет! Нельзя же, наконец, приехать, — положим, и к хорошему знакомому, — без копейки в кармане. Мало ли что может случиться в дороге? Решительно менее трехсот нельзя и думать двигаться; завтра я постараюсь достать, а к вечеру уеду.

— Хотите, я вам за мебель дам триста, хоть сейчас? Вы и поезжайте теперь же, — думая хоть на этом вернуть сколько-нибудь, любезно предложил Чемякин.

— Голубчик мой, я ее давно уже утилизировал! Она принадлежит теперь Гейману; знаете портного жида на Большой улице? Уже с месяц, как я заложил ему ее.

— Тогда мы так сделаем: вы поезжайте в собрание и ждите меня там, а я поговорю с губернатором и явлюсь туда. Смотрите, ждите же меня и о разговоре нашем — ни гу-гу! Для вас же это необходимо.

Чемякин скоро собрал триста рублей: сто дал губернатор, пятьдесят — он сам и полтора — голова, бывший в гостях у губернатора, один из самых близких приятелей Льва Сергеевича, которому они также нашли необходимым сообщить прискорбную новость. При этом выяснилось, что Лев Сергеевич ему должен три тысячи с чем-то... Несмотря на это, он любезно предложил 150 руб., но с условием, чтобы Бойцов ночью же и уехал.

Лев Сергеевич, получив деньги и письмо к М-ву, от души поблагодарил Чемякина, и провожаемый им и еще одним из клубных завсегдаев, в ту же ночь уехал из И-ка, поручив покончить с квартирой, человеком и мебелью тому же Чемякину. «А то, знаете, скандал может обнаружиться, если я ночью стану будить хозяина да рассчитывать с ним». Крепя сердце, и этот расчет принял на себя Чемякин. Только уезжай!

Благодаря хитрому плану и тайне, которую свято хранили его изобретатели, история эта долго не была известна в городе; получаемые от Бойцова письма подтверждали слух о том, что он намерен взять подряд на Кару, и только кредиторы его несколько скучали по Льве Сергеевиче: «пора бы, мол, и послать, — не бог весть какие деньги!» Но Бойцов и сам пользовался малыми размерами долгов, чтобы в письмах оправдывать свою неаккуратность. «Все собираюсь сам к вам, добрейший М., да все делишки держат, а по почте пересылать такой пустяк не стоит; вероятно, на днях уврвусь как-нибудь сам к вам» и проч.

Дальнейшая же судьба Бойцова была такова: исчезнув так внезапно из И-а, он очутился прямо на Каре, где в то время заведующим ссыльнокаторжными был некто полковник М-в, описанный нами в одном из прежних рассказов [См. «В дали». Очерки вольной и невольной жизни, с предисловием О.В. Максимова, со. М.П. Орфанова (Мишля). Москва. 1883 г. Рассказ «Из дневника бывалого человека», стр. 341–348.]. Принятый, благодаря прежнему личному знакомству по И-у, а главное — письму губернатора, очень радушно, Лев Сергеевич очень скоро ориентировался в новой, совершенно незнакомой ему сфере деятельности и, благодаря непрерывному, беспробудному пьянству М-ва, сделался — не официально, а фактически — заведующим каторжными. Здесь о его деятельности мы, к сожалению, имеем два разноречивых показания: одно, более склоняющееся за него, говорит, что он был чужд тех мерзостей и воровства казенного имущества, которые так процветали на Каре при директоре М-в, и обвиняют Бойцова лишь в том, что он, зная все, живя вместе с М-м и имея хорошее чиновное знакомство в И-е, ни разу не протестовал против действий М-ва и не сообщал в И. о безобразиях, творимых последним; другие же к этому с уверенностью добавляют, что он не только *все* знал, но и во *всем* участвовал, пользуясь неограниченным доверием

вечно пьяного, но и вельми жаждущего «приобрести» М-ва. Через полтора года он исчезает так же внезапно из Кары, как некогда исчез из И-а; причиной, как передавали лица, бывшие в то время на Каре, было ожидание ревизии «управления нерчинскими ссыльнокаторжными», в котором он, несмотря на то, что сам был сосланным, играл главную роль, и кроме того у него с М-м произошла, в пьяном виде, ссора, дошедшая, как кажется, до потасовки.

Спустя год после исчезновения блестящего гвардейца с грязного, воровского горизонта каторги, где не считалось стыдом и грехом присваивать последний арестантский грош, мы его встретили невзначай опять, но в совершенно иной обстановке: плывя на пароходе по Шилке с Усть-Кары в Стретенск, мы были крайне удивлены, увидав на рубке, в шведской лайковой куртке, во флотской фуражке, знакомую нам красивую, сильную фигуру Льва Сергеевича Бойцова, отдающего своим зычным голосом команду матросам.

Из расспросов в буфете оказалось, что Бойцов уже вторую навигацию служит в Амурской пароходной Б<sup>1</sup> и, прослужив первое лето помощником капитана, теперь получил чин капитана и считается самым лихим, исполнительным капитаном, получая весьма приличное содержание — около пяти тысяч в год!

Зная его еще по И-у, во времена его успехов в обществе, когда он задавал всей молодежи тон, и зная всю его историю, мы было не хотели возобновлять знакомство, не желая отравлять своим видом настоящие, видимо счастливые, минуты его жизни, но он сам узнал, тотчас же подошел и поздоровался без тени какого-нибудь смущения. Уже вечерело, на реке делалось сыровато, и он, любезно пригласив к себе в капитанскую каюту, потребовал пуншу, за которым беседуя, мы провели время до глубокой ночи. Он уверял меня, что теперь, трудясь с утра до ночи, он чувствует себя превосходно, и если бы действительно пришло разрешение вернуться ему на родину теперь, он все равно не расстался бы с Сибирью. «Здесь у вас люди живут, — понимаете ли? — люди, а не деревяшки, как у нас в Питере. Здесь понимают, что если человек и мог в жизни сделать какую-нибудь неловкость, даже больше — пакость, то это еще не значит, что он обречен всю свою жизнь только и заниматься, что пакостями. Во время моего двухлетнего плавания по Амуру я встречал многих из и-в, которым я задолжал черт знает сколько и которых обманул самым бесцеремонным образом, — и что же вы думаете? — Не только упрека или напоминания о долге, но, могу вас уверить, встречал только искреннюю радость и поздравление, что наконец я солидно пристроился и не бил баклуши. Тоже ни слова и о пресловутом моем проекте освещения И-а, как будто ничего и не было! Это — люди».

Не знаю, может быть и пунш имел тут свое влияние, размягчив мое сердце, но я лично убежден в искренности его исповеди.

Еще год спустя я услышал, что он женился на сибирячке, дочери одного купца, простенькой, но очень хорошенькой девушке, и живет совсем «по-хорошему».

## II

### Генерал от коммерции

Банковские, акционерные и иные крахи недавно, сравнительно, стали у нас на Руси заурядным, будничным явлением; еще очень недалеко то время, когда по-

---

<sup>1</sup>Публ. по: Мишля. Сибирские колонизаторы // Русская Мысль. — 1883. — кн. IX.



добный единичный случай вызывал целую бурю толков и комментариев не только в журналистике, но и в обществе. Все сколько-нибудь образованное, грамотное живо интересовалось как ходом самого дела, так и его финалом. Всюду слышалось негодование на возмутительную нашу халатность, на мазурнически составленные уставы разных учреждений, предоставлявших полную возможность ловкому «дельцу» урвать круглый куш сравнительно безнаказанно, ибо еще вопрос, где лучше жить: в Киеве ли, положим, на директорском окладе в 6—10 тысяч рублей в год, или же в Томске или Иркутске, имея «запасного капитала» тысяч триста — пятьсот чистенькими? Может быть, это и был «вопрос» для кого-нибудь, думающего, что и честное имя имеет свою ценность, но для нашего героя Семена Симхи Цукеркопфа, или, как значилось на его визитных карточках, Семена Семеновича Кнопфа, знающего основательно практически арифметику до «правила товарищества» включительно, тут не могло и быть «вопроса».

Маленький черненький жиденок неведомо какими путями очутился внезапно директором банка в К-е. Нечего и говорить о его радости: он весь сиял и в самое короткое время отпустил себе брюшко, по которому прихотливо извивалась массивная золотая цепочка с целой коллекцией брелоков. Тогда-то он из Семена Симхи Цукеркопфа превратился в Семена Семеновича Кнопфа. Не подумайте, что он крестился, — нет, просто самовольно стал так называться при новых знакомствах, подписывать частную переписку и, как мы уже видели, и карточки такие завел; он добился того, что постепенно даже близкие знакомые стали называть его Семеном Семеновичем. Жил он припеваючи года полтора, вечно веселый, довольный собой, беспечный, и никто, конечно, не думал, что он с первого же дня своего директорства начал подумывать о лучшем способе приобретения «запасного капитала на черный день».

Однажды, по делам банка, ему понадобилось съездить в Петербург месяца на два, и накануне он задал приятелям развеселую пирушку, на которой первый тост был, конечно, за процветание банка и за успех того дела, по которому ехал хлопотать негг Кнопф, как его величали многочисленные клиенты, колонисты-немцы.

Никто из провожавших не предполагал, что он видит милейшего, гостеприимного Семена Семеновича в последний раз; однако, так вышло, — то есть видеть-то они его увидели, но при какой обстановке!... «Бедный» Семен Семенович сидел на скамье подсудимых, а их, провожавших его некогда в Питер с таким весельем, вызвали поголовно в суд — кого в качестве «прикосновенного» лица, кого свидетелем. Sic transit... и проч.

Случилось это так: остановившись в Питере в Знаменской гостинице, Семен Семенович деятельно стал приводить в исполнение давно обдуманый план, не предвещавший ему в будущем ничего, кроме денег, денег и денег... Проще сказать, он при участии нескольких лиц, большею частью евреев же, стал переделывать билеты и свидетельства своего банка таким образом, что из сторублевого с прибавлением одного нуля выходил у него тысячерублевый; из последних тем же способом фабриковал десятитысячные и т. д., и дело шло так успешно, что он начал уже помышлять о конце этого предприятия, но не успел: один из участников, нажив тысяч тридцать на этой операции, решил, для спасения своей кожи, предать благодушного Семена Семеновича, и, по его указаниям, в номер к Семену Семеновичу нагрянула полиция как раз во время процесса подделки бумаг. Всех арестовали. Долго тянулось следствие, которое, между прочим, открыло интересное обстоятельство, свидетельствующее о замечательной предусмотрительности

нашего героя; едва поступив директором и рассматривая устав банка, он нашел, что может, на основании его, сразу взять хорошие деньги, что, конечно, и исполнил.

Относительно учета векселей в уставе, между прочим, было сказано: представленный к учету вексель купца, хотя бы временного по 1-й гильдии, если на нем есть бланк такого же купца, хотя бы и другого города, банком принимается без затруднения. Сразу сообразив, «как это понимать нужно», помчался Семен Семенович в родные Палестины: Шилов, Бердичев, Минск и другие и внес за разных Мошек, Иосей и Джек пошлины по первой гильдии, написал от имени их, как купцов 1-й гильдии, массу векселей, за взаимным поручительством, и представил, чрез подставных же лиц, для учета в банк, который, на основании специального параграфа устава, их и учел. Заплатив гроши несчастным 1-й гильдии купцам, этим Мошкам и Ицкам, сам Семен Семенович зашиб тут около четырехсот тысяч рублей, и тогда уже поехал в Питер, предполагая и другой операцией зашибить столько же, если не больше, а затем ему грезилась «Америка», где делают самые лучшие гешефты в мире. Хотя дело об этих векселях и раскрылось во всех подробностях и несчастные Мошки и Ицки были посажены своевременно по острогам, однако, денег этих разыскать не могли, — Семен Семенович умеет их хорошо прятать.

Наконец, настал день суда. Семена Семеновича судили по обоим делам сразу. Масса публики осаждала к-ий окружный суд, желая взглянуть на гениального человека. Держался он на суде необычайно добродушно, с умилением слушал громовые речи прокурора, а в патетических местах речи даже вздыхал, сочувственно, как бы про себя, приговаривая: «Вше так было... Как они узше знать могуть... Много бедный народ потирал...» Но это не помешало ему топить на суде своих товарищей по директорству (про Ицек и говорить нечего: о них он отзывался не иначе как с презрением) и, несмотря на тьму ясных и неопровержимых против него улик, не сознался ни в чем. Его признали виновным, и он был приговорен в поселению в Восточную Сибирь, в места не столь отдаленные, с лишением всех прав состояния. Через год его уже встречали в И-ке.

В И-к это не был уже веселый, беспечный Семен Семенович, — нет, это был удрученный горем, пострадавший за чужие вины человек, решившийся с твердостью и терпением покориться своей несчастной участи. В И-к он прибыл пока с одной женой, оставив многочисленное семейство на родине, пока сам «не оглядится», на руках бабушки и дедушки. Знакомства сначала он заводил крайне осмотрительно, с выдающимися купцами еврейского происхождения. Никто в городе, довольно многолюдном, не обращал внимания на вновь появившегося еврейчика: мало ли их? Между тем, «еврейчик» не дремал; он зорко присматривался к нашим сибирским порядкам, к служебному персоналу, и не раз в душе возносил благодарственное моление Иегове, допустившему его попасть в эту «обетованную землю», по невежеству русских называемую страшным именем: «Сибирь!» С любовью следил он за деятельностью местных губернских и окружных дореформенных судов, в которых дела, например, по скупке «хищнического», или, попросту, краденого золота тянулись по десяткам лет, несмотря на присутствие в деле и поличного, и ясных свидетельских показаний. Нравилась ему и жизнь чиновников, сидевших на влиятельных местах. Все они жили хорошо, были хлебосольны, имели хорошее хозяйство. Рядом с этим наблюдением он сопоставлял размеры их окладов и с радостью узнал, что редкий получает до полутора тысяч, а то все боль-

ше 600 руб., 750 руб., 900 руб. в год. Проживали же все по 5–6 тысяч! Удостоверившись в верности своих наблюдений, он пришел к убеждению в необходимости завести знакомство с чиновным людом, что удалось ему, по местному выражению, «легче легкого», ибо все его первые знакомые — зажиточные купцы-евреи — были с администрацией, не исключая и довольно высокопоставленных особ, в самых дружеских, даже интимных отношениях. Когда его новые знакомые, случалось, спрашивали: «за что именно он сослан», то Семен Семенович только вздыхал, отирал фуляром небывалые слезы и расстроенным голосом говорил: «Чиво штарые раны шивилить? Што било — то и есть! Я завсегда мог бы оправдываться, да рази минь доверуть, когда такой народ бил замешен?..» И, наклоняясь к слушателю, он шептал на ухо такие имена, что тот в изумлении вскакивал:

— Да не может быть!

— Я вам говорю — верно! Нужно било кому-нибудь штрадать: «давай мы еного еврейчика ушлем бог изнает куды, — за него вступиться некому...» Ну, и вислал к вам, — с грустной улыбкой оканчивал исповедь Семен Семенович.

Такого рода беседы происходили сначала на нейтральной почве, у общих знакомых, богачей-евреев, а потом знакомство упрочилось. Делал Семен Семенович, например, так: вечером одному из бесчисленных советников, начальников отделений, членов суда и т.д., мирно сидящему в садике за чаем, кухарка докладывает, что пришел к нему «какой-то незнакомый жид».

— А что ему нужно?

— Да повидать вас хочет, — по делу, говорит.

— Ну, приведи сюда, в сад, эту бестию.

«Бестией» оказывался Семен Семенович, который издали еще начинал раскланиваться и, подходя, как бы лавировал против ветра.

— А, Семен Семенович, какими судьбами?.. Али делами стал заниматься? Что ж, валяй! Мы хорошему человеку рады, — добродушно смеясь, встретил его советник, тучный мужчина лет под сорок. — Ведь таких, как ты, говорят, «осталось двое в мире, а ты, третий, в Сибири...» А, правда? — продолжал хозяин, приглашая садиться Семена Семеновича.

— В мире-то, может, што тышеч есть полочи мине; мы люди неболшие, — садясь на край садовой скамейки, отвечал Семен Семенович. — А я к вам ш маленькой просьбой: виручите мине! Ви, кажется, курите цигарка?

— Курю, да дороги хорошие-то, канальство, — поневоле трубку завел... А тебе для чего знать?

— Жвольте видеть, какова абштоятельства: я тоже куру цигарка; синку мой и пришлал мине из Одесса, шконтрабандом, тысячу штук, да вше крепкия, а я куру самаво легкого... Цигарка хорошия, дай, думаю, продам гашпадину советныку, они любяты, я слихал, загранишны цигарки... Хотите, купайте? Такова товару ни здесь не сыщите.

— Коли недорого возьмешь, я, брат, с удовольствием... Много ль их у тебя?

— Я вам принес польтысячи, аштальные думаю Александру Ивановичу (прокурору) предлагать: они тоже любители цигарка курить.

— Так ты их принес с собой? Ну-ка, давай-ка попробуем. Не дороги, говоришь?

— Звестно, своя цана з вас надо увзять, да ви шпервоначатия пробуйте, — и Семен Семенович поднялся было с намерением пойти за сигарами, которые оставил в прихожей.

— Куда ты? Мавра принесет, только скажи, где ты их оставил... Мавра! Ну, скорей иди сюда!... Принеси там узелок в передней.

Закурив сигару, советник с наслаждением вдыхал ее аромат. По его мнению, сигары были очень хороши. «Красненьких полторы, за сотню стоят, не меньше», — думал про себя.

— Ну, што? Ндравятся вам цигарки?.. Што?

— Ты говори, сколько стоят, а хороши или нет — тебе все равно.

— Два ш пальтинником не будет дорого за сотню?

— Только? — изумился покупатель. — Да неужели они не дороже тебе обошлись?

— Говору, што они шкондрабандом; увсякия бивают; полюче мы себе вибираем.

Советник, в восторге от своей покупки, тотчас же платит деньги за сигары и не знает чем угостить Семена Семеновича, не подозревая, что тот ему за 2 руб. 50 коп. продал 20-рублевые сигары, тут же в городе купленные в лучшем магазине. То же выделывал он и с другими, могущими пригодиться ему лицами: многосемейному он «по случаю» продавал за баснословно дешевую цену голландского полотна; рьяному охотнику уступал «шваво собственного ружье аглицкой работы» тоже за бесценок и добился того, что не прошло и двух месяцев с начала его знакомства «с гашпадами чиновниками», как они в один голос твердили: «А что, господа, Кнопф, ей-богу, хороший жид! Нет в нем этой скаредности. Давно ли знаком, а смотрите: он всем услужить готов». И присутствующие, конечно, единогласно подтверждали этот, вполне заслуженный Кнопфом, отзыв.

Убедись в дружеских к нему отношениях гг. чиновников, Кнопф решил однажды объехать их всех и пригласить на именины «шваво супруги». Приехали все и были приятно удивлены как разнообразием водок, настоек, наливок и вина, так и богатейшею закуской, предшествовавшей обеду. Самый же обед превзошел их ожидания, — до того он был обилен и вкусно приготовлен. Со всех сторон только и раздавалось: «Ай да молодчина, Семен Семеныч! Честь тебе и слава! И где только в это время мог он найти такую икру?» и проч. Ликующий хозяин не выпускал бутылки из рук, обходя неустанно почетных гостей и подливая им в стаканы. После обеда он представил им рыжеватого, молодого еще жидка, одетого очень прилично, по-европейски, с очень симпатичным, умным лицом, отрекомендовав его мужем своей старшей дочери и пояснив, что зять и его жена так любят «нас, штарики», указывая при этом и на жену, полную, с непомерно развитым бюстом, в неизменном парике, и не проронившую за все время ни одного слова еврейку, что «решились ехать к мне в ссилки». К этому он добавил, что у его зятя очень хорошее состояние и что он не прочь бы заняться «делом», например, подрядами; что он, Кнопф, рассчитывает, что «гашпада чиновники», «его благодетели», помогут «молодому человеку» осуществить его пламенное желание быть полезным краю, его приютившему, исполнением необыкновенно добросовестно всех обязательств, которые выпадут на его долю. «Ждесь так не шполнят, как он», закончил свою речь Кнопф, указывая на скромно стоявшего поодаль своего зятя. Захмелевшие гости сочувственно отнеслись к такому заявлению: «Что ж, с Богом! Кто что может — для тебя сделает, Семен Семенович, потому ты простой, душевный человек. Мы таких любим!» Семен Семенович, умиленный, кланялся, снова наливал в бокалы шампанского и в свою очередь горячо благодарил за милость и внимание, ему оказанные. Один из присутствовавших, тот самый, который купил дешево сигары, даже в азарт вошел:

— У меня на днях будут торги, только не знаю, подойдут ли, брат, они тебе, — дружески облокотясь на Кнопфа, чуть не на всю комнату орал он, желая «по секрету» передать ему эту новость, — больно велики: за пол-то-ра-ста тысяч один подрядец! — прокричал он, растягивая слово «полтора-ста» и сделав особое ударение на нем.

Кнопф скромно ответил, что «было бы дело настоящее, а денег у них будет хоть миллион, хоть два», лишь бы было из-за чего работать.

Скоро все поутомилось, некоторые засели «в картишки перекинуться», другие поразъехались, и Кнопф был в восторге от своего праздника. Насчет подряда, о котором ему сообщил толстый советник, он уже знал за месяц до именин, причем давно высчитал все могущие быть барыши и убытки от этого дела.

Спустя недели полторы, по переторжке подряд остался за неведомым еще И-ку могилевским 1-й гильдии купцом Зильберманом (фамилия зятя Кнопфа), причем губернский совет, где происходили торги, был крайне изумлен следующим обстоятельством: когда вскрыли запечатанные конверты всех желавших торговаться лиц, то у Зильбермана оказалась заявленная цена как раз *на 1 руб. менее*, чем самая малая из остальных цен, принадлежавшая прежнему подрядчику, у которого, может быть, от прежних подрядов и материала много осталось, теперь для него оказавшегося ненужным.

— Каков нюх-то, ваше превосходительство! — шепнул старик-прокурор губернатору. — Ведь одним рублем, а сколько нагадил Петру Степановичу! Тот, я думаю, волосы на себе драть будет из-за этого рубля.

— Да и мне неприятно, должен признаться, — отвечал губернатор, — что подряд из-за глупого рубля ушел от Петра Степановича и попал в руки жида. Тот, все-таки, свой человек, а этот — черт его знает, кто он такой!

— Его-то не знаю, — отвечал прокурор, — а тесть его прекрасный человек, некто Кнопф, сосланный сюда по интригам, бывший директор к-го банка (читатель не забыл, вероятно, что Семен Семенович уступил и ему партию превосходных сигар).

Так эта история с рублем и кончилась в губернском совете; в городе же она долго ходила с комментариями, весьма нелестными для толстого советника. Семена Семеновича эти слухи и толки нимало не смущали: он радовался не столько удачно взятому подряду, сколько тому, что положено начало «делу». Он отлично понимал поговорку: «лиха беда начать». Вскоре ему удалось, тоже, конечно, на подставного Зильбермана, взять еще один подряд, впереди еще ожидалось «хорошего дела», но его смущало одно: местный генерал-губернатор терпеть не мог евреев и всячески, — в пределах, разумеется, законности, — стеснял Кнопфа, а для наблюдения за выполнением им первого подряда, состоявшего в постройке новых этапов во всей О-ой губернии, он командировал самого свирепого архитектора с прямым наказом: «постарайся изловить на мошенничестве подрядчика», и чуть что заметит, «сию же минуту дать мне знать; тогда явится возможность отстранить его от подряда и передать другому, потому что я не верю, чтобы жид исполнил подряд добросовестно». Генерал был прав. Для Кнопфа, смело предложившего низшую цену, подряд тогда только становился выгодным, когда он мог рассчитывать, что при помощи взятки на его работы будут смотреть сквозь пальцы, не придираясь к буквальному исполнению контракта, и самая приемка оконченных работ комиссией будет только заключаться в веселой поездке гг. членов по новеньким этапам, с приличным везде от Кнопфа угощением дорожными винами и

закусками и разными деревенскими развлечениями, вроде хороводов, поездок с деревенскими красавицами куда-нибудь на реку, в лес, с весьма понятной развязкой...

Суровое отношение к Семену Семеновичу генерала и назначение наблюдающим за работами «архитектурного Аристида» сильно озабочивали «бедного труженика». Сколько он ни соображал, никак не мог придумать, что бы ему предпринять для умилостивления сурового генерала. Про взятку и думать нечего, — генерал в этом случае был истый рыцарь; подкупить ближайших его советников — дело возможное, но бесполезное: старик зорко следит сам за Кнопфовскими подрядами и не даст себя провести. Все это так отравляло Кнопфу существование, что он в душе уже начинал поругивать Сибирь.

Некоторую часть своих огорчений он однажды поведал толстому советнику, с которым они приятельски сошлись. Советник слушал, слушал его, попивая портер, да как вскочил сразу и спросил:

— А сколько мне дашь, если я не только помирю тебя с генерал-губернатором, а еще приятелями после станете?

— Кабы то так, — уныло проговорил Семен Семенович, — известно, ничего не пожалел бы.

— Ты думаешь, шучу? Ей-ей нет; давай пять тысяч — и устройю не дальше как через десять дней, а то и скорее.

— На етова дела я бы и вше десять дал, только нужно видать когда вше встроится вшамделе!

— Ну, ты мне коку с соком не подноси; ты думаешь, что если в К-е околпачил десяток дураков, так и тут то же будет? Нет, брат, на нас зубы обломаешь! А давай сейчас, хоть при свидетелях, пять тысяч чистоганом, да слушайся меня, чрез неделю, много через две первым приятелем у старика будешь.

— Чи ви фокусник, что такова дела делать можете? Я вже знаю што он мене сисьть готов.

— Как хочешь, верь не верь, а сделаю; если, положим, срок через две недели он не будет с тобой ласков, я тебе деньги назад отдам при тех же свидетелях, при которых возьму.

Уверенность толстого советника отчасти сообщилась г. Кнопфу; у него даже дыхание сперло от одной мысли о возможности устроить такой «гешефт»: в нем теперь боролись с одной стороны страстное желание устроить это дело, с другой — страх потерять даром такие деньги. Если б он был уверен в хорошем результате, он ни на минуту не задумался бы дать и 25 тысяч — так дорожил он расположением старика.

Советник, между тем, прихлебывал из стакана, стараясь казаться по возможности равнодушнее, даже насвистывал что-то, изредка, как бы машинально, повторяя: «дело твое, братец, — как хочешь».

Наконец, Кнопф решился на последнее средство.

— Слюшайте, мы вот так сделаем: тисчу я вам сейчас отдам, а четыре опосля жнакомства с гинирал-гибернатором, — верно?

— Мереклюндию-то мне не разводи, я ведь из ученых, — тоже, брат, в гимназии учились! Мы и по-вашему понимаем, — вашу-то поговорку тоже помним: «рыба, — говорится, — фиш, а гельд — офтиш». Вот тебе и весь сказ!

Как Кнопф ни торговался, советник был неумолим: «как какой штатуй штоял», после рассказывал про него Семен Семенович.

Через два дня после разговора Кнопф явился к советнику и, заявив, что он согласен дать денег «упэрот», заставил, однако, его поклясться прахом отца его, что он, Кнопф, не будет обманут и, в случае неудачи, получит свои деньги назад. Деньги были советником сосчитаны так спокойно, равнодушно и не торопясь положены в стол, что Кнопф не выдержал:

— Вам, видно, увсе равно, што деньги, што трава, — так ни это хладнокровно увзяли их!

— Да что ж мне? Деньги как деньги! Ведь только для тебя я мало спросил, хотел удружить тебе, — с другого я бы вдвое взял. Дело-то я должен обделать немаленькое. Ты знаешь какой зверь наш старик-то?

К великому удивлению и радости Семена Семеновича, обещание свое толстый советник, по-видимому, давал не на ветер. Когда тот рассказал свой план Кнопфу, он, практик до мозга костей, не мог не оценить его подобающим образом. Секрет состоял в следующем: генерал-губернатор был человек очень искренний, набожный, и ему чрезвычайно хотелось устроить в казенном генерал-губернаторском доме церковь; помещение было очень обширное, так что с этой стороны затруднения не было. На его ходатайство из министерства разрешение последовало, но в особой, для устройства церкви, сумме отказали. Своих средств у него не было, а привлечь местных богачей к этой «своей прихоти», как он ее называл, не решался, так как он достаточно их выпотрошил на разные общественные дела, например, на постройку театра, клуба, на техническое училище, воспитательный дом и т. п. Отказ министерства очень огорчил его, и он с крайней грустью должен был отказаться от взлелеянной им мечты. Хотя переписка с министерством о церкви шла секретно, так как он не хотел, чтобы, в случае отказа, кто-нибудь знал о его неудаче, тем не менее толстый советник знал это досконально и думал воспользоваться именно этой неудачей. Он подробно рассказал Кнопфу это дело и предложил ему воспользоваться этим, т. е. устроить на свой счет домашнюю церковь «старика», что будет стоить немного — не более пяти тысяч, а что генерал согласится на эту услугу, то он, советник, за это ручается и хлопоты берет на себя.

— Ведь ты пойми, — продолжал он, — в качестве строителя, ты каждый день можешь бывать там, наблюдать за материалами, за работами, а про старика и толковать нечего: пока последний гвоздь не вобьют, его оттуда дымом не выкуришь. Этими постоянными встречами ты и воспользуйся, — постарайся ему угодить.

— А как же ви изделыеете это вше?

— Это не твоя печаль: получишь приглашение — напяливай фрак, да тотчас же и явись. А, может быть, ты согласишься креститься? Тогда было бы совсем хорошо!

— Што ви говорите! — перепуганно заговорил Семен Семенович. — Да мне сичас наси вбьют!...

Советник добродушно посмеялся, успокоил Кнопфа, обещаясь сообщать ему о ходе дела, и они расстались очень довольные друг другом.

Не будем передавать подробности хода этого дела, а скажем только, что слово советник сдержал, и свои деньги заработал даром. Как и через кого он действовал на «старика», не знаем, но факт постройки непощенным евреем православной церкви налицо, и последовавшая затем дружба (иначе мы затрудняемся и определить те отношения, которые установились между главным начальником края и ссыльным за мошенничество евреем) «старика» с Кнопфом свидетельствует о полном успехе затейливого плана толстого советника.

Семен Семенович вздохнул свободнее: единственного серьезного препятствия к наживе «на законном основании» не существует. Все остальное или куплено, или же представляет такое ничтожество, в смысле влияния на дела, что Семен Семенович только благодушно улыбается, когда ему случится услышать, что «вот де что о вас, уважаемый Семен Семенович, такой-то исправник или заседатель говорит, будто вы, — конечно, через своего доверенного, — заставили крестьян такой-то волости, напоив их допьяна и при помощи волостного писаря, дать вам какой-то приговор, которым они решительно закабалились вам, и что он этого не хочет оставить так».

— Бог с им, пусть говорит. Он еще молодой, совсем глупий, не понимает своего выгода, — спокойно отвечал на подобные сообщения Семен Семенович, а потом, слышишь вдруг, в городе идет разговор, месяц или полтора спустя, о внезапном и всех удивившем удалении такого-то исправника или заседателя от должности. Все недоумевают, почему бы это могло случиться, только Семен Семенович посмеивается себе в бородку и предобродушно резонерствует: «Где ему служить!.. Он бил завсем глупий. Это место надо умный человек садить. Этот народ мутит.. Рази мошно?»

Под конец генерал-губернаторства «старика», Кнопф такую силу взял, что и чиновникам, вроде его приятеля, толстого советника, приходилось кланяться ему, а если он в хорошем расположении духа, то и попросить «похлопотать о наградишке», и — чудное дело! — если Кнопф пообещает, то так и совершится. Про казенные подряды и говорить нечего: все оставались за Зильберманом, т. е. за Кнопфом. При крупных делах он не брезговал и мелкими. Например, в городе было всего три аптеки. Кнопф из трех купил две, и не купил третью только оттого, что нельзя было: она находилась при одном благотворительном учреждении. Деньги текли к нему со всех сторон, да и другим было хорошо. Надо отдать ему справедливость, он за право делать всевозможные пакости платил «блюстителем казенного интереса» хорошо, по-барски, за то и не стеснялся с ними, уже давно он был «на ты» «ш их высокоблагородьями, нашама блягодителями», не исключая и толстого советника. Те только покряхтывали, сознавая, какую он стал силой.

Прошло два года деятельности Кнопфа в «новом родине», как он любил называть Сибирь, и вдруг «старика» сменили; назначенного на его место генерала никто не знал: какой он, где служил прежде, как служил. По отдаленности от центральной власти, генерал-губернатор в Сибири — все: «хочет — с кашей ест, хочет — с маслом пахнет». Понятно, как сильно было возбуждено любопытство общества относительно нового начальства. Даже местный губернатор, сам метивший на это место, не знал ничего определенного «об этой выскочке». Семен Семенович же, задолго еще до назначения, получил из Питера точные сведения, кто будет назначен и каков он. Незадолго до приезда он решился наконец поведать, каков будет новый начальник. По его словам, это идеал правителя, и что он, Кнопф, будет счастлив иметь дела с таким человеком.

Для Кнопфа он оказался, действительно, необыкновенно удобным человеком, только довольно дорогим. Этого на постройке церкви, например, провести нельзя было, а надо было действовать прямо, начистоту. Весь разговор у них оканчивался двумя словами:

— Школьки?

— Столько-то. — Кнопф знал, что нужно дать «столько-то», и давал, кряхтя, морщась, зато уж в подрядках делал что хотел.



Был, например, такой случай: доверенный Кнопфа сдавал вновь выстроенный этап нарочно командированному архитектору. Кругом этап огорожен особым устройством забором, носящим название «пали». Пали эти делаются таким способом: берут длинные, в 7–8 аршин, бревна вершков четырех в диаметре и врывают их стоймя в землю, плотно друг к другу, заостряя вершины их и вкапывая, по контракту, не менее трех аршин в землю. Архитектор попался молодой, вздумал проверить работы до тонкости и распорядился копать около палей, чтоб удостовериться, как глубоко они вкопаны. Представьте же его изумление, когда после двух-трех лопат бревна начали наклоняться и, наконец, упали, обнаружив, что они закопаны были не глубже полуаршина... Он сделал пробу в другом месте, — оказалось то же самое. Горячий архитектор составил, при участии местной земской полиции, акт для представления начальству и отказался от дальнейшей приемки подряда. Кнопфу, разумеется, тотчас же дали знать; он немедленно явился к генерал-губернатору, произошел обычный диалог, молодого архитектора командировали черт знает куда и зачем, а постройку принял другой, «опытный». Так дело и кончилось. Забавно было слушать, когда об этом рассказывал сам Семен Семенович; он искренно дивился глупости архитектора, вздумавшего рыться в земле.

— Какова ему там и дело? У контракту и сказано: пять аршин над землю. Пущай этого и мерить, а если у mine они хорошо стоят, крепко, зачем же вырывать их? Хоть их я просто приклеивал в землю, да они стоять, — нечего землю и копать. Можно и пять аршин загонять уф земля, и можно, их докопать. Тольки одни неприятности для mine и для начальства!

Так устроил свою судьбу маленький, полуграмотный жидок Соломон Симхи Цукеркопф. Благодарная местная администрация пыталась даже ходатайствовать, «во внимание оказанных им услуг краю и многих крупных пожертвований на благотворительные и общественные дела», о возвращении ему прав состояния, но, должно быть, Питер был не в духе, — попытка эта потерпела фиаско.

Я забыл упомянуть, что как только Кнопф упрочил свое положение, то неведомо как и откуда понаехали десятки евреев, которые оказались все его близкой родней и которые тотчас же получили у него места агентов, скупщиков и т. д. Теперь он буквально «генерал от коммерции», ворочает миллионами, имеет золотые прииски и массу разнообразных дел...

### III Червонный король (рассказ моего сослуживца)

— Познакомился я с ним давно, в 1867 году, в Петербурге, в пересыльной тюрьме, куда я ходил навещать одного приятеля, высланного за разные дерзости в университете к родителям, на Кавказ, — так начал свой рассказ мой друг и сослуживец Афанасий Григорьевич, бывший в то время стряпчим в И-ке. — В одно из посещений приятель мой, указав на одного высокого, с громадной рыжей бородой, в массивных золотых очках, господина, безукоризненно одетого, сказал мне, что это знаменитый Орлов, дело которого только что окончилось в окружном суде, где он обвинялся в *пятидесяти* с лишком уголовных преступлениях, и, благодаря своему выдающемуся уму и блистательной защитительной речи (он предпочел защищаться сам, и не ошибся: такую речь не скоро услышит петербургский

окружной суд), был приговорен лишь к лишению всех прав состояния и к ссылке на поселение в И-кую губернию. К этому приятель мой прибавил, что, несмотря на его, так сказать, оригинальные понятия о собственности, это был человек необычайно умный, простой и добрый, так что на досуге, — а в тюрьме его всегда много, — он проводил время исключительно с ним. До отправки моего приятеля на родину, мне удалось побывать у него еще несколько раз, и мы познакомились с Орловым.

Прошло несколько лет, и судьба бросила меня в далекий И-к, на службу; не прошло и месяца со времени моего последнего приезда туда (я служивал в И-ке и ранее), как случилось происшествие, заставившее долго говорить о себе все местное общество. Тот самый мой приятель, через которого я некогда познакомился с Орловым, был впоследствии задержан в И-ке и арестован, а затем выпущен на поруки. Этим он воспользовался и бежал неизвестно куда и каким способом. Власти приняли все меры к его поимке: полетели курьеры, телеграммы во все стороны. Во все города были разосланы его фотографии, по большому, так называемому московскому, тракту были командированы полицейские агенты, а в числе их и знаменитый в И-ке частный пристав Блинов, но прошло три недели, и все это ни к чему ни привело. Между тем как получались отовсюду неутешительные известия, свидетельствующие о полном отсутствии каких бы то ни было следов беглеца, в самом городе нет-нет да и пройдет слух, будто его видели на днях, в сумерки, ехавшим на извозчике, то прачка, стиравшая его белье, чуть не клятвенно заявляла полицеймейстеру, что «намеднись, еще сама, своими глазами видела на Московской улице, где он как увидел меня — шашь в проулок, только его и видела!» Слухи эти, отвлекая полицию от иногородних розысков, заставляли, разумеется, лучших ее агентов напрягать все усилия для обнаружения его в самом городе, где, на основании этих слухов, полиция предполагала, что он скрывается с тем расчетом, чтобы, по миновании «розыскной горячки», преспокойно уехать или попутчиком с кем-нибудь, или же по чужому виду. Надобно заметить, что, по обнаружении побега, у нескольких из интеллигентной молодежи, как служащей, так и не служащей, с большинством которой беглец был знаком, были произведены обыски и отобраны показания, которые, однако, не дали ничего объясняющего загадочный побег. «Я, — пояснил рассказчик, — занимал тогда пост окружного стряпчего, и как представитель прокурорского надзора, избегнул этой участи, но знал, что полицеймейстер, которому были известны наши давние хорошие отношения с беглецом, продолжал сильно точить на меня зубы и учредил даже «легенский надзор» за мной, за теми, кто приходил ко мне, и проч.»

Обстоятельство это меня очень мало тревожило, потому что в этот приезд я видел бежавшего всего раз и не мог иметь с ним никакого соглашения, если бы и желал этого.

В это-то время, как-то утром, часов в 10, когда я пил чай, просматривая поступившие накануне бумаги, и был еще в халате, приходит мой мальчик с докладом, что какой-то господин, незнакомый, хочет немедленно меня видеть.

— Да ты сказал, что по делам я не могу принять ранее одиннадцати?

— Сказывал, да они говорят, что прибыли по особенному делу, что они давно из Петербурга и знают вас.

Я обрадовался, предполагая увидеть кого-нибудь из старых знакомых, и, конечно, сейчас же приказал провести его к себе.

Смотрю, входит высокий, с проседью в громадной бороде, прилично, но

скромно одетый барин. Я с недоумением взглянул на него, извинился за свой костюм и, внутренне раздосадованный таким обманом со стороны совершенно незнакомого мне человека, назвавшегося старым знакомым, произнес обычное «чем могу служить?»

— Вот и видно, добрейший Афанасий Григорьевич, что и память-то у вас плоховата, да и я, должно быть, постарел, — проговорил вошедший, протягивая бесцеремонно руку, — Орлов, — продолжал он, — помните «пересыльную» в Питере?

— Конечно, помню, — моментально узнав его, сказал я, приглашая садиться, — очень рад вас видеть; давно мы не видались с вами.

— Да, лет шесть или семь. Ну, а вы как стряпаете? — шутливо спросил он, намекая на мою должность.

— Ничего, работы много, да лучше чем в канцеляриях торчать; дело живое, работаю с удовольствием. Где же вы пропадали, что до сих пор ко мне не забрели? Ведь я тоже теперь старинный сибиряк, с лишком три года таскаюсь здесь!

— Я никак не предполагал, хотя и слышал не раз вашу фамилию, что это именно вы; кто мог предполагать, что вы когда-нибудь будете прокурорствовать? Мне только вчера полицеймейстер сказал, что это именно вы.

— А почему же он знает, что я именно тот, которого вы некогда знали в Питере?

— Он мне сказал, что вы близки были с N... (фамилия беглеца); я, конечно, потом сообразил, что это вы и есть.

— Да вы-то сами в каких отношениях с полицеймейстером?

— В самых хороших; я ему устраиваю здесь адресный стол, — не сдержав улыбки, ответил Орлов, — знаете, по образцу петербургского.

Я расхохотался: в городе двадцать пять тысяч жителей, знают друг друга не только по фамилии и в лицо, но знают даже кто сегодня что ел, где был, проиграл или выиграл в карты, и вдруг адресный стол!

Орлов тоже довольно коварно посмеивался, уверяя, что это уже потому полезно, что он, Орлов, получает за это сто руб. в месяц.

— Нарочно помощника не беру, — добавил он, — знаете, оно приятнее иметь такую работу подольше.

— А прежними, или во вкусе прежних дел, не занимаетесь?

— Нет, будет с меня; но, Бога ради, не подумайте, что, «почувствовав раскаяние во многом, содеянном мною, я обратился на стезю добродетели». Вы, надеюсь, помните, как я вам еще в пересыльной объяснял свой взгляд на так называемые мошенничества? До сих пор я придерживаюсь его, и должен сознаться, что всякий раз, как встречаю богатого и глупого человека, во мне точно закипает что! Так мне и представляется, как я его разделал бы. Итак, не это удерживает меня от «излишней частной предприимчивости», как, во время оно, называл мою деятельность один из близких людей, а то, что я *поселенец*, т.е. лишенный всех прав состояния человек. Предположите, что мне удалось бы обделать какое-нибудь хорошее дело и на законном основании вы думаете, *здесь* судом будут разбирать *меня* с маслопузом каким-нибудь? Ничуть не бывало: любой частный пристав, по просьбе этого же маслопуза, за какую-нибудь мзду, вроде 25 р., во-первых, отперет меня, что называется по-ихнему, «на все порки», а, во-вторых, доложит чрез полицеймейстера губернатору о моей неблагонадежности, и меня через 24 часа, этапным порядком, упрут куда-нибудь на Илгу или в Коропчанку (название самых северных волостей Иркутской губернии), не взяв от меня никаких объяснений,

и шабаш! Станешь оттуда жаловаться — еще там отпорют, опять-таки без суда, как кляузника, мутящего народ; а жить в этаких палестинах — ведь это заживо похоронить себя! Если бы меня выслали отсюда, — даю вам слово, что сперва я употреблю все усилия, чтобы отделаться от этого, а если не поможет, то пушу себе пулю в лоб. Для этого и таскаю его с собой, — окончил он свою речь, вытаскивая из кармана маленький, изящный револьвер, так называемый «бульдог», очень сильно, однако, бьющий.

— Неужели же вы довольствуетесь сторублевым заработком? — спросил я Орлова, зная, что прежде он проживал в год десятки тысяч, когда-то на его «четверги» в Большой Морской собиралось избранное общество, в котором высокопоставленные и титулованные особы вовсе не составляли исключения.

— Почти что так; есть еще маленькое подспорье. По прибытии моем сюда, я начал заниматься адвокатурой, и небезвыгодно, совершая, разумеется, доверенности на имя жены, так как поселенец не имеет никаких прав. Мне удалось выиграть несколько дел, признанных местными адвокатами безнадежными. А ведь вы знаете, что за народ здесь? Безграмотный казак, выгнанный, спившийся писец, какой-то перекрест из жидов, по паспорту отставной военный музыкант, и т.п. Успех мой вооружил их всех против меня, и рядом всяких подкупов, подлогов, доносов и разных пакостей, они добились определения губернского суда о воспреещении жене моей ходатайств по делам, «ибо», мол, «не подлежит сомнению, что, в сущности, дела ведет сам Орлов, сосланный сюда чуть не за тысячу подлогов, почему, в ограждение интересов клиентов, могущих быть им обманутыми, суд постановил» и проч. Меня это озлило страшно. Полное отсутствие и законности, и смысла! Но я сейчас же нашел средство обойти это определение, я скоро подыскал одного молодого человека, очень способного и ничего тогда не делавшего, и предложил ему работать со мной: доверенности я буду брать на его имя, а ему только подавать всякие прошения и отзывы, расплачиваться и подписываться, где следует получать деньги и проч. Работа же вся, конечно, моя; короче, за его «фирму», так сказать, я назначал сто рублей в месяц и пять % с моего гонорара. Кажется, чего лучше? Работали мы с ним хорошо, этак с год. К концу года я выиграл крупное дело, за которое приходилось получить мне тысяч пять. Отправил я своего юнца за деньгами, а сам сижу дома, поджидаю его. Наконец, почти вечер наступает, а его нет, я не выдержал, еду к нему на квартиру и застаю его пьющим чай.

— Что же, вы не получили разве денег? — спрашиваю.

— Нет, получил все сполна и даже отвез доверителю, — преспокойно отвечает млад-вьюнош.

— А мой гонорар? Пять-то тысяч?

— Вы, кажется, ошибаетесь: согласно формальному условию, заключенному мною (он сделал на слове «мною» ударение) с доверителем N K, пять тысяч, в случае выигрыша дела, должен получить я! Они мною и получены. О вознаграждении же вас в условии и речи нет! — невозмутимо объявил он.

— Первою мыслью моей было — вы, конечно, догадываетесь, зная несколько меня — тут же положить его на месте вот этим кулаком, — продолжал Орлов, показывая мне свою жилистую, редкой силы, руку, — но это было только мгновение. Я тут же овладел собой, надел шляпу и, не проронив ни одного слова, вышел. Нечего мне вас уверять, что я виды выдывал на своем веку, но должен сознаться, это и для меня было новостью. Он зарабатывал у меня, с %, до 250 руб. в месяц, и,

кроме самого дружеского обращения как со стороны моей, так и со стороны жены, не встречал ничего иного. Имея в запасе немного денег, я решил бросить адвокатуру и заняться сельским хозяйством, и неподалеку от города снял у крестьян несколько десятин земли, построил хороший деревянный дом, завел лошадей, скот, начал хлебопашество. А тут как-то случайно мне пришла мысль о возможности устройством адресного стола зарабатывать еще малую толику — и мысль эта осуществилась, ну, так и перебиваемся с жинкой.

— Скажите пожалуйста, как же у вас возник с полицеймейстером разговор обо мне? — спросил я.

— Прежде, чем ответить на это, я попрошу вас сказать мне, есть ли у вас свободное время сегодня вечером, чтобы поехать с нами в поле («Поехать в поле» — это значит веселой компанией уехать куда-нибудь за город, в лес, или за реку, чай пить, прихватив, конечно, водок, вин и закусок, — любимейшее летнее развлечение сибиряков. *Авт.*)? — не отвечая, спросил Орлов.

— Что ж, я не прочь. Кого мы еще прихватим?

— Зовите кого хотите из ваших приятелей, я привезу только жену, знаете, для хозяйства. Только, должен вас предупредить, ни вам, ни вашим приятелям, которых вы пригласите, прогулка не должна стоить ни одной копейки. Это мое непременное условие.

— Очень жаль, потому что, не говоря про приятелей, которые вас совсем не знают, и мне будет неприятно подчиниться этому условию. Мы часто ездим, и всегда в складчину: и дешево, и не обидно!..

— Вы не дали мне договорить, — перебил Орлов, — я хотел прибавить, что и я тоже *не истрачу* ни копейки своих денег! Мы все поедем на счет полицеймейстера или, вернее, на счет сумм, ассигнованных ему специально для розысков бежавшего нашего приятеля. Вы не верите? — продолжал он, заметив изумление на моем лице, — а, между тем, это так же верно, как верно и то, что теперь двенадцать часов, и что нам пора с вами выпить по рюмке водки, если только таковая у вас имеется, — спокойно закончил он.

Подали закуску; он с видимым удовольствием выпил одну рюмку водки и затем сейчас же начал откланиваться, взяв с меня слово, что мы с приятелями явимся в шестому часу в известное место, на берег небольшой, но красивой речонки, где он и обязался раскрыть нам всю, как он выразился, «фантазмагорию», подтвердив, чтобы мы ничего с собой не брали, так как у него все уже куплено, грозя, в противном случае, ничего мне не рассказать.

— По крайней мере, ответьте на мой прежний вопрос: как у вас зашел разговор с полицеймейстером обо мне?

— Все это вы сегодня узнаете подробно «в поле». Надеюсь, вы прихватите таких друзей, что нам можно будет говорить не стесняясь?

— Конечно, — ответил я, и мы расстались.

По уходе Орлова, мне стало вдруг как-то не по себе. В сущности, думалось мне, черт его знает, что он такое за личность? Мы так мало знакомы, что становиться сразу в близкие отношения, устраивать увеселительные поездки сообща, мне казалось несколько, с моей стороны, необдуманно и даже, при моем служебном положении, рискованно. Но слово дал — нужно его исполнить; притом же и содержание разговора его с полицеймейстером обо мне, а также и деньги такого странного происхождения, — все это подстрекало мое любопытство в высшей степени. Закончив часа в четыре обычные занятия (несколько ранее, чем

всегда бывало), я поехал в гостиницу, где обыкновенно собиралась обедать вся холостая молодежь. Найдя человек трех, которых я намеревался утащить с собой, я в нескольких словах передал им казус, случившийся со мною, и настоятельно просил поехать; с первого же слова они согласились.

Подъезжая к назначенному месту на «долгуше» (так называют в Сибири экипаж, вроде линейки, где могут поместиться шесть пассажиров), мы издали уже усмотрели приветливый дымок костра на самом берегу необычайно извилистой речонки К., густо заросшем кудрявыми кустами и ивняком. Место было выбрано очень удачно; тут и хорошенький лужок, весь покрытый красивыми саранками и желтыми пахучими лилиями, и удобный спуск к воде, и топливо для костра близко. Нас уже ждал Орлов с женой. Представиться самому и представить своих приятелей было делом одной минуты. Она оказалась очень неглупой и образованной женщиной средних лет, и вела себя так просто, непринужденно, что через каких-нибудь полчаса, сидя за пуншем, который она мастерски приготовила, мы не чувствовали себя здесь чужими и болтали как дома.

Первый тост Орлов, с серьезнейшим лицом, предложил выпить за «градоначальника», ибо, пояснил он, сохраняя невозмутимую физиономию, «все, что мы имеем здесь съестного и питейного, куплено на его деньги».

— Выпить-то за его здоровье — мы выпьем, а когда же мы узнаем вашу «фантазмагорию»? — спросил я, чокаясь с ним.

— Сначала воздадим ему должное и выпьем, — отвечал Орлов, прихлебывая из стакана ароматный пунш, — а затем я вам расскажу причину этого пикника... Извольте видеть, милостивые государи, как дело было. Вам, полагаю, прошлое мое, хотя отчасти, известно; известно также, что, вместе с тем, я слышу человеком ловким, даже более — неглупым. Кроме того, я, по обязанности вольнонаемного создателя вашего будущего адресного стола, каждый день вижусь с полицеймейстером. Как-то на днях, он призывает меня из отдельной каморки, где я занимаюсь, в свой кабинет, запирает двери и, пригласив садиться, чего ранее никогда не бывало, вдруг прямо выпаливает, не спуская с меня глаз:

— Вы, как до меня дошло, знакомы были с N [Фамилия беглеца, общего знакомого Орлова с рассказчиком].

— Как же, вместе сидели в Петербурге, в пересыльной.

— А здесь его видели?

— Я знал, что он здесь в тюремном замке содержался, и хотел его навестить, но мне не разрешили, а затем, проживая в деревне, я услышал, что он бежал, так я с ним и не видался.

— А стряпчего такого-то, — про вас, — обратился ко мне полицеймейстер, — знаете?..

— Одного барина с такой фамилией знавал, но в Петербурге, и познакомился именно через N...

— Именно этот теперь здесь стряпчим. Если бы понадобилось, могли ли бы вы возобновить старое знакомство с ним?

— Отчего же? Хотя мы и не коротко были знакомы, но расстались не враждебно.

— Так вот что, голубчик, — ласково заговорил полицеймейстер, придвигаясь ко мне и понижая голос, — мне почему-то думается, что стряпчий, как очень близкий человек к N, должен наверное знать, как тот бежал и куда. Так его привлечь к следствию и неудобно, да и бесполезно, — все равно не скажет ничего, а вы бы, познакомившись вновь с ним, при вашей ловкости, могли бы, под предлогом уча-

ствия к бежавшему, кое-что разузнать. Для меня это очень важно, и я, между нами говоря, за малейшее верное сведение о следах N... с удовольствием дал бы вам денежную награду, и не маленькую. По важности сообщенных вами сведений, вы можете рассчитывать получить от ста до пятисот рублей! Что вы на это скажете?

— Я, конечно, и виду не показал, что это гнусное предложение возмутило меня, потому что быть ловким и умным малым и пользоваться этим, чтобы взять у богатого дурака часть неизвестно за что доставшегося ему богатства, или, по-вашему, быть мошенником, вовсе не значит быть Иудой и продать своего товарища, а N я смело могу так назвать, проведя вместе с ним в тюрьме не один месяц. У меня сейчас же явилась мысль наказать этого нахала, хоть бы и пустяками. Подумав несколько, я ответил, что не прочь попробовать взяться за это, но что окончательно ничего не могу сказать, не повидавши стряпчего, причем предупредил, что я в таком теперь положении, что и ничтожного расхода не могу принять на себя и что, следовательно, в случае нужды, прибегну к нему...

— Об этом и говорить нечего, мой милейший, лишь бы Бог помог вам что-нибудь узнать! — чуть не с мольбой перебил меня искуситель. — Когда же вы зайдете ко мне известить о ходе дела?

— Как повидаясь, так и сообщу.

С тем мы и расстались.

— Надо вам здесь сознаться, — продолжал Орлов, — что прежде, чем заявиться к вам, Афанасий Григорьевич, я навел кой у кого справки о вас, т.е. узнал, что вы теперь за человек стали. Шесть-семь лет разлуки давали мне, кажется, на это право. Не так ли? Я на своем веку видал разительные примеры изменчивости человека, всех его убеждений, вкусов и проч., и не через шесть лет, а мгновенно, так сказать, из-за карьеры, богатой невесты и т.п. Относительно вас я узнал то, что и сам прежде знал, т.е. что вы все тот же идеалист, бессеребреник и — извините! — по-прежнему любите кутнуть в хорошей компании. Я сейчас же составил план, как наказать того дурака, а, главное, чтобы смешно было. До визита моего к вам, я зашел к полицеймейстеру и доложил, что, по отзыву всех лиц, близко знающих вас (сказал несколько фамилий молодых людей), надеяться на то, чтобы вы проболтались о N, если сами что-нибудь знаете, невозможно, а что, напротив, когда вы немного подопьете, то делаетесь разговорчивым. Единственное средство, следовательно, говорю ему, это подпоить вас хорошенько и тогда еще, может быть, что-нибудь выйдет.

— Да вы уже видели его? — спрашивает.

— Как же, — соврал ему, — я вчера уже пригласил его и еще нескольких молодых людей, под предлогом дня моего рождения, гулять в поле.

— Значит, вам, голубчик, деньги нужны?

— Да пока немного, говорю, рублей пятьдесят будет достаточно. Говорят, что он может массу всяких напитков выпить и что напоить его можно только портером, с коньяком вперемежку. — Поморщился немного, но дал. Это было вчера, а сегодня я имел честь пригласить вас, господа, сюда подышать чистым воздухом и основательно закусить и выпить на счет мудрого градоправителя. Сейчас я приготовлю вам настоящий кавказский шашлык, — я мастер вообще готовить, и мы портером выпьем другой за него тост. Что вы имеете мне оказать по поводу мною вам, милостивые государи, только что изложенного? Не найдете ли вы, что я относительно так щедро нас угощающего джентльмена поступил неблагородно, мошеннически?

Несмотря на шутивную форму его рассказа и на его спокойную физиономию, я успел подметить, что его последний вопрос был задан недаром, и что он ждал ответа с некоторой тревогой. Все это мигом прошло, когда наш искренний дружный смех и громкое «ура, Орлов!» далеко разнеслось в воздухе. Чтобы достойно выпить его здоровье, один из присутствующих, бывший лицеист, из разных напитков сделал какую-то «божественную», как он выражался, смесь, и мы весело, до света, пировали, принимаясь, по крайней мере, раз десять пить чай.

На прощанье Орлов опять пресерьезно сказал, что завтра он доложит, что стряпчий так крепок, что на пятьдесят рублей его не споишь, а нужно еще столько же и непременно завтра, покуда хмель не прошел.

— А тогда, — закончил он свою речь, — для разнообразия поедем верст за сорок отсюда рыбу неводить. Я там знаю прелестные места! А как хорошо на свежем воздухе ухи похлебать из живой рыбы! Язык проглотишь!

Полицеймейстер, как ни был недалек, однако, смекнул, что Орлов его обманул, денег ему еще не дал и обещал выслать из города, если когда-нибудь проболтается о настоящем значении нашей пирушки. Этим и кончил свой рассказ Афанасий Григорьевич. Через него, впоследствии, и пишущему эти строки пришлось познакомиться с Орловым, причем последний произвел на него приятное впечатление, вызванное его умом, сердечностью и искренностью. Благодаря письму Афанасия Григорьевича, Орлов встретил меня чрезвычайно радушно в своем деревенском доме, где он постоянно жил, не занимаясь ничем, кроме сельского хозяйства, суть которого он чрезвычайно быстро постиг и которое давало ему возможность, хотя и скромно, но безбедно жить, настолько безбедно, что для приятеля у него всегда в запасе была и бутылка-другая хорошего вина, и бесподобные наливки, а про еду и говорить нечего: он сам превосходно готовил. Летом всякого горожанина тянет на зелень, в деревню, и мы с несколькими приятелями частенько захаживали к Орлову, жившему в шести верстах от города. Один из нас был превосходный стрелок, и дорогой, — которая шла обок с болотистой низиной, — настреляет, бывало, штук пятнадцать-двадцать бекасов, дупелей, и мы приносим их к Орлову, который и жаривал их к ужину, как-то особенно, на гренках из булки. Не раз наша беседа затягивалась за полночь, особенно когда упросим его рассказать что-нибудь из «невозвратного прошлого». Один из этих рассказов я и хочу предложить читателям. Он относится к тому времени, когда Орлов, живя в Петербурге, открыл на Большой Морской негласный игорный дом, который, в числе постоянных гостей, насчитывал много «знатных особ обою пола», как он выражался. Сам Орлов никогда не играл, довольствуясь известным процентом с выигрыша, что, однако, давало ему громадный доход. Так как он «не любил оставаться без дела», то и присматривался к своим посетителям, не нападет ли на кого, «над кем можно бы было произвести легкую операцию». В числе своих посетителей он скоро наметил одного, который, хотя и играл азартно, но выдавался своею чрезмерною жадностью к деньгам, и, в то же время, как это всегда бывает, скупостью.

— Он был, — начал Орлов, — остзейский барон, занимал какую-то придворную должность и по чину был статский советник. Состояние его было огромное; по справкам, мною наведенным, он получал свыше шестидесяти тысяч чистого дохода в год, а мои справки были верны: у меня такие агенты были, что и сыскная полиция диву давалась! Жаден он был до гадости. Приведу пример. При таком доходе он, увидав, что в соседнем имении арендатор построил небольшой мыловаренный завод, приносивший какие-то гроши своему владельцу, тотчас же



построил такой же у себя, на что, при своем лесе, истратил безделицу, принудив несчастного арендатора платить ему ежегодно «отступного», чтобы только не иметь конкурента, что-то около двухсот рублей. У меня уж давно было задумано блестящее дело, на котором я мог заработать (?) тысяч двести, без малейшего риска. Барон Ф... оказывался подходящим для этой операции субъектом и по средствам, и по жадности к наживе, а когда я узнал, что его младший брат служит в министерстве иностранных дел и состоит в каком-то посольстве, то порешил «обработать» именно барона, а никого другого. Сделаю небольшое отступление: лица, служащие при русских посольствах, вообще освобождены от всякого осмотра на границе и потому могут и вывозить, и привозить все, что угодно, не подвергаясь никакой опасности. То условие, что брат моего барона служил за границей, было почти необходимым для моего успеха, как вы впоследствии увидите из моего рассказа. Затем далее. Узнав, что барон Ф... на лето переезжает на свою дачу в Павловск, я немедленно (а это было в конце зимы) нанял соседнюю с ним дачу, и очень удачно: наши садики были смежными. До самого переезда на дачу барон был аккуратным моим посетителем, и я за это время употребил все усилия, чтобы сойтись с ним покороче. Мне удалось даже оказать ему несколько услуг, и барон, как я заметил, стал ко мне относиться очень дружелюбно и уважал во мне умного, серьезного, а главное, делового человека с хорошими средствами.

Настало дачное время, я разузнал, что барон после службы ездит в Павловск в I-м классе, на пятичасовом поезде. Стал и я, как бы случайно, ездить на этом же поезде, конечно, в I-м классе, и, почти постоянно встречая барона, беседовал с ним до самого Павловска. Разговор наш вертелся все около биржи, да разных новых предприятий, которые то возникали, то лопались в то время чуть не каждый день. Через неделю после переезда на дачу, мы, наконец, встретились утром каждый в своем садике. Конечно, оба были удивлены, как это случилось, что, живя рядом, мы до сих пор этого и не подозревали, что как это приятно и проч. Барон окончательно сделался моим приятелем, особенно с этих пор, так как, *узнавши*, что он живет рядом, я стал его довозить домой в моем шарабане. Сам он не держал, из скупости, лошадей. В один прекрасный, особенно для меня, день я устроил так, что с нашим поездом барону ехать нельзя было, ибо, по моему распоряжению, все билеты I-го класса были разобраны моими знакомыми. Для себя одного я взял целое отделение в четыре места I-го же класса и выглядывал из окошка на барона, который ужасно кипятился, разговаривая на платформе с начальником станции, который клялся всеми богами, что нет ни одного билета I-го класса, что этого почти никогда не бывало, и предлагал ему место II-го класса, но тот, показав на свой золотом расшитый мундир, уверил, что одно это уже ему не позволяет ехать во II-м классе, где ездит Бог знает кто. Тут я подоспел на выручку. Высунувшись из окна, я его окликнул, и когда он подошел, то предложил ему сесть со мною в отделении, говоря, что, вероятно, трое моих знакомых, для которых я взял эти места, поедут со следующим поездом. Барон, конечно, очень рад. И мы едем вдвоем. Дорогой, затеяв обычный разговор о доходности и верности какого-то нового дела, я небрежно указал на изящный томик, который вертел в руках, и сказал:

— Какое это дело! Вот, барон, если бы в оной книжечке не было помещено нескольких строк, то я бы вам рассказал про одно действительно дело, которое могло бы дать в неделю, по меньшей мере, сто тысяч барыша!

Барон так и опешил, широко раскрыв свои узкие глазки, но, увидав по моей физиономии, что я совершенно спокоен, быстро спросил:

— Что же это за дело и какая у вас книга?

— Это останется между нами?

— О, понятно, — поспешно ответил барон.

— Дело-то отличное, а книгу извольте: «Уложение о наказаниях», иначе XV-й том, — передавая ему книгу, ответил я, — разверните его, где закладка лежит, и прочтите те статьи, которые обведены синим карандашом. Из них вы и дело узнаете!

Барон торопливо развернул том, пробежал три-четыре статьи, относящиеся к торговле «хищническим» золотом, как закон называет всякое золото не в деле и не попавшее для чеканки на монетный двор.

— Это, однако, мне мало объясняет дело, — с недоумением посмотрев на меня, проговорил барон, — тут говорится о покупке и продаже с приисков золота? Да?

— Оттого-то это дело я и называю золотым в буквальном смысле этого слова, — сострил я, наклоняясь почти к уху барона, — только особенность та, что нет надобности ехать в Сибирь, чтобы его купить, а оно уже привезено в Петербург, и можно бы всю партию, *пудов*, — слышите ли? — *двенадцать* купить по девяти тысяч руб. с небольшим; тогда как на бирже теперь его цена двадцать тысяч! Соблазнительно, черт возьми! Да вот статьи-то эти... Ведь каторжная работа и продавцу, и покупателю! Однако мы уже приехали. Вас подвезти?

Но барон, говоря, что ему хочется перед обедом сделать маленький моцион, отправился по парку пешком. По его лицу, как он ни старался скрыть от меня, видно было, что моя «откровенность» сильно его взволновала. На другой день я уехал в Петербург, приказав дома, что если кто-нибудь будет меня спрашивать (я надеялся, что барон зайдет), то сказали бы, что я поехал к родственникам, в Финляндию, погостить. Мой расчет оказался верен: на другой же день барон, не встретив меня на обычном поезде, зашел ко мне, сделав честь, которую он мне в первый раз оказал на даче, и когда ему сказали, что я уехал в Финляндию, то он даже в лице переменялся и, уходя, просил, если будут мне писать, чтобы передали, что у него есть важное до меня дело.

Понятно, я сейчас же узнал это и, нарочно промедлив дня четыре в Питере, являюсь на поезд, встречаю барона, как ни в чем не бывало, рассказываю про свое путешествие, про красоту тамошних озер и проч., и вижу, что барон решительно меня не слушает и отвечает постоянно невпопад. Очевидно, ему хотелось заговорить о «деле», да нельзя было: мы были не одни в вагоне. По обыкновению, я его подвожу, и он дорогой взял с меня слово, чтобы я вечером зашел к нему чай пить, непременно — с особым ударением окончил он. Я зашел и, само собою разумеется, он начал разговор о золоте. Я с неохотой поддерживал его, но как бы тронутый дружбой и доверием собеседника, сознался, что ездил в Финляндию нарочно для этого дела, так как продать золото в России рискованно, за границей же на золото смотрят как на обыкновенный товар, и я думал устроить это чрез одного финляндского купца, но не удалось. Потом добавил, что собираюсь на днях в Берлин, — хочу тамошним евреям предложить. Всех этих хлопот можно бы избежать, если бы я имел знакомого, служащего в каком-нибудь нашем посольстве, конечно, вполне надежного человека. Тогда половина дела была бы сделана.

— Ведь вам, барон, конечно, известно, что наши дипломатические агенты не подвергаются осмотру на границах, и, следовательно, можно и безопасно провезти, а за границей хоть на площадях продавай — ничего!

— Ну-ка если я такого человека вам предоставлю, то мог ли бы я, и в каком размере, надеяться на участие в этом деле? — как-то неестественно-развязно

спросил барон.

— Надо вам сказать, милый барон, что я смотрю на это дело очень серьезно: между нами говоря, я нынешний год понес большие потери, и рассчитываю этим делом возместить большую их часть; поэтому, доверить кому бы то ни было, не *мне* лично известному лицу, такую сумму без солидного обеспечения — кажется непозволительно рискованным.

— Я скажу, чьими услугами мы, если с вами сойдемся, воспользуемся: это мой младший брат, служащий в N-ском посольстве. Он, я уверен, согласится провезти за границу наш груз, если мы ему уделим хоть безделицу, не более пяти тысяч!

— Условия как нельзя более удобные, но, повторяю, извините меня, и вашему брату я без обеспечения не могу доверить; ведь эта операция для меня теперь все.

— Какого же рода желали бы вы обеспечение? — несколько нетерпеливо перебил барон.

— Я сию минуту составлю вам расчет. Не угодно ли вам взять клочок бумаги и карандаш. Предлагают мне, как я вам сообщал, 12 пудов. Если все купить, конечно, за наличные, то продавец уступит по 2 р. 58 коп. золотник, что составит 10 т.р. за пуд, а за все 12 п. нужно отдать 120000 р. Так как я полагаю, что вы согласитесь со мной, что в таких делах чем менее участников, тем лучше, то я предлагаю вам взять половину, а другая моя.

— Превосходно, я совершенно согласен, — поспешил подтвердить барон.

— Далее: из этого выходит, что мы с вами уплачиваем по шестидесяти тыс. и получаем в обмен по шести пудов песку. Вот тут-то и затруднение. Может выйти какая-нибудь, совершенно непредвиденная, случайность с вашим братом, и мои не только барыши, но и последние, — произнес я с ударением, — шестьдесят тысяч ухнут, и я останусь нищим! Золото теперь в цене, менее двадцати тысяч за пуд и думать нечего продать, вы курс сами знаете отлично; следовательно, продав его в Берлине, у нас окажется 240 т.р., т. е. на каждого по 120 т.р. Уплатив продавцу 60 т.р., я остаюсь без денег и без обеспечения, так как *все золото* будет в руках ваших и вашего брата, до самой его продажи. Такого-то рискованного, не коммерческого шага делать я не желаю, да и не сделаю; мои условия с вами будут следующие: как только мы внесем за золото деньги, оно все поступает к вам (чем скорее брат поедет за границу, тем лучше), а вы мне, за мою половину, уплачиваете деньгами их ценность, т.е. 60 тысяч р. Барыш же мой, который выразится этой же цифрой, вы обеспечите своими векселями на мое имя, сроком не более месяца, так как для скорой продажи золота никаких затруднений быть не может.

— Я понимаю ваше положение, — сказал, помолчав, барон, — но и для меня условия тяжелы: я должен сразу выдать 120 т. наличными и 60 т. векселями, что почти то же. Это, знаете ли, затруднит хоть кого! Деньги большие!

— Ну и заработать 60 т.р. в неделю, притом без малейшего риска, благодаря согласию вашего брата, не часто случается, — возразил я. — Впрочем, я не уговариваю. Дело настолько говорит само за себя, что я так или иначе его устрою, но мне жаль, что в вас я теряю дельного и умного компаньона, с которым всегда приятно бы иметь дело, — проговорил я, равнодушно принимаясь искать свою шляпу.

— Позвольте! Куда вы? Да ведь я ничего решительного вам не сказал. Я хочу только заявить, что я о вашем условии подумаю, и, если позволите, завтра ввечеру сообщу вам ответ, — засуетился барон, придерживая меня за пуговицы сюртука, как бы боясь, чтобы я вдруг не исчез куда-нибудь. — Завтра вечером, — повторил он, провожая.

— Если у нас дело не сладится, то я могу поехать за границу не ранее четверга, утром, так что вам остается даже два дня; обдумайте...

Уходя домой, я был уже уверен в успехе дела, а потому следующий день весь провел в Петербурге, чтобы устроить всю «обстановку».

Вечером зашел барон, и мы отправились в парк, где, выбрав поглуше аллею, условились во всем.

Завтра, в 12 часов, я жду барона в Исаакиевском сквере; отсюда идем в гостиницу «Англия», где, по моим словам, остановился владелец золота, старый мой знакомый, товарищ во корпусе, который 15 лет прослужил управляющим на приисках в В. Сибири. Золото это он накапливал, покупая у рабочих за бесценок, в продолжение этих лет.

Он трус, знакомства теперь в Петербурге и Москве не имеет, и потому очень обрадовался, разыскав меня и рассчитывая на мое содействие. Ему необходимо ехать лечиться за границу как можно скорее, чем и объясняется баснословная дешевизна золота.

Всему этому рассказу барон вполне поверил. Это было очень заметно. Условия же были таковы: придя в «Англию», мы посмотрим золото, свесим его, возьмем по образцу из каждого мешочка, которое барон и покажет своему ювелиру или кому только он захочет. Образцы берет он сам из каждого мешочка; мешочки эти, на время нашего хождения по ювелирам, запечатываются двумя печатями, барона и моей, укладываются в два заготовленные мною нарочно для этого прочные баула, которые запираются на два замка, и опять так же запечатываются нами обоими. Образцы же, не более  $\frac{1}{4}$  золотн. каждый, завертываются отдельно в бумажку, и барон самолично кладет их в свой портфель, нарочно им с собой взятый. Портфель тоже запечатывается нами обоими и запирается на ключ. Когда барон и я удостоверимся, что золото настоящее и высокой пробы, мы возвращаемся в «Англию», где должна ожидать барона моя собственная карета, с десятивершковым выездным лакеем, который снесет по очереди оба баула в карету и поможет барону поместить их к брату барона, выезжающему в тот же вечер. Прежде отправки баулов в карету, нами тщательно проверяется целостность печатей на мешочках, а затем барон передает 120 т.р. наличными за себя и за меня хозяину золота, а мне передает векселя на 60 т.р., сроком один на месяц, а другой — на два.

Всю программу мы исполнили с пунктуальной точностью; когда барон запер свой портфель, он так был тронут согласием моего товарища на все эти оскорбительные условия, что пригласил его завтра на обед к Борелю, выражая надежду, что знакомство этим не ограничится. Ювелир, знакомый барона, который рассказал ему целую басню, что он хочет купить прииски в Сибири, и потому просил определить достоинство золота, с готовностью согласился, и, сплавя при помощи паяльной трубки песок в маленькие слиточки, объявил, что г. барон будет обладать одним из лучших приисков в мире по качеству золота; точно определить, какой именно пробы, он сейчас не может, но ручается головой, что *не ниже* 88-й пробы, что составляет редкость в натуральном золоте.

— Если бы вам, м. г., предложить купить подобное золото, сколько вы могли бы дать за золотник? — спросил я небрежно.

— По теперешнему курсу я с удовольствием бы дал по шести рублей, — не задумываясь, ответил француз.

— А сколько это придется за пуд? — с любопытством спросил барон.

— Двадцать три тысячи сорок рублей, — вежливо сообщил ювелир, написав несколько цифр на бумажке.

Ног под собой не чуя, летел барон в магазин Сазикова, где его тоже хорошо знали. Результат тот же: золото превосходное и стоит не дешевле шести рублей за золотник. Барон, сияющий радостью, не знал как и скрыть свое волнение, и потащил меня на первого попавшегося извозчика; понукаемый беспрерывно бароном, он скоро довез нас до «Англии».

Карета моя уже дожидалась нас; барон не вошел, а влетел на лестницу. Каюсь, мне страх как хотелось расхохотаться, глядя на его радость, радость скупого, жадного человека, которому *удалось даром* схватить такой куш! Войдя в номер и торопливо, но бережно положив свой портфель с драгоценными образцами на стол, он кинулся к приятелю, бормоча какую-то благодарность, причем, поймав его руки, крепко пожимал их, — словом, вел себя как школьник, которому объявили, что он свободен и может, наконец, уехать в деревню на лето. Эта веселость не помешала ему, однако, весьма тщательно осмотреть замки и печати на баулах, что, конечно, проделал и я с самым серьезным вниманием. Убедившись в целостности и неприкосновенности сокровищ, барон снова тщательно запер их и, вытащив из бокового кармана пачку бумаг, перевязанную крепко бечевкой, развязал ее и стал медленно отсчитывать, лист за листом, банковые 5-процентные билеты. Отсчитав 60 т., он вручил их хозяину; остальную половину он считал еще медленнее, как бы смутно угадывая, что не следовало бы ему платить за других, т.е. за меня. Но... колебание прошло, и я получил тоже 60 т., которые, тут же пересчитав, тоже передал «старому товарищу по корпусу». Затем барон, вынув маленький английский бумажник, достал оттуда два векселя, тоже на 60 т., и, подавая их мне, уже шутливо проговорил:

— Надеюсь, вы теперь спокойны, Фома неверный?

— Если бы я не сделал этого, вы первый, барон, не сочли бы меня никогда деловым человеком. Не так ли? Да вот еще что, — продолжал я, пряча векселя в карман, — я оценил, что золото уйдет у нас за двадцать тысяч пуд, в которых я себя и обеспечил, а вы слышали, что меньше 23-х и продать нельзя? Таким образом, тысяч восемнадцать я все-таки вынужден поверить вам на слово!

— Неужели вы допускаете...

— Pardon, cher baron, я и хочу вам сказать, что шестьдесят мне было *не-об-хо-ди-мо* обеспечить, — я так и сделал, потому что на них я рассчитывал, а эти восемнадцать составляют для меня только очень приятный сюрприз, если получу не больше; следовательно, тут и речи не может быть о моем к вам доверии, — перебил я барона, протягивая ему руку, которую он с чувством пожал.

Затем я позвал своего лакея и приказал вынести баулы; барон взял портфель, горячо попрощался с нами и ушел, а мы с приятелем... расхохотались, увидя себя обладателями целого состояния, почти 200 тысяч, потому что векселя барона я учел в банке на другой же день.

Недели через две я прочел небольшое известие в наших газетах, перепечатанное из заграничных, что там произошел невероятный скандал, крайне взволновавший «сливки общества»: один из состоящих в русском посольстве барон Ф. — молодой человек, всюду принятый, попался в мошенничество; по словам газет, он был арестован в тот момент, когда пытался сбыть, под видом золотого песку, одному берлинскому банкиру простые медные опилки, на очень крупную сумму. «Приводя это известие, — пишут русские газеты, — мы позволяем себе, однако, усомниться в справедливости его...» и т.д. Я-то очень хорошо знал истину этого события. С бароном мы скоро встретились в одном обществе, но

он уже не удостоил меня своим вниманием, и стали мы как чужие, — закончил грустно Орлов.

— Скажите, а образцы золотые были? — спросил я.

— Превосходного золота, — ответил спокойно Орлов.

— И брал барон сам из мешочка?

— Сам.

— Значит, и в мешочках тогда было золото?

— Нет! Чистейшая медь.

— Как же в образцах оказалось золото?

— Очень, голубчик, просто: у меня был заготовлен заранее *совершенно такой же портфель, как у него*; мне стоило пятьдесят рублей сделать его похожим, и печать его была подделана безукоризненно; ну-с, добыл я, право, с большим трудом настоящего, высокопробного песку, завернул его в бумажки, положил в портфель и запечатал его своей печатью. Когда барон брал медные опилки из мешочков, то я приготовлял пакетики из бумаги, знаете, в каких семена держат, и в каких у меня в другом портфеле было золото, подавал их барону, а он самолично всыпал в них медь. Чтобы он положил приблизительно столько же песку, сколько я положил в свои, я заказал особую, очень маленькую ложечку на длинном черенке, в которой не могло поместиться более  $\frac{1}{4}$  или  $\frac{1}{2}$  золотника, и он доставал опилки нарочно со дна его. Когда я завернул всыпанную им медь, конечно, таким же манером, как и золото, он *сам* положил их в портфель, который и запер. Когда стали накладывать на портфель печати, то я нагревал сургуч и капал, следовательно, где хотел, то есть на то место, где они находились и на другом портфеле. Сходство вышло поразительное. Оставалось только переменить их, что было уже легко. В тот момент, как барон надевал пальто, для чего дал мне подержать свой портфель, обратно от меня взял, увы, уже не тот. Теперь понятно, господа?

— Понятно, — говорю, — а какая участь постигла барона и его брата?

— Кроме потери денег — ничего: замяли дело; уж очень неприятно было для высших сфер допустить его до суда; ну, и устроили так: перевели куда-то младшего Ф...а, тем и кончилось.

Этот человек в своем желании «урвать у маслопуза хоть клоч мяса», как он говорил, иногда становился почти маньяком; так, уже покончив с «излишней частной предприимчивостью», т.е. с разного рода сомнительными «делами», иногда, без малейшего для себя интереса, научал других, как сорвать «куш». Например, существовал в И-ке один богатейший золотопромышленник, считавший свой ежегодный доход сотнями тысяч. Личность крайне антипатичная: скупой в личной своей жизни, немилосердный к своим рабочим, доставлявшим ему его миллионы, он крупными пожертвованиями достиг звания статского советника, со многими орденами и медалями, оставаясь в душе чистокровным хамом. Высокое положение, которое он занимал в обществе, благодаря своим миллионам и связям, и шестидесятилетний возраст не мешали ему ежедневно, как только смеркнется, выходить на улицы и приставать с грязными предложениями к первой попавшейся швее, горничной, простой деревенской бабе и т.п. Его не смущало, если случалось встретить одну из прежних его жертв, соблазнившуюся его богатством (его в городе все знали) и согласившуюся на его предложение, вместо сулимых сотен рублей получившую трехрублевку, а не то и меньше, которая начинала его, тут же на улице, всячески ругать. Хладнокровно проходил он мимо, отыскивая новый «предмет»...

Орлов узнал про эту черту миллионера и тотчас же создал план «урванья» с него. В одном доме с Орловым проживал какой-то писец, получавший рублей 20 в месяц, но у которого было другого рода богатство: жена — молодая, смазливая, что называется «огневая» бабенка. Они были с ним знакомы, постоянно жаловались на свою бедность, на невозможность существовать при таком жалованье. Орлов воспользовался этим и убедил их сыграть комедию с дряхлым ловеласом. Сказано — сделано.

В один из скверных для нашего любителя «женской нации» вечеров он так пленился одной пышкой, встретив ее на улице, в платочке, с картонкой в руках, что, для достижения цели, изменил своему правилу приглашать их к себе в отдельный домик и отправился к ней, так как она «ни за какие миллионы не соглашалась иначе». Придя к ней, он только что снял с себя верхнее платье, как вдруг раздается неистовый стук в двери, с криком «отвори!»

— Что-то мне будет, батюшки мои! — кинулась бабенка к старику, — это муж мой возвратился пьяный; полезайте, Христа ради, в подполье (В Сибири почти в каждом доме устраивают «подполье»), ступеней на пять, на шесть ниже пола, где и хранят все припасы), да заберите с собой платье-то, авось не заметит, а я его сейчас выпровожу! — шептала она перепуганному ухаживателю. — Дай огонь зажечь, чего ломишься? — уже громко закричала она стучавшему мужу, — сейчас отопру, — а сама приподняла крышку подполья, куда почти впихнула почтенного коммерсанта.

Муж пришел не один, а с тремя приятелями; казались они выпившими, спросил водки и вдруг, заметив оставленную узником шляпу-цилиндр, заревел:

— Ты опять с кем-нибудь путалась? Это чья шляпа? Ну, да ладно! Выскокить-то ему некуда было! Он здесь! Вот я его таким отсюда выпущу, что родная мать не узнает! Сказывай, где спрятала? Ну! — притопнул он, — живо поворачивайся, а то забью до смерти!

Перепуганному пленнику показалось, что он ее уж убивает, но от страха он даже крикнуть не мог. Дверь в подполье отворилась, и он услышал страшный голос, вызывающий его наверх, немедленно. Делать нечего, пришлось выйти, и публика была изумлена: сам Гаврило Гаврилович оказался!

Хозяин накинулся было на него с топором, но гости удержали, уговаривая его кончить как-нибудь без шума. Долго продолжалась эта комедия, пока они пришли к соглашению, по коему обиженный муж взял с него сию же минуту вексель в 25 тысяч, причем коммерсанта должен был написать на особой бумаге причину, почему он оказался должным несчастному писцу такой куш денег.

Вексельная бумага надлежащего достоинства оказалась у кого-то из «гостей». Гаврило Гаврилович подписал вексель, обязуясь завтра же лично принести деньги, и ушел домой, счастливый мыслью, что остался жив. Деньги он завтра же заплатил, опасаясь той бумажки, где он собственноручно написал, за что он дает деньги, и бабенки этой уже более не видел: муж вышел в отставку, уехал в К-в и открыл там торговлю, сожалея, что не исполнил совета Орлова, который с тем только и преподдал ему «благий совет», чтобы он не мирился менее ста тысяч, а то и двухсот.

В заключение скажем несколько слов о дальнейшей судьбе Орлова. Отрешившись от сует мирских, он жил мирным гражданином у себя в деревне.

Приехал новый генерал-губернатор, которому известно было прошлое Орлова; встретив его в театре, он справился, кто это такой? Услышав, что это «известный Орлов», он проговорил:

— А, знаю! Объявить ему, чтобы через три дня он выехал в волость; здесь терпеть его нельзя!

Тщетно знающие Орлова хлопотали за него, но генерал-губернатор был неумолим, и на третий день полиция уже приехала к нему в деревню, чтобы отправить его по этапу, на место нового жительства, но ей не удалось: верный своему намерению, — скорей пушу пулю в лоб, чем уеду отсюда, — он выстрелил себе в грудь, немного ниже сердца, и пуля прошла навывлет. Смущенные полицейские не посмели взять его полумертвого с собой и доложили генерал-губернатору. Он тоже несколько смутился, отменил приказание о немедленной высылке, даже спросил, есть ли у жены средства на доктора и лекарства. Богатырская натура выдержала страшную рану, и через два месяца Орлов лично явился к генерал-губернатору с просьбой остаться здесь. Кажется, на этот раз просьба его была уважена.

## IV Разночинцы

В середине или в конце шестидесятых годов вся читающая Россия была поражена зверским убийством, совершенным в одном из городов средней России. Причина исключительного внимания общества, вызванного этим происшествием, заключалась, во-первых, в количестве жертв преступления и, во-вторых, в самой личности преступника. Была убита среди белого дня целая семья, состоявшая из шести человек, и двое из прислуги. Казалось бы, что для совершения такого страшного по размерам дела требовалось участие целой шайки опытных, закаленных убийц, хорошо организованной, где роли всех участников были заранее распределены и все случайности предусмотрены. На деле же ничего этого не было, и убил всех восемь человек *один*, и этот один был ученик шестого класса гимназии, по фамилии Горский, дававший уроки в этой семье, принадлежавшей к среднему купечеству. Убийство было совершено с таким хладнокровием и обдуманностью, что решительно ставило в тупик самых опытных следователей, не хотевших допустить, чтобы возможно было обойтись в данном случае без сообщников и пособников. До чего хладнокровно исполнил свое «дело» Горский, можно судить из следующей подробности этого ужасного преступления: убив уже троих или четверых в то время, когда остальные жертвы были в отлучке, именно в церкви, если память мне не изменяет (процесса этого, печатавшегося в свое время во всех газетах, мы под руками не имеем, и просим извинить могущие быть ошибки в подробностях), и должны были прийти домой, не более как через час, Горский вдруг заметил, что у него испортился револьвер, а именно барабан, куда вкладываются патроны, не вертится. Он тотчас же запирает кругом дом и отправляется к ближайшему кузнецу с просьбой поскорее его исправить, что тот, по незначительности порчи, исполнил сейчас же, и Горский, вернувшись в дом, терпеливо поджидает остальных, которых *исправленным* револьвером и кладет на месте. Он тотчас же был арестован и, по производстве следствия, когда подтвердилось маловероятное его показание, что все это дело рук его одного, был предан суду и, несмотря на несовершеннолетие, приговорен в каторжные работы на пятнадцать лет. Так с тех пор он исчез из глаз общества, и что с ним было впоследствии — конечно, никто не знает. Нам удалось, однако, совершенно случайно узнать его дальнейшую судьбу от некоторых товарищей его по каторге. Во все время наход-



дения его в тюрьме на Каре он отличался своею угрюмостью и отчужденностью; никто не был для него человеком близким, с которым он мог бы в дурные минуты перекинуться словом, облегчить свое тяжелое горе... Его также все чуждались, и он так одиноким отсидел все девять или десять лет, пока не перечислили его в разряд исправляющихся, то есть пока он не получил возможность жить на воле, близ тюрьмы, отбывая известное количество работы, носящей название «урка», или, по-русски, урока.

В первую же весну его потянуло в лес, в горы, и он, запасшись кое-каким провиантом, вроде краюшки хлеба да горсточки соли, отправился, как и жил, один, не зная ни дороги, ни условий бродяжнической жизни, которой и опытный бродяга-варнак, или по местному «чалдон», боится до смерти и которую избирает как единственный путь к заветному для всех заключенных идеалу — золотой волюшке. Поговорка: «хощь день, да мой» как нельзя более подходит к бродяге, ибо невозможно себе представить, сколько опасностей и лишений в жизни сибирского бродяги. За несколько свободных дней ему зачастую приходится платить такую дороною ценою, что, казалось бы, услышав хоть один рассказ об их житье-бытье в бродяжничестве, никто и не рискнет променять, хотя тяжкую и подневольную, жизнь в тюрьме, на жизнь бродяги, которая ежеминутно висит на волоске. На деле же другое: такие именно рассказы, все содержание которых — одно страдание, за исключением небольших эпизодов, где судьба позволяла временно вздохнуть измученному человеку, главным образом, и влияют на слушателей, возбуждая до крайности воображение их и подстрекая и их попробовать своей доли-счастья: «Ведь вон, Сизых же ушел! Сказывают, теперь в Одессе барином живет и своих не чуждается!» И идут они, бедняги, целыми сотнями с Кары и других «каторжных» мест, идут каждый год, несмотря на то, что большая часть их гибнет, не дойдя до Байкала.

Движимый такой почти стихийной силой пошел и наш герой; на пятый или шестой день он, обессиленный трудным походом и голодом, уже готовился умирать, как и жил, в одиночестве, в глухой непроглядной сибирской тайге, когда на него наткнулась партия тоже беглых, с Кары, человек шесть или семь. Бродяги *никогда* своих не бросают и не выдают; сделали они тут привал, сварили в котелке чай, пообогрели Горского, и наутро, когда он поотдохнул, предложили ему продолжать путь вместе, хотя бы до первых русских поселков; там гурьбой идти опаснее, и они до известного пункта, заранее намеченного, идут всегда вразброд. Конечно, кроме благодарности, с его стороны и быть ничего не могло.

Шли они так вместе дней шесть, малым делом хватили горя, да что ж? «На миру и смерть красна», — издавна говорит русский народ. На седьмой день просыпаются товарищи — глядь, а Горского с ними нет. «Что за притча такая, — говорит старший, — он вечером жаловался, что дальше идти не может, а сегодня поминай как звали? Не заблудился бы один-то?» Во время разговоров об исчезновении Горского стали чай налаживать, нужно дров нарубить, а топора сыскать не могут. Стали осматриваться, и еще кое-чего из их скудного скарба недостает. Горе и злость их взяли страшные: без единственного топора они в лесу теперь как без рук!

Порешили поторопиться, догнать Горского, несомненно укравшего вещи, воротить их, а с ним расправиться по-своему, по-острожному. Не прошли и вторые сутки, как его уже настигли, топор и другие вещи нашли при нем, причем он сознался, что украл их с целью продать в ближайшем селении для покупки хлеба.

Недолго был суд сурового «товариства». Оно сразу согласилось на способ наказания, предложенный одним из членов суда: порешили повесить его на обычной бродяжьей тропе, на видном месте, чтобы другие, проходя, поучались, как «товариство» наказывает за измену своим, но повесить особым способом: они нагнули два молодых дерева, вершинками к земле, к ним привязали за ноги несчастного Горского, и дали им распрямиться. Само собою разумеется, тело его не могло долго противиться деревьям, стремившимся разогнуться, и его, живого еще, буквально разорвало пополам. Историю с Горским мне передавал один бродяга, вновь попавший из бегов на Кару, и который наткнулся на его изуродованный труп на другой день после казни; он слышал подробности от самих участников этого самосуда. Так страшно покончил жизнь человек, проявивший почти в детстве свою чисто зверскую натуру. С его смертью человечество, пожалуй, избавилось от новых страшных преступлений, ибо, судя по его уединенному и мрачному образу жизни на каторге, можно с большою вероятностью предположить, что он не оставил бы ни перед чем для удовлетворения своих хищнических инстинктов.

Лет пятнадцать тому назад мне случилось быть по делам службы в Усть-Кутском солеваренном заводе, более известном под именем «Усолья». Тогда он принадлежал казне, и в рабочие назначались каторжные, как мужчины, так и женщины, число которых доходило до двух тысяч. Завод этот стоит на р. Ангаре, ниже Иркутска на шестьдесят верст. Казалось бы, что подобная близость завода к восточносибирской столице должна была благотворно повлиять на заводские порядки в смысле ограничения произвола местной администрации, которая на других казенных заводах, стоящих обыкновенно в страшной глуши, доходила до невозможного самоуправства. Обилие всякого рода начальства в Иркутске давало мне надежду, что, по крайней мере, здесь я не встречу крупных нарушений закона относительно каторжан, по жалобе одного из которых я и был командирован. Проходя по улицам к заведующему заводу, я, при повороте из одного переулка, чуть не был сшиблен с ног каким-то щегольским экипажем, мчавшимся во весь дух на паре прекрасных вороных лошадей; в экипаже сидел какой-то молодой господин, прекрасно одетый и весьма красивой наружности; он вежливо приподнял шляпу, как бы извиняясь, что заставил меня попятиться немного назад. Я отвечал на поклон и вскоре добрался до дома заведующего. Дорогой я ломал голову, кому бы мог принадлежать такой шикарный экипаж, так как знал, что здесь богатых купцов нет, а про служащих и подавно говорить нечего. Войдя в гостиную, я увидел хозяина, заведующего Усольем, разговаривающим с тем самым господином, который так меня заинтересовал; поздоровавшись со мной и спросив, не знакомы ли мы, заведующий поспешил познакомить нас, ограничившись одними нашими фамилиями. Молодой человек скоро ушел, и мы остались вдвоем с хозяином.

— Кто это такой? — спрашиваю.

— Некто Вавилов, бывший студент московского университета; премилый человек, очень приличный, — отвечал заведующий.

— Для чего же он проживает в Усолье? Что он тут делает? — продолжаю спрашивать.

— Как что? Да разве вы не слышали его истории? Он обвинялся в Москве в убийстве одного ростовщика и его кухарки и судом приговорен к каторжным работам на 12 лет.

— Так значит, он теперь каторжник?

— Конечно; он всего третий год как у меня. Вас, кажется, удивляет, что я при-

нимаю его к себе? Но, повторяю вам, он очень неглупый, очень милый человек, и имеет хорошие средства; да за него многие и просили меня и из Москвы, и из Иркутска, так что мне и не удачно иначе относиться к нему; еще, пожалуй, беду наживешь.

— А не боитесь вы, что как-нибудь случайно дойдет до начальства, что вы его таким барином держите?

— Вот тебе раз! Да меня начальство просило не стеснять его по возможности... Нет, с этой стороны я совершенно спокоен.

На том и покончилось пока мое знакомство с Вавиловым. Года четыре спустя, служа в одном из забайкальских городков стряпчим, я приехал из округа, куда ездил на несколько дней, и нашел у себя изящную визитную карточку с короной наверху, с фамилией «Вавилов». Спрашиваю человека, как она попала — говорит, что это карточка зятя батареинового командира, что они оба были у меня с визитом, мне и в голову не пришло, что это тот самый Вавилов, которого я знал в Усолье. В первое же воскресенье, по провинциальному обычаю, я отправился отдавать визит и немало был изумлен, когда мой добрый знакомый, полковник К-ий, представил мне, как брата своей покойной жены, Вавилова, именно того, усольского. Тот, поспешно протянув мне руку, с большой развязностью напомнил мне, что «мы уже встречались». Признаюсь, первая мысль моя была, что К-ий — жертва какой-нибудь мистификации; оказалось же, что он действительно его зять, и что отчасти ради него, по просьбам жены, полковник и перешел на службу в Восточную Сибирь.

— Что же, вас простили? — спрашиваю Вавилова после нескольких общих фраз.

— Нет, мне еще несколько лет нужно пробыть на каторге; да вот он, — указывая на К-ого, отвечал Вавилов, — выхлопотал, чтобы меня перевели из Кары поближе к нему, в Петровский завод (Петровский завод — верст сто от Верхнеудинска), ну, а чтобы не жить там, в глуши, я и предпочел поселиться здесь; здесь, знаете, хоть какое-нибудь да есть общество, а ведь там черт знает что!

— Как же вам управляющий заводом разрешил проживать здесь? Ведь это большой риск с его стороны, да и с вашей: наверное, письменного разрешения он вам не выдал, и вы, при малейшей неосторожности, раз привлечетесь к какому-нибудь делу, должны будете судиться, как беглый каторжник...

— Нет, ничего такого страшного быть не может, — засмеялся он, — зять мой большой приятель управляющего областью, и тот написал управляющему заводом, конечно, частным образом, чтобы тот отпустил меня сюда. На этот счет я совершенно спокоен, а вы вот, как настоящий прокурор, допытываетесь, как и что. Здесь все просто делается: попросит хороший человек другого хорошего человека, — и баста!

Развязность, с которой он объяснил мне здешнюю «простоту», и какое-то панибратство, проглядывавшее у него во всем, — в манере говорить, в позах, правда картинных, но крайне невежливых для разговора каторжного с должностным лицом, презрительные отзывы о местном обществе, в котором было много людей весьма почтенных, пользовавшихся всеобщим уважением, — сразу оттолкнули меня от него. Я не говорю уже о гнусном преступлении, совершенном им в Москве, мотивом которого была только одна цель — нажива.

Наглость его, когда он желал с кем-нибудь познакомиться, была изумительна; некоторые семейства из так называемого порядочного общества, памятью его

прошлое, не имели вовсе никакого желания принимать его к себе, и потому не только не отдавали ему визитов, но даже при встречах на улице делали вид, что его не знают, старались пройти мимо и проч. Это его нисколько не шокировало; он смело подходил к этим господам и прямо рекомендовался: «зять К-ого, студент московского университета Вавилов; тогда-то имел удовольствие быть у вас, но, к сожалению, не застал»... и проч. Он завязывал таким образом разговор, не обращая ни малейшего внимания на то, что от него стараются уйти, и когда случалось такой жертве дойти до своего дома или дома близких знакомых, чтобы, наконец, отвязаться от него, он не отставал, а старался пройти в самый дом, пользуясь тем, что все в городе чрезвычайно любили его зятя К-ого и ради него не решались вытолкать в шею наглеца. Мало-помалу он проник всюду и, обладая чрезвычайно красивым лицом, приобрел массу сторонников между дамами и девицами, за которыми ревностно и, к сожалению, не без успеха ухаживал. Подвиги его на этом поприще были таковы, что его едва не выслали из города, но история как-то замялась. Будучи еще в Петровском заводе, он начал ухаживать за очень юной купеческой дочкой-сиротой, у которой все состояние заключалось в небольшой торговле на базаре, где у нее была маленькая лавка. Добившись ее полного расположения, он уговорил ее продать эту лавочку, деньги от нее все отобрал и безжалостно прогнал свою любовь. Девушка с горя наложила на себя руки. Затем в городе он познакомился тоже с молодой, чрезвычайно симпатичной девушкой, сестрой одного известного нашего писателя, обещаясь на ней жениться, и, тоже опозоренную (она вскоре забеременела), бросил. Всеми этими приключениями общество было возмущено, особенно когда на одном вечере он был уличен в шулерстве, и уже решилось ходатайствовать о высылке его из города, как один случай спас его от этого. Неожиданно приехал временно управляющий областью и остановился, по обыкновению, у своего близкого знакомого К-ого. После официального приема должностных лиц и купечества, в частной беседе временно управляющий областью выразил сожаление, что «его молодого друга (он сидел рядом с Вавиловым) общество, по-видимому, недолюбливает, что ему это очень жаль, и что он постарается как-нибудь это уладить». И действительно, уладил. На другой день в коляске К-ого управляющий областью вместе с Вавиловым ездил ко всем с визитами и просил «любить и жаловать его друга». После этого было ясно, что о просьбе выслать Вавилова не могло быть и речи. Прошло уже около года со времени его проживания в И-ке, и К-ему пришлось ненадолго съездить в Иркутск. Весь дом, все хозяйство он поручил Вавилову, и тот воспользовался этим, украв более чем на две тысячи вещей К-ого, например, шубы, серебро, ковры и проч., скрылся до приезда К-ого. Кража была вскоре обнаружена прислугой, явилась полиция, начались розыски, и, как исключение, на этот раз удачные: Вавилов неподалеку был пойман и привезен в город. К-ий, желая избежать срама, обратился к губернатору с письмом, в котором заклинал его не давать законного хода делу, дав честное слово, что накажет его сам, и гораздо чувствительнее закона. Тот согласился, и К-ий, взяв из тюрьмы на поруки Вавилова, у себя на дворе наказал его, дав сто ударов розгами и нарядив специально для этого из своей батареи самых дюжих артиллеристов... После экзекуции Вавилов был отправлен им в Петровский завод, до окончания срока работ.

Но и после этого не угомонился Вавилов: случайно встретив какую-то дуру, золотопромышленницу, лет уже за сорок, он так ее обошел, что она предложила ему место главного управляющего на приисках. Он согласился с условием, что

сначала она заплатит за него долги, которых, по его уверению, у него было до четырех тысяч. Получив деньги, он немедленно скрылся и был пойман по заявлению золотопромышленницы уже в областном городе Чите. Там его судили за кражу и за побег с места работ и отправили уже на Кару. Спустя несколько лет, я наводил на Каре о нем справки, но узнать ничего не мог, кроме того, что он отбыл все года и вышел на поселение, а куда — неизвестно.

Так дальнейшей судьбы этого «сюжета» я и не знаю.

Зиму 18... года мне пришлось провести на Каре. С непривычки это было чрезвычайно трудно, да и зима стояла очень суровая, так что обычные, по должности моей, разъезды по карийским тюрьмам, разбросанным почти на тридцативерстном расстоянии, составлявшие мое главное развлечение, уже не манили меня из маленькой, чрезвычайно низенькой, но теплой комнатки, носившей громкое название: «Квартира и канцелярия г. чиновника особых поручений». Раз как-то под вечер сидел я совершенно один дома и скучал страшно: хозяйки, с которой обыкновенно я коротал длинные зимние вечера, и сына ее, мальчика лет 10, с которым мы часто возились, не было; в качестве акушерки она уехала на практику верст за двадцать, взяв и его с собой. Никто из знакомых не заходил, читать было нечего, ибо в такой глуши, как Кара, и читается по-особому; почта приходит раз в две недели, а по плохой дороге, весной или осенью, и раз в месяц; привезут тебе сразу кучу газет за месяц и больше, журналы, письма. Набросишься на все это, читаешь до головной боли, до бессонницы, и кончишь все очень быстро, а там опять настанет время, злишься на себя, зачем сразу прочел все и ждешь следующей почты с таким же нетерпением, с каким гимназисты ждут каникул, считаешь дни, и вдруг телеграмма на имя заведующего каторжными: «По случаю разлива реки N, почта задержана». Это при мне случалось несколько раз, и всякий раз несказанно огорчало тех немногих обитателей Кары, которые интересовались узнать, что *два месяца назад* произошло в мире... Сидел я и скучал, поджидая, не зайдет ли кто, как вдруг под окнами послышались звуки бубенцов, и кто-то на паре, в больших санях, подъехал к крыльцу; конечно, накинув доху на плечи и нахлобучив шапку, я выскочил на крыльцо, предполагая встретить гостей, но должен был тотчас же разочароваться: приехал какой-то странствующий торговец, с самым обыкновенным, будничным, так сказать, товаром: простым мылом, сальными свечами, маслом, мороженым молоком, яйцами, кедровыми орехами и проч. В глухую, скучную пору и это явилось развлечением; представлялась возможность провести полчаса в разговоре с заезжим человеком, справиться о ценах на его товар, купить что-нибудь для хозяйства, узнать новости по соседству, словом, убить полчаса. Так как на воздухе было нестерпимо холодно, то я распорядился позвать прасола на кухню, чтобы там, пока он обогрется, побеседовать с ним. Входит, вижу: большого роста, с удивительно широкими плечами и грудью человек с окладистой, густой бородой, занесенный снегом, и с огромным кулем на плечах. В куле он притащил образчики своих товаров. По осмотре кухаркой, или, по-сибирски, «стряпкой», припасов, они оказались отличного качества. В ценах кухарка с купцом несколько расходилась, но он так убедительно доказывал невозможность продать их дешево, приводя чуть не всех святых в свидетели, что я, наконец, вмешался в их спор и приказал принять от него все, что было нужно. Пока он отвечивал и откалывал, потому что все было мороженое, я не мог достаточно надивиться ловкости его приемов: видно было, что человек с малых лет состоял при этом деле. Когда дело дошло до расплаты, купец, принимая деньги, обратился ко мне:

— Чайком бы угостили, ваше благородие: страсть иззяб; в следующий раз (мы ведь часто сюда ездим) уж угодил бы вашей милости, и рыбки бы захватил мороженой, самой хорошей, с Нерчинского завода.

— Сделай милость, погрейся... А ты разве с завода сюда приехал? — спросил я.

— То есть как вам доложить? По нашему, значит, делу мы по всей округе путешествуем; мы не токмо продаем, и покупаем, что подходящее; в заводе рыбки прихватим, в Аге (Агинская степная дума, резиденция тайши бурят; их считается в ведомстве до 12 тысяч), у бурят, скот, кожи, сало и прочее, их касающееся; тут, по Шилке, больше пушнины ищем; так круглый год и разъезжаем. Доткнешься до города (Читы), продашь тамошним оптовикам, что понабрал, взамен от них возьмешь нового товару, и опять в путь.

— Да много ли товару уложишь ты на воз?

— Нешто возможно-с, — прихлебывая с блюда горячий чай, ответил прасол, — ведь я сюда приехал на одном возу, потому, извините, место здесь самое бедное; еще продать продашь, особенно господам чиновникам, а уж купить чего подходящего здесь не у кого; остальной обоз у меня остался в Шилке (селение в 20 верстах)... А вы, ваше благородие, должно, не из здешних уроженцев, — приезжий из России?

— Да; почему ты это угадал?

— Ведь видно сейчас; у вас и книг много, и музыку есть (у меня была небольшая гармонь-флют), да и разговор не наш, не сибирский.

— А ты сам коренной сибиряк? — спрашиваю.

— Нет-с, а только давно уж здесь, «осибирячился» вполне.

— Откуда же родом? Не земляк ли? Я из Питера.

— Мы из Казани, — почитай, та же Сибирь!

— Как же ты попал сюда? С отцом переселился или сослан?

— Сослан-с. Давно, годов семнадцать назад присужден был к каторге на восемь лет... Вашу Кару знаю во как, — прибавил он с улыбкою.

— За что же? — продолжаю его спрашивать.

— Сказать вам, так вы не поверите, пожалуй; молод был, горяч; товарищи любили меня, возлагали на меня какие-то надежды, что вот-де из него человек выйдет; об отступлении и речи не могло быть, я и полез на рожон, впереди всех; результат: сальными свечами и мылом торгую в Забайкальской области! — прибавил он с горечью.

При этом речь его настолько сразу изменилась, перестав быть прежнею, чисто мелко-купеческою, что я невольно взглянул на него.

— Я все-таки не понимаю, за что вас сослали, — переменяя «ты» на «вы», продолжал я.

— Может быть, вы слыхали про Б-ую историю?

— Как же; она наделала довольно шума в свое время.

— Ну-с, так я, будучи студентом третьего курса, принимал в ней самое живое участие; кончилась она очень скоро, не дав нам ничего в результате, а пострадало народу много. Одного из пострадавших вы и видите перед собой. Моя фамилия Кочетов...

— Как же вы так изломали себе язык? Я был убежден, что вижу природного прасола. Ведь вы только под конец заговорили по-человечески...

— Таким делом занялся, что без этого и вести его нельзя. Когда я окончил каторгу, меня приписали на поселение в одну из самых глухих волостей Забайка-

ля, с запрещением выезда оттуда. Что мне было там делать? Работы подходящей, например, места учителя, конторщика, приказчика, наконец, получить решительно невозможно; пахать, заниматься хозяйством — неспособен, тоже потому, что незнаком с самыми элементарными приемами, да и нужно иметь лошадь и всякие штуки, вроде сохи, бороны и проч., чего я не имел. Денег у меня было, когда я прибыл в свою волость, около пятидесяти рублей. Ничего не делая, я прожил бы их в полгода, не более, а затем что? Во время сиденья в тюрьмах меня часто выбирали в артельные старосты, и тут-то я наметался в искусстве распознавать всякие обыденные припасы: муку, крупу, сало, свечи, мыло, словом, все то, чем торгую теперь. Меня обмануть было трудно, и я задумал разъезжать по своей и соседним волостям, заняться куплей-продажей всего этого. Так я и сделал; нанял работника-бурята, вместе с его лошадей, что-то за три рубля в месяц, на моих харчах; в долг, с рассрочкой, приобрел телегу и тронулся в путь. Расчет оказался верным; сначала я больше менял товар на товар, скупал наиболее ценный и не портящийся, как, например, скотские кожи, и продавал их уже гуртом за деньги, с хорошей выгодой, какому-нибудь заезжему купцу, а когда, через два года, последовало мне разрешение разъезжать по всей области, не исключая и городов, то я и мануфактурным товаром занялся, и пошло дело еще лучше... Теперь у меня три, хотя маленьких, лавочки есть в хороших, больших селениях, да занимаюсь скупкой скота, лошадей, так что сам бы мог и не ездить, да уж очень скучно сидеть на одном месте; кроме того, много денег распустил в долг, так что езжу собирать их. Женился на казачке; за нею взял полное хозяйство и живу хорошо... А ведь вы как будто удивляетесь, что бывший студент «кулаком» стал? Да?

— Немудрено удивиться; с этим и вы согласитесь сами; но еще удивительнее то, как вы речь могли так изменить? Вы объяснили ранее, что дело ваше такой речи требует: с простым человеком дело по преимуществу имеете, а со мной для чего же вы так говорили?

— Да просто привычка; мне гораздо труднее говорить языком «господским», так сказать. Однако, уже поздно, а мне на среднюю Кару нужно попасть... Прощения просим, за хлеб за соль!

— Пойдите, еще вопрос: читаете ли теперь? — остановил я его.

— Где тут, помилуйте, не до того! Я уже лет шесть и книги в руки не брал! По нашему делу этого не *требуется*, — добавил он шутя.

Несколько раз мы еще встречались, и он всегда был торговец, и только. Человек не старый, в полном расцвете сил, с образованием, он забыл свою молодость, свои стремления, поставил целью жизни «рупь», и считает себя совершенно счастливым... Но прав ли он?

От редакции: очерк публикуется с архаичной авторской орфографией.

# Очерк и публицистика



ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ

## Письма Валентина Распутина Николаю Беляеву

*Николай Дмитриевич Беляев (1941–1994) родился в д. Жлобино Аларского района Иркутской области. Окончил Иркутский государственный университет имени Жданова. Несколько лет занимал выборные должности: работал первым секретарем райкома комсомола и инструктором райкома партии.*

*Сергей Беляев вспоминает: «Характер у Николая был спокойный, уравновешенный. Он любил колхозников, лесорубов, рыбаков, писал о них с большой нежностью. Отношения его с людьми были открытыми, а шутки и улыбка обволакивали и располагали к нему. В сложных ситуациях бывал находчив и решителен».*

*Долгие годы дружбы соединяли Николая Беляева с его земляком Валентином Распутиным, о чём свидетельствуют его письма.*

О Николае Беляеве я впервые услышал от Валентина Распутина в 2006 году. Мы сидели у Альберта Семёновича Гурулёва, отмечали день рождения, обсуждали минувшие в Усть-Уде Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Валентин вспомнил, как в конце 60-х годов они с Александром Вампиловым «хорошо провели» дни в Усть-Уде.

Я брал с собой в Усть-Уду фотоаппарат, снимал посёлок, гостей праздника, и сказал ему:

— У меня фотографии есть того дома, в котором ты жил, когда учился в Усть-Уде, я тебе их найду.

— Хорошо. Там же отношения были удивительные! Родственников у меня там не было, просто знакомые. Вначале я несколько месяцев прожил в одном доме, потом у милиционера Толдонова. Фамилия, похоже, бурятская, но люди были русские. Тогда отношения были другие. Я жил у них, как у родни. Обедали — меня звали за стол. Подкармливали. Родственники рассчитывались картошкой, в основном, что ещё могли дать? Да и много ли картошки...

В Усть-Уде журналист Коля Беляев был, хороший человек, умер рано, дети у него остались, два сына. Один трагически погиб, второго я встретил на освящении Богоявленской церкви. Коля журналистом был хорошим...

\* \* \*

Спустя несколько лет я познакомился с Сергеем Дмитриевичем Беляевым. Он попросил меня помочь издать книгу Александра Беляева, известного в нашей области журналиста. А в прошлом году сообщил, что сохранился усть-удинский



архив Николая, их старшего брата. Я начал просматривать рукописи, газетные публикации, фотографии. Родилась идея издать книгу его очерков, прозы и стихов.

В очерке «И были, и есть, и будем»<sup>1</sup> Сергей Дмитриевич Беляев вспоминает о своём старшем брате: «Николай родился 6 ноября 1941 года, мама растила его одна, пока отец был на фронте. В 1962 году Коля окончил Иркутское культпросветучилище по классу баяна, он хорошо играл на гармошке, а в училище освоил баян. После окончания его направили в Балаганский отдел культуры, работал хореографом, а потом и директором дворца культуры. Встретил Людмилу, они поженились, родились сыновья Олег и Евгений.

Коля в старших классах стал писать заметки в газеты о сельской жизни. Однажды он послал заметку в центральную газету «Сельская жизнь» о столетней старушке, которая в таком серьёзном возрасте может выпить рюмку-другую, поёт частушки и пляшет. Неожиданно на наш адрес приходит письмо с Украины от неизвестного кинооператора, который хочет приехать и снять фильм о сибирской долгожительнице. Он приехал, и две недели гуляли всей деревней, а он снимал на кинокамеру и долгожительницу, и жизнь деревни.

Заочно поступил в Иркутский госуниверситет, и в том же году его пригласили корреспондентом в усть-удинскую районную газету. Семья переехала из Балаганска в Усть-Уду, и Коля влюбился в этот чистый ухоженный посёлок, расположенный на холме, омываемый с трёх сторон Братским морем и граничащий с сосновым бором, переходящим в тайгу.

Характер у брата был спокойный, уравновешенный. Он любил колхозников, лесорубов, рыбаков, писал о них с большой нежностью. Отношения его с людьми были открытыми, а шутки и улыбка обвораживали и располагали к нему и мужчин, и особенно женщин. В сложных ситуациях бывал находчив и решителен.

В 1964 году, после окончания восьмилетней школы, они с женой Людой взяли меня к себе. Николай в то время сам был молодым человеком, но понимал, что отец, с тяжёлыми ранениями вернувшийся с войны, не мог поднимать многодетную семью, и взвалил на себя этот нелёгкий груз. Я учился в 9-м классе в Балаганске, а в 10-м классе в усть-удинской средней школе, так как Коля перешёл работать в редакцию. После окончания Бахтайской 8-летней школы у брата Николая и Людмилы обучались поочередно я, брат Саша, сестры Валя и Рая. А Люда вспоминает, что, когда ходила в школу на родительские собрания, была горда, когда «её детей» хвалили за прекрасное воспитание! Повзрослев, мы по-настоящему смогли оценить самоотверженность нашего старшего брата и особенно его жены. Мы все низко кланяемся ей и благодарим за её любовь и заботу.

Работая в газете, Николай познакомился с писателем Валентином Распутиным. Общность интересов сблизила их. Прилетая вечерним самолётом в Усть-Уду, Валентин часто останавливался у брата переночевать, они разговаривали, шутили, могли выпить рюмку-другую водки и повеселить душу баяном. Были они молоды, и разговоры порой продолжались до утра. Отец мне рассказывал, как он встретился с Распутиным у сына, в то время Валентин был уже известным писателем, за столом предложил поднять рюмку за здоровье отца. Но тот ответил, что не может, болеет. Постеснялся. «Ведь передо мной всемирно известный писатель, — вспоминал отец. — Они попросили меня истопить баньку. Пришли все в саже, но довольные!» С Валентином Распутиным Николая сближала, видимо, и общность литературных интересов, и схожесть взглядов на происходящее в стране».

---

<sup>1</sup>А.Беляев. *Обвинены в крестьянстве. Книга творчества и судьбы. Издательский центр «Сибирь». Иркутск, 2016 г.*

Николай Беляев постоянно публиковался в областных газетах «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодёжь», в патриотических газетах «Литературный Иркутск», «Земля», «Русский Восток», участвовал во Всесоюзных конкурсах. Газета «Сельская жизнь» в заметке «Конкурс завершён, конкурс продолжается» сообщает: «Редакционная коллегия газеты «Сельская жизнь» и президиум ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса подвели итоги литературного конкурса на лучший очерк, проведённого в 1986 году. В конкурсе приняли участие писатели, журналисты, рабселькоры, передовики производства.

Премии и дипломы лауреата присуждены И. Пономарёву за очерк «Щедрость», Н. Пуговице за очерк «Степь да степь кругом», В. Яковенко за очерк «Характер», О. Зейналову за очерк «Беспокойный Никитин», Н. Кускову за очерк «Возвращение песни», В. Янгазову за очерк «Крылатый хлебороб».

Премиями и дипломами отмечены также: Н. Беляев за очерк «За Ангарой у Красной пади»...»

Замечу, если из 600 претендентов выбрали восьмерых и среди них оказался Николай Беляев, это, на мой взгляд, высокая оценка.

Он был смелым человеком, а в девяностые годы, когда начался развал СССР, это было небезопасно, резко высказывался о появившихся на волне перестройки перевёртышах. В статье «О рабской психологии», опубликованной в газете «Земля», писал:

«В пылу амбиций бывшая номенклатура, спрятав мундир партийного, хозяйственного и прочего функционера под пёстрым сарафаном демократа, сшиблась в смертельном противостоянии с бывшими братьями по идее.

Если революция, то, разумеется, должны быть и жертвы. Кто же не видит, что жертвой, как всегда, оказался простой народ, который ещё вдобавок новые переустроители обвиняют в рабской психологии. Всем известно, «двух хозяев в доме не бывает», и «паны дерутся — у холопов чубы трещат». Что сейчас творится в нашей стране?

Народу и раньше идеи марксизма-ленинизма, как говорится, были «до фени». Ему не нужно было ради хитромудрых ходов или карьеры вступать в партию, публично возносить (опять-таки не бескорыстно) самый передовой строй и верных ленинцев. Люди открыто смеялись над очередными выдающимися заслугами очередных вождей и презирали всю эту свору лизоблюдов, работающих на систему и вождей».

В статье «Тайга и её богатства» он пишет о состоянии промыслово-охотничьего хозяйства в 1977 году. Устарели многие факты и цифры, но правдивость сказанного даёт нам возможность сравнить с сегодняшним днём и делать выводы о том, что произошло в минувшие годы.

Представленные в этой книге очерки об усть-удинских руководителях, народных умельцах, музыкантах — это живая, не музейная история, напоминающая о людях, создававших современный облик посёлка.

Газета живёт один день. И профессия журналиста направлена на злобу дня, на сиюминутность, на отражение постоянно меняющихся событий. Литература предполагает постоянное и вечное. Николай Беляев соединял в себе и то и другое, газетчик в нём погружался в текучку необходимости, писатель, отталкиваясь от дел насущных, шёл на призывный свет человеческой души, ищущей красоты и божественного идеала.

Если посмотреть на современную журналистику, она сосредоточивает своё внимание на катастрофических событиях в большей степени, чем на созидательных.

В архиве Николая Беляева остались многие рукописные и опубликованные очерки, статьи, фельетоны, повести, рассказы, стихи, зарисовки. Он был профессиональным журналистом, у него были и литературные планы, он пробовал свои силы во многих жанрах, но в этом выборе газетчик брал верх над писателем. В 60-е годы многие литераторы Сибири, если не сказать большинство, вышли из газет: Распутин, Вампилов, Гурулёв, Филиппов, другие. Но они оставили газету и сосредоточились на писательстве. Трагические события жизни, характер не позволили Николаю Беляеву оставить журналистику, он пытался совместить её с писательством, но это мало кому удавалось. Некоторые писательские публикации Николай подписывал псевдонимом Дмитрий Стародуб, не стал придумывать какое-то оригинальное имя, а взял имя отца как знак благодарной сыновней памяти.



На снимке: Н. Беляев и В. Распутин.

Неизвестно, когда Николай Беляев познакомился с Валентином Распутиным, вероятно, в конце 60-х — начале 70-х, в 1973 году они уже состояли в переписке. По воспоминаниям Сергея Дмитриевича Беляева, познакомились они в редакции усть-удинской газеты «Ангарская правда», где в то время работал Николай, и, вероятно, с тех пор он стал показывать Распутину свою прозу.

По письму 1975 года видно, что они в дружеских отношениях: «Привет Люде и ребятам. Всех Вас с Праздником! Счастливого и весёлого его — праздника! С дружеским приветом, В. Распутин».

Николая интересовало мнение Распутина о его прозе, они, конечно же, встречаясь, говорили о литературе, и в частности о рассказах Николая, он также посылал их Распутину по почте. Иногда Валентин Распутин отвечал ему письмами.

В архиве Николая Беляева сохранились два письма (1973 и 1975 года) от Валентина Распутина. Ясно по величине конвертов, в них возвращались рукописи, что подтверждает содержание писем. Один из конвертов самодельный, сделан из упаковки почтового набора, это видно по внутренней стороне с обозначением: «Почтовый набор. 12 конвертов и 12 листов для письма. Цена 20 коп. г. Пермь. Печатная фабрика Гознака. 1972». В те годы многие, используя подходящую бумагу, рисовальную или ватман, сами склеивали конверты, особенно нестандартных размеров: их не всегда можно было купить. Возможно, Валентин Григорьевич сам изготовил этот конверт.



В редакции газеты. Слева направо: И. Новопашин, Л. Князьков, Васильков, В. Распутин, Н. Беляев.

По письмам видно, с каким вниманием Распутин разбирает текст, подробно указывает на недостатки и удачные места и делает вывод: «Ты можешь писать». Видно, что Николай перечитывал письма, некоторые строчки подчёркнуты одной или двумя линиями, выделены абзацы, на полях и в тексте стоят восклицательные знаки (на что он обратил особое внимание).

Николай постоянно правил свои тексты: обнаруженные в архиве рукописные и машинописные экземпляры буквально испещрены пометками, зачёркиваниями, заменой слов и строк. Он очень серьёзно относился к занятиям литературой, есть несколько вариантов различных его рассказов. Я думаю, так отражалось влияние Валентина Распутина.

В письме от 22 ноября 1973 г. Валентин Распутин очень подробно анализирует рассказ:

«Как известно, мы можем предполагать что угодно, а располагает нами кто-то другой. Так и у меня нынче вышло: собирался до Нового года в дальние странствия, но в сентябре вдруг угораздило заболеть, затем попал в больницу, откуда только что выбрался. Поэтому рассказ Ваш долго лежал без движения и прочтения.

Прочёл я его внимательно — прочёл лишь сегодня. Дело не в ситуациях, в которые автор ставит своих героев, тут он волен выдумывать что угодно, а в том, как эти ситуации объяснить, сделать их правдоподобными и даже естественными. Мне в вашем рассказе событийная сторона как раз нравится, она кажется и необычной, и смелой, но эти необычность, смелость, а значит, и высота требуют очень плотной, цепкой и убедительной психологической работы, потому что иначе всё это повиснет в воздухе и останется голословным. В общем, так оно и случилось.

Для Вашей «жуткой» (ничего страшного в этом слове нет) истории рассказ мал, размеры районной, да и любой другой газеты её не устроят. Он не прописан, он, как мне представляется, только намечен, а эти характеры ещё писать да писать, толковать да толковать.

Вот что, предположим, может спросить автора читатель.

Почему Евдокия, только что с таким ожесточением набросившаяся на Демьяна (и ожесточение это как будто не ведало ни о каких смягчающих моментах), вдруг сомневается в его вине? Если сомнения существуют, они должны бы присутствовать всегда, тем более в этом разговоре.

Если Демьян взял на себя вину за смерть человека, то что заставило его это сделать? Действительно, что? У вас ведь ни слова о том, а это далеко не пустяк. Таким вещам на слово поверить нельзя — тут нужно писать или напрасное мученичество (легко сказать!) или самопожертвование во имя чего-то, а не просто подставить вместо одной фигуры другую.

Это главные вопросы, и без ответа на них в рассказе не обойтись, а есть ещё второстепенные: предположим, откуда взялись на стане ребятишки? Что осталось у Евдокии помимо стана? И т. д.

К тому же вторая часть рассказа сделана более торопливо, здесь есть и штампы, и не точные, не обязательные, случайные слова. Кое-что я подчеркивал, посмотрите.

Название тоже случайное, да и от лукавого оно. Что это — полуденный сезон? Я, по крайней мере, не представляю. То, что простительно иногда поэтам, прозаику выходит боком.

Таковы вот мои первые замечания. Надеюсь, Вы, Николай, не обидитесь за них на меня — сказал то, что думаю. Лукавить в таких вещах я не умею. А писать Вы, конечно, можете, только пишите проще — и без нас хватает умников, которые добывают сметану из птичьего молока».

Так внимательно, подробно и глубоко рассматривать рукопись в наши дни вряд ли кто способен.

\* \* \*

В зиминской газете «Знамя труда» в 1962 году появилась подборка стихов Николая Беляева с предисловием известного радиожурналиста, любителя поэзии, автора книг о Е. Евтушенко Виталия Комина. Привожу его полностью:

«Теперь я поэзию люблю всей душой и хочу познать её еще глубже», — пишет нам в редакцию Николай Беляев из Балаганска. Ему двадцать один год, а стихи начал писать два года назад. По окончании средней школы он по путёвке Аларского райкома комсомола едет учиться в культурно-просветительское училище. Сейчас работа хореографа в балаганском Доме культуры увлекает его. Но не менее стала увлекать его и работа над поэтическими образами. В этом Николаю Беляеву помогает не только увлечение поэзией, но и художественной прозой.

Молодой поэт умеет найти запоминающийся образ, по-своему, ново рассказать об увиденном. Свободное владение формой — тоже заслуга поэта. И если он по-прежнему будет упорно работать, то мы сможем вскоре прочитать новые хорошие стихи Николая Беляева».

\* \* \*

Разбирая архив Николая Беляева, переданный мне его братом Сергеем Дмитриевичем, я обнаружил двойную открытку от Распутина, вложенную в конверт (печати отправления и получения неразборчивы), — поздравление семье Беляевых с Новым годом. На конверте изображена Спасская башня Кремля и под ней: «С Новым годом!». На обложке открытки — колонок на кедровой ветке (художник А. Исаков). Рисунок не случайный, Валентин выбрал именно его.

«3 января 1986.

Дорогой Николай!

С Новым годом! Пусть он будет не хуже, а только лучше, чем прошедшие, для всей вашей семьи, и пусть в один из дней он поднесёт вам особенный дар — например, внука.

Мы, к счастью или несчастью, обречены на это же. Так хочется, поэтому со своими друзьями единым строем — в дедушки и бабушки.

Поздравления мои запоздали, но едва ли к последнему часу последнего дня старого года поспел с самолёта за праздничный стол. Был в Вене, где ходил в оперу, смотрел, как празднуют венцы Рождество, а под конец, на выезде, для полноты впечатлений попал в маленькую историю, разыгранную в аэропорту арабскими террористами со всем подобающим набором пиф-паф и ой-ой. Но это при встрече.

*Всем поклоны, Ваш В. Распутин»*

Валентин Григорьевич шутиливо сообщает о террористах (а как ещё напишешь в Новогоднем поздравлении?), а событие, невольным свидетелем которого он стал, было весьма трагичным. В 2020 году, во время новейших терактов в Австрии, 1986 год вспоминали, но неохотно. Я нашел в Интернете следующие сведения.

«27 декабря 1985 года произошли два крупных террористических нападения. Семь арабских террористов напали с автоматами и гранатами на аэропорты в Риме и Вене. Девятнадцать мирных жителей были убиты и более сотни получили ранения, прежде чем четверо террористов были нейтрализованы сотрудниками службы безопасности Эль Аль и местной полицией, которые захватили остальных троих. В 08:15 по Гринвичу четверо арабских вооруженных людей подошли к общей билетной кассе израильских авиакомпаний El Al Airlines и Trans World Airlines в аэропорту Рим-Фьюмичино имени Леонардо да Винчи (Италия), открыли огонь из автоматов и бросили гранаты. Они убили 16 и ранили 99 пассажиров, в том числе американского дипломата Уэса Весселса. Трое нападавших были убиты службой безопасности Эль Аль, а Мохаммед Шарам был ранен и схвачен итальянской полицией. Среди погибших — генерал Донато Миранда Акоста, военный атташе Мексики, и его секретарь Дженовева Хайме Сиснерос.

Через несколько минут в аэропорту Швехат (Венский международный аэропорт) трое террористов совершили аналогичное нападение. Ручные гранаты были брошены в толпы пассажиров, стоявших в очереди на регистрацию на рейс в Тель-Авив, в результате чего сразу два человека погибли, третий скончался от осколков ручной гранаты, и ещё 39 были ранены. Австрийские полицейские открыли огонь по террористам. Их поддержали двое охранников Эль Аль. Во время боя было выпущено более 200 пуль. Террористы скрылись на машинах, а австрийская полиция и охранники Эль Аль бросились в погоню. Они убили одного террориста и захватили двоих.

В результате двух атак погибло 19 человек, в том числе ребёнок, и около 140 ранено. Некоторые сообщения утверждали, что боевики первоначально намеревались захватить самолеты Эль Аль в аэропортах и взорвать их над Тель-Авивом; другие пришли к выводу, что нападение на пассажиров было первоначальным планом, и что ещё готовился удар и по аэропорту Франкфурта. Жертвами стали граждане Соединенных Штатов, Италии, Австрии, Мексики, Греции, Алжира, Израиля».

Валентин Григорьевич кому-то, вероятно, рассказывал эту историю, но я ни разу не слышал от него даже упоминаний о том событии, и знакомые, которых я об этом спрашивал, тоже. Но недавно, когда я поведал эту историю писателю Андрею Антипину, он прислал мне копию письма В.Г. Распутина В.П. Астафьеву от 2 января 1986 года (опубликовано в книге «Просто письма». Москва. Молодая гвардия, 2018 г. Из архива А.Ф. Гремницкой). В письме он упоминает о теракте в Вене. Значит, он говорил и писал об этом не только Николаю Беляеву, просто за давностью времени уже мало кто может помнить.

«А уезжая, попали как раз в историю с террористами, когда те забросали гранатами регистрацию на израильский самолёт. Хорошо, что там и на регистрации не бывает больших очередей, а то бы они (арабы) наворочали там мяса, и без того трое убитых и человек семнадцать раненых. А мы в то время подъезжали к аэропорту — вдруг полиция, крики, и где-то вдалеке последние два-три выстрела».

\* \* \*

Неизвестно, когда Распутин вылетел из Вены, возможно в тот же день. После

трагедии аэропорт наверняка был закрыт на какое-то время, вернее всего, он вылетел назавтра, а из Москвы — даже если у него были заранее заказаны билеты — дата и время вылета тоже могли измениться. Он пишет Николаю Беляеву: «Поздравления мои запоздали, но едва ли к последнему часу последнего дня старого года поспел с самолёта за праздничный стол». Скорее всего, он вылетел в Иркутск в ночь на 31 декабря, тогда был такой рейс, существует и сейчас.

Ещё одно письмо датировано 30 октября 1984.

«Дорогой Николай! Спасибо за праздничные поздравления и пожелания, и прими в свою очередь то же самое и от меня. Пусть будет, как говорится, вовне веселье и радость, а внутри покой. Жаль, что ты не написал, как вы съездили в дружественную страну, что видели и что слышали, и какие остались впечатления от наших и ихних. Я уж грешным делом подумал, не обиделись ли вы, что я перед вашим отъездом не нашёл времени, чтобы повидаться. Но я тогда действительно замотался со своей стройкой до того, что белого света не видел, ведь ничего ни купить, ни достать, большинство больших и малых начальничков и совсем никаких не начальничков отличается тем, что разучились держать слово. Так с высунутым языком и бегал с одного места на другое, пока не пришла пора ехать на Алтай, где через несколько дней я, наконец, стал различать, где небо и где земля, что важно и вечно, а что суета сует. Ездили со Светланой и Марией, побывали на шукшинских чтениях. Свозили нас на знаменитое Телецкое озеро, попарились там в баньке перед ухой и в конце десять дней пожили в своё удовольствие на курорте в Белокурихе, где я отмачивал свои болячки и приглядывался к местным достопримечательностям.

После этого ездил к Астафьеву в Красноярск на 60-летие, потом в Москву на праздничный пленум в честь 50-летия нашего Союза, а теперь пристыл дома, и то потому, что прихватили врачи и заставили лечиться. Собирался в Братск к матери (она с сентября там, у сестры), и то не пушают до середины ноября. Отыскали мне знаменитого китайца, и он на моём пузе через день иголками расписывает все тысячи китайских иероглифов.

Дома у нас всё хорошо, все, кроме меня, заняты делом. Чем занимается Олег? Как после Болгарии Усть-Уда? Что нового? Как Люда? И Женя?

Зимой надеюсь побывать в Аталанке, и тогда, быть может, увидимся.

*Кланяюсь, В. Распутин».*

\* \* \*

В архиве Н. Беляева я обнаружил повесть «Живи и помни», изданную в «Роман газете» № 7 (845) 1978 г. с автографом Валентина Распутина: «Люде и Николаю Беляевым с чувствами почти родственными В. Распутин, май 1978». Ещё один автограф на книге Валентина Распутина «Уроки французского». Москва, «Советская Россия», 1981 г.:

«Жене Беляеву от дяди Вали  
с надеждой, что Женя Беляев  
по-прежнему будет хорошо учиться,  
останется для мамы с папой мальчиком послушным  
и вообще будет хорошим парнем.

*В. Распутин».*

\* \* \*

Сохранилось приглашение на творческий вечер Валентина Григорьевича — большая открытка-раскладушка. На лицевой стороне вид зимнего Байкала. Справа: «Уважаемый товарищ! Приглашаем Вас на творческий вечер Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР писателя Валентина Григорьевича Распутина. Вечер состоится 30 мая 1987 года в театре музыкальной комедии. Начало в 17.00. Иркутский горисполком, бюро Иркутской писательской организации».

Слева шариковой ручкой: «Ваш ряд 4, место 3». Справа в самом верху тем же почерком: «Беляев Н.Д.». Был ли Николай на этом вечере, неизвестно.

Две фотографии в архиве связаны с военными сборами, они публиковались в различных изданиях: Валентин Распутин с Ростиславом Филипповым и одиночный портрет: Распутин в полевой форме, в погонах старшего лейтенанта. Июнь 1979 года.

Обнаружено четыре не публиковавшихся фотографии Распутина. Первая фотография, с знакомым сюжетом, но другим ракурсом: Распутин, Евтушенко и его жена Джоан на набережной Ангары в Иркутске. Вторая — Распутин в группе писателей во время Дней литературы в Праге. Крайний справа Роберт Рождественский. Третья — встреча с читателями в библиотеке. Лейпциг. Четвёртая — Распутин с неизвестной на фоне стеллажей библиотеки, предположительно в Вене.

Две фотографии запечатлели сцены из спектакля по произведению Распутина (по какому, установить не удалось). Есть также портрет мужчины, на обороте стоит штамп фотографа: Heinz Kruger BILDREPORTER Берлин. Кто изображён неизвестно, но явно, что В.Г. его знал.

\* \* \*

В следующем ниже письме 1975 г. нет даты написания. На конверте штампы иркутского почтамта — 2.11.75, усть-удинского узла связи — 4.11.75. Интересно, что ранее, на конверте 1973 года указан обратный адрес: Иркутск, 5-й Армии, 36, т.е. адрес Иркутской писательской организации. На конверте 1975 года — домашний адрес Распутина, он тогда жил на бульваре Гагарина, 42, кв. 23. В 80-е годы Распутин переводит почту на абонентский ящик: почтамт, а/я 3209 — видимо, для большей сохранности корреспонденции. О сближении их отношений говорит и обращение в приветствии на «ты».

1975 г.

«Николай, здравствуй!

В последнее время, после месячного сидения в Аталанке, столько навалило всякой срочной работы и переписки, что лишь теперь собрался я тебе ответить.

Рассказ я прочёл внимательно, и ясно, что теперь он лучше, чем был; психологически он выверен, и ударения в нём расставлены точно. Сейчас в нём нет прямого и грубоватого завершения, есть некая плавная и подкупающая незавершённость — это мне нравится. Но язык, язык! Тот первый человек, употребивший или, лучше сказать, заменивший огонь какими-то «рыжими зверьками», едва ли обладал хорошим вкусом, но почему-то «зверьки» бегают и бегают по страницам всевозможных изданий, не удержался от них и ты. Главная беда рассказа, как он есть сейчас, — какая-то ненужная и чрезмерная витиеватость, красивость и пере-



груженность языка разными финтифлюшками там, где нужно говорить просто и ясно. Я делал там подчёркивания, ты их увидишь и поймёшь, о чём я говорю. Для всякого чувства, для всякой картины нужны только простые слова в соединении с простыми же словами, а ты, стараясь уйти от шаблона просторечного, приходишь к шаблону искусственному, а это гораздо хуже, поскольку он уже близок к фальши.

Посмотри ещё раз рассказ, Николай. Хочется, чтобы он был, но не хочется поучать, как это делать, — да и не мне поучать. Но если когда-нибудь тебе захочется, попробуй полностью переписать рассказ, не заглядывая в этот текст. Мне кажется, это пойдёт ему на пользу.

Думаю, что после Нового года мы увидимся и тогда сможем поговорить подробнее. Я в январе, если планы мои не изменит что-то срочное, собираюсь опять в Аталанку.

Слышал, что ты хотел уехать куда-то в северную газету. Правда ли это?

Привет Люде и ребятам. Всех Вас с Праздником! Счастливого и весёлого его — праздника!

*С дружеским приветом, В. Распутин.*

P.S. На критику и откровенность мою, пожалуйста, не обижайся. Занимаясь нашим делом, надо иметь доброту и мужество. Чувствую я, что скоро эти качества понадобятся и мне.

*В.Г.»*

\* \* \*

Основная тема писем — рассказы Николая Беляева. Валентин Распутин серьёзно и требовательно размышляет о недостатках, и в то же время осторожно, не навязывая своего: «если когда-нибудь тебе захочется, попробуй полностью переписать рассказ, не заглядывая в этот текст. Мне кажется, это пойдёт ему на пользу».

В письме нет ни одного хвалебного слова, но заканчивается так, как будто это не поучения учителя, а разговор на равных:

«На критику и откровенность мою, пожалуйста, не обижайся. Занимаясь нашим делом, надо иметь доброту и мужество. Чувствую я, что скоро эти качества понадобятся и мне».

\* \* \*

Сергей Дмитриевич Беляев вспоминает:

«Николай был простым, весёлым, изобретательным человеком, писал о трудовых буднях и социальной жизни посёлка, района. Он видел много недостатков в работе отдельных структур власти, бесхозяйственности и расхитительства, и безжалостного отношения к природе. Будучи первым секретарём райкома ВЛКСМ, он резко выступал на бюро райкома партии, говорил о нерадивых руководителях, а также приспособленцах в партии и власти. Его критические заметки в районных и областных газетах не могли нравиться первым лицам района. Он освещал правдивые факты, поэтому приходилось считаться с его мнением, но это портило общую картину благополучия работы партийных и советских органов. Он многие годы работал заместителем редактора районной газеты, около двух лет первым се-

кретарём РК ВЛКСМ и последние годы — секретарём РК КПСС. Во времена перестройки он писал в газеты о беспощадном хаосе, уничтожении и хищении леса и причастности к этому первых лиц района. В одной из критических статей он писал: «...И не с неба же упали в ограду первого секретаря РК КПСС новенькая «Волга», а председателя райисполкома — новенький «уазик». Они хотели привлечь брата за клевету, судились более двух лет, но у них не получилось».

В 1985 году пришла злополучная «перестройка», т. е. «глобализация и новый мировой порядок». Заволновалось сердце брата, как и большинства советских людей. Он отстаивает через газеты, на совещаниях и личных встречах с «первыми» и демократами идеалы социализма. Ему стали угрожать. После упомянутой статьи о нечистоплотности первых лиц района на него было совершено нападение. Вскоре произошло убийство его сына Олега. Он был убит в 1992 году ножом в сердце на летней кухне дома спящим. Коля ушёл из жизни в пятьдесят четыре года, в расцвете сил, не вынесло сердце. На похоронах было многолюдно, журналисты и редакторы районных и областных газет, прощаясь, говорили о его честности, справедливости и неутомимом характере.

На встрече выпускников 1966 года учитель математики Нина Петровна Рютина с нежностью и любовью вспоминала о Коле. В свои 80 лет она поёт в ансамбле «Серебряная нить» под руководством друга Коли по университету А.Д. Алымова. «Распевки, — сказала она, — всегда начинаются с написанной Николаем песни «В шуме летних ливней...»

*В шуме летних ливней, в шелесте позёмок  
Слышу твоё имя и шепчу в ответ:  
«Изо всех в России, тихий мой посёлок,  
Нет тебя красивей и милее нет».*

*Может, место краше есть на свете где-то,  
Это край мой отчий, и не зря сюда  
Журавли на крыльях нам приносят лето  
И курлычут в небе: «Здравствуй, Усть-Уда!»*

*Кто-то на Чукотке или знойном юге,  
Ни с чего, как будто, вызвав в сердце грусть,  
Вспомнит наш посёлок в тополиной вьюге  
И вздохнёт в раздумье: «Я к тебе вернусь».*

Книгой «По ту сторону моря» Николай Беляев возвращается в свой родной посёлок, не так, как возвращался из дальних и ближних странствий при жизни, но возвращается в мыслях и памяти о людях, с которыми жил, в рассказах о тех тропинках, которыми любил бродить, с любовью к этому удивительному уголку земли и к людям, жившим и живущим на этой земле, где его всегда помнили и помнят».

# Письма Валентина Распутина

## 1

3 января 1986.

Дорогой Николай!

С Новым годом! Пусть он будет не хуже, а только лучше, чем прошедшие, для всей вашей семьи, и пусть в один из дней он поднесёт вам особенный дар — например внука.

Мы, к счастью или несчастью, обречены на это же. Так хочется, поэтому со своими друзьями — единым строем в дедушки и бабушки.

Поздравления мои запоздали, но едва ли к последнему часу последнего дня старого года поспел с самолёта за праздничный стол. Был в Вене, где ходил в оперу, смотрел, как празднуют венцы Рождество, а под конец, на выезде, для полноты впечатлений попал в маленькую историю, разыгранную в аэропорту арабскими террористами со всем подобающим набором пиф-паф и ой-ой. Но это при встрече.

Всем поклоны, Ваш В. Распутин.

## 2

30 октября 1984.

Дорогой Николай! Спасибо за праздничные поздравления и пожелания, и прими в свою очередь то же самое и от меня. Пусть будет, как говорится, вовне веселье и радость, а внутри покой. Жаль, что ты не написал, как вы съездили в дружественную страну, что видели и что слышали, и какие остались впечатления от наших и ихних. Я уж грешным делом подумал, не обиделись ли вы, что я перед вашим отъездом не нашёл времени, чтобы повидаться. Но я тогда действительно замотался со своей стройкой до того, что белого света не видел, ведь ничего ни купить, ни достать, большинство больших и малых начальничков и совсем никаких не начальничков отличается тем, что разучились держать слово. Так с высунутым языком и бегал с одного места на другое, пока не пришла пора ехать на Алтай, где через несколько дней я, наконец, стал различать, где небо и где земля, что важно и вечно, а что суета сует. Ездили со Светланой и Марией, побывали на шукшинских чтениях. Свезили нас на знаменитое Телецкое озеро, попарились там в баньке перед ухой и в конце десять дней пожили в своё удовольствие на курорте в Белокурихе, где я отмачивал свои болячки и приглядывался к местным достопримечательностям.

После этого ездил к Астафьеву в Красноярск на 60-летие, потом в Москву на праздничный пленум в честь 50-летия нашего Союза, а теперь пристыл дома, и то потому, что прихватили врачи и заставили лечиться. Собирался в Братск к матери (она с сентября там, у сестры), и то не пуцают до середины ноября. Отыскали мне знаменитого китайца, и он на моём пузе через день иголками расписывает все тысячи китайских иероглифов.

Дома у нас всё хорошо, все, кроме меня, заняты делом. Чем занимается Олег? Как после Болгарии Усть-Уда? Что нового? Как Люда? И Женя?

Зимой надеюсь побывать в Аталанке, и тогда, быть может, увидимся.

Кланяюсь, В. Распутин.

22 ноября 1973 г.

Добрый день, Николай!

Как известно, мы можем предполагать что угодно, а располагает нами кто-то другой. Так и у меня нынче вышло: собирался до Нового года в дальние странствия, но в сентябре вдруг угораздило заболеть, затем попал в больницу, откуда только что выбрался. Поэтому рассказ Ваш долго лежал без движения и прочтения.

Прочёл я его внимательно — прочёл лишь сегодня. Дело не в ситуациях, в которые автор ставит своих героев, тут он волен выдумывать что угодно, а в том, как эти ситуации объяснить, сделать их правдоподобными и даже естественными. Мне в вашем рассказе событийная сторона как раз нравится, она кажется и необычной, и смелой, но эти необычность, смелость, а значит, и высота требуют очень плотной, цепкой и убедительной психологической работы, потому что иначе всё это повиснет в воздухе и останется голословным. В общем, так оно и случилось.

Для Вашей «жуткой» (ничего страшного в этом слове нет) истории рассказ мал, размеры районной, да и любой другой газеты её не устроят. Он не прописан, он, как мне представляется, только намечен, а эти характеры ещё писать да писать, толковать да толковать.

Вот что, предположим, может спросить автора читатель.

Почему Евдокия, только что с таким ожесточением набросившаяся на Демьяна (и ожесточение это как будто не ведало ни о каких смягчающих моментах), вдруг сомневается в его вине? Если сомнения существуют, они должны бы присутствовать всегда, тем более в этом разговоре.

Если Демьян взял на себя вину за смерть человека, то что заставило его это сделать? Действительно, что? У вас ведь ни слова о том, а это далеко не пустяк. Таким вещам на слово поверить нельзя — тут нужно писать или напрасное мученичество (легко сказать!) или самопожертвование во имя чего-то, а не просто подставить вместо одной фигуры другую.

Это главные вопросы, и без ответа на них в рассказе не обойтись, а есть ещё второстепенные: предположим, откуда взялись на стане ребятишки? Что осталось у Евдокии помимо стана? И т. д.

К тому же вторая часть рассказа сделана более торопливо, здесь есть и штампы, и не точные, не обязательные, случайные слова. Кое-что я подчеркивал, посмотрите.

Название тоже случайное, да и от лукавого оно. Что это — полуденный сезон? Я, по крайней мере, не представляю. То, что простительно иногда поэтам, прозаику выходит боком.

Таковы вот мои первые замечания. Надеюсь, Вы, Николай, не обидитесь за них на меня — сказал то, что думаю. Лукавить в таких вещах я не умею. А писать Вы, конечно, можете, только пишите проще — и без нас хватает умников, которые добывают сметану из птичьего молока.

Теперь о нашей договоренности относительно моего приезда в Усть-Уду. До Нового года из-за болезни, от которой я ещё оправился не совсем, я двигаться никуда не смогу. Хорошо бы, если это устроит Вас, назначить встречу сразу на начало января, потому что затем я опять собираюсь уехать.

И черкните, пожалуйста, мне, как решите.

Всего Вам доброго, Николай.

22.XI — 73 г.

В. Распутин.

## 4

Николай, здравствуй!

В последнее время, после месячного сидения в Аталанке, столько навалило всякой срочной работы и переписки, что лишь теперь собрался я тебе ответить.

Рассказ я прочёл внимательно, и ясно, что теперь он лучше, чем был; психологически он выверен, и ударения в нём расставлены точно. Сейчас в нём нет прямого и грубоватого завершения, есть некая плавная и подкупающая незавершённость — это мне нравится. Но язык, язык! Тот первый человек, употребивший или, лучше сказать, заменивший огонь какими-то «рыжими зверьками», едва ли обладал хорошим вкусом, но почему-то «зверьки» бегают и бегают по страницам всевозможных изданий, не удержался от них и ты. Главная беда рассказа, как он есть сейчас, — какая-то ненужная и чрезмерная витиеватость, красивость и перегруженность языка разными финтифлюшками там, где нужно говорить просто и ясно. Я делал там подчёркивания, ты их увидишь и поймёшь, о чём я говорю. Для всякого чувства, для всякой картины нужны только простые слова в соединении с простыми же словами, а ты, стараясь уйти от шаблона просторечного, приходишь к шаблону искусственному, а это гораздо хуже, поскольку он уже близок к фальши.

Посмотри ещё раз рассказ, Николай. Хочется, чтобы он был, но не хочется поучать, как это делать, — да и не мне поучать. Но если когда-нибудь тебе захочется, попробуй полностью переписать рассказ, не заглядывая в этот текст. Мне кажется, это пойдёт ему на пользу.

Думаю, что после Нового года мы увидимся и тогда сможем поговорить подробней. Я в январе, если планы мои не изменит что-то срочное, собираюсь опять в Аталанку.

Слышал, что ты хотел уехать куда-то в северную газету. Правда ли это?

Привет Люде и ребятам. Всех вас с Праздником! Счастливого и весёлого его — праздника!

С дружеским приветом, В. Распутин.

P.S. На критику и откровенность мою, пожалуйста, не обижайся. Занимаясь нашим делом, надо иметь доброту и мужество. Чувствую я, что скоро эти качества понадобятся и мне.

В.Г.

## 5

27.12.86, Москва

Дорогие Люда и Николай!

Олег и Женя!

С Новым годом вас, с новым отсчётом и новыми надеждами! Для того чтобы всё у Вас было хорошо, примите и мою мольбу. Надеюсь на встречу, в феврале собираюсь в ваши края.

Обнимаю, В.Распутин

## 6

31.12.90, Москва

Дорогие Люда и Николай!

Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с Рождеством! Надеюсь, что

больше болезней и страданий у вас не будет, а маленькие в нашем возрасте и в наше время — это в порядке вещей. Пусть и второе и третье ваши поколения также минуют все беды.

Я вот уже два месяца безвылазно нахожусь в Москве, и ещё январь, вероятно, придётся здесь же провести. Правда, с дочерью и женой. Жена училась на ФПК и теперь возвращается в Иркутск, а дочь у нас учится в консерватории, и после сессии тоже на каникулы домой. А потом и я, хотя сейчас загадывать наперёд дальше двух дней трудно.

Вообще грядут тяжелые времена, и я завидую тем, кто, как и вы, имеет возможность где-нибудь в провинциальном затишье полагаться на себя и свои силы (а также на своё подворье).

Примите, как прежде выражались, мою дружбу.

В. Распутин

## 7

Февраль 1982

Дорогие Людмила, Николай и Женя с Олегом!

По разгильдяйству своему (и занятости тоже, но это уже после разгильдяйства) я до сих пор не удосуживался ответить. За что и приношу свои извинения.

После Аталанки, прожив дома три дня, мы с Владимиром Крупиным, которого я ждал в Аталанку, уехали на Байкал и пробыли там месяц, и Крупин, знающий толк в мёде, не мог нахвалиться на ваш мёд; домашние мои тоже принялись за него с удовольствием особенным, но как ни стараемся, едим его и по сию пору — так велика была посудина. Едим и вас вспоминаем. Спасибо за всё, а за мёд в особенности, я так, грешный, такого и не пробовал, кажется, раньше. Да и все, кого угощали, в голос говорят: домашний, не порченный.

Я только что вернулся теперь уже из Москвы. Ездил на премьеру фильма «Прощание» (по «Матёре»), да и по другим делам, сдал наконец книжку рассказов в «Молодую гвардию», казалось бы, можно отдохнуть, но настолько везде всем задолжал, что не знаю, за что в первую очередь хвататься. А тут праздники на носу, полевые работы, а в июне, в самом начале, предстоит долгая поездка в ФРГ.

Вот такие мои пироги, как ныне говорят. Как вы? Собираете, наверное, Олега в Армию?

Всего вам хорошего!

С приветом,

В. Распутин.

## 8

Дорогие Люда, Женя и Николай!

С Новым годом вас, с новыми надеждами и некоторыми свершениями! Но поперёд всего — будьте здоровы. Если к этому ещё окажные политики дадут пожить спокойно — оно и ладно. Всё остальное как-нибудь.

И ещё одно маленькое пожелание: бывая в Иркутске, не забывайте о нас.

Обнимаю.

25 декабря 1983, В. Распутин.

По штемпелю на конверте открытка отправлена из Иркутска 27.12.83 г.



## НАДЕЖДА ТЕНДИТНИК



### Иркутские писатели А. Зверев, А. Горбунов, В. Забелло

---

ТЕНДИТНИК Надежда Степановна (07.03.1922, Слюдянка — 2003, Иркутск) литературовед, критик, кандидат филологических наук (1951), профессор Иркутского государственного университета, член Союза писателей России (1989). В 1941 поступила в Иркутский университет на филологическое отделение историко-филологического факультета. По окончании университета два года проработала литературным сотрудником в областной газете «Восточно-Сибирская правда». В 1947 поступила в аспирантуру ИГУ. В 1951 защитила кандидатскую диссертацию «Роман А. Серафимовича «Железный поток». С 1951 по 1954 преподавала литературу в Иркутском институте иностранных языков. В 1954 пришла работать в ИГУ на кафедру советской (сейчас — новейшей русской) литературы. В 1961 стала первым заведующим кафедрой журналистики. В 2000 ушла из университета, но продолжала преподавать в Гимназии №1 и печататься в периодике. Много публиковалась в иркутской периодике, в частности, в журнале «Сибирь». Писала о произведениях сибирских прозаиков и драматургов. Публиковала много работ, посвящённых творчеству иркутских писателей, а также о писателях русского зарубежья. Награды: медаль «Ветеран тыла», грамота мэра Иркутска, знак Министерства культуры «За достижения в культуре». Сочинения: К вопросу об общественной сущности литературного творчества в наследии А. Серафимовича-критика. Иркутск, 1959; Проблематика романа Ф.М. Достоевского «Игрок». Иркутск, 1959; Вяч. Полонский и некоторые проблемы творческого метода в критике 20-х годов. Иркутск, 1972; Энергия писательского сердца: лит.-критич. очерки. Иркутск, 1988; Перед лицом правды: очерк жизни и творчества Александра Вампилова. Иркутск, 1997; Валентин Распутин. Колокола тревоги: очерк жизни и творчества. Москва, 1999. Литература: Андреева В. Исполненность предназначения: к 85-летию со дня рождения Н.С. Тендитник // Сибирь. Иркутск, 2007; Байбородин А. Не смирение со злом: памяти Н.С. Тендитник // Родная земля. Иркутск, 2005; Ходий В. Первая — она и есть первая... // Вост.-Сиб. правда; Совет. молодёжь (совмест. вып.). Иркутск, 2011.

## Землепроходец [Об Алексее Звереве]

Подвиги сибиряков в Великой Отечественной войне восходят к беспримерному мужеству русских землепроходцев. Московские и новгородские воины, пашенные мужики, казаки шли севером и югом, продирались через тайгу и реки, сухим путём и мокрым, и были что огонь, которым можно было и «обогреться», и «обжечься».

Род известного талантливому писателя Алексея Васильевича Зверева, воина, учителя, писателя, великого труженика, восходит к первым казачьим поселениям в окрестностях Иркутска. Предком его считают в семье казака Данилу, пришедшего в Сибирь триста пятьдесят лет назад. Он обосновался в Ошуне, что в десяти километрах от села Усть-Куда вниз по течению Ангары. Имя Даниила зафиксировано в книге церковных записей. Прозвище Зверь отражало его одинокий образ жизни в тайге.

Семейное древо разрасталось пышно, питая корни и крону трудом крестьян и строителей, тружеников-интеллигентов, воинов.

Отец писателя Василий Романович — крестьянин, председатель сельскохозяйственного товарищества в Усть-Куде; дед Роман и его двоюродный брат плотник Кирилл строили в Камчатнике дачу князю Волконскому.

Дети и внуки Василия Романовича, дожившего до 1955 года, оставили заметный след в литературе, науке, живописи. Старший брат Алексея Васильевича Петр Васильевич воевал, окончил академию им. Крупской, был учителем и преподавателем политэкономии в институте иностранных языков. Его сын Анатолий Петрович Зверев тоже воевал — на Карельском, 3-м Белорусском и Забайкальском фронтах, защитил диссертацию, написал две книги — о трудовых ресурсах колхозов Иркутской области и о путях улучшения использования рабочей силы в сельском хозяйстве. Проблемы, поставленные в них, актуальны и сейчас.

Дело Алексея Васильевича достойно продолжают его сын — художник Валерий Алексеевич, внучатый племянник подполковник Юрий Анатольевич и др. Важно не растерять во времени новые ветви семейного древа.

Интерес к проблемам экономики, к судьбам крестьянства был в семье Зверевых наследственным. Алексей Васильевич вспоминал: в быту, в хозяйстве, в земледелии семья отличалась культурностью. Здесь первыми в селе стали сортировать и формалинить семена, рационально кормить животных.

Неизменно светло и благодарно вспоминал писатель отца и свою большую семью, где за стол ежедневно садилось двенадцать человек, где никто не курил, а водка была редкой гостьей. Мать писателя звала избу «нардомом», где все были певучими, любили острое слово. Здесь не умолкали балалайка, гитара, гармонь. Первые на селе артисты, рассказчики, декламаторы, ораторы вышли из этой семьи.

Отцу писателя Василию Романовичу уготована была поистине трагическая судьба. Крестьянин-середняк, уравновешенный, невозмутимый по характеру, всегда одержимый задумками, он вступал в жизнь, когда революционные бури пронесли по стране. По осиротевшим полям прошли восставший Чехословацкий корпус, семёновцы, Колчак. Рачительный хозяин, порвав с колчаковцами, стал первым председателем волостного исполкома. Большие надежды внушил нэп, и он купил молотилку, стал лавочником. Суровая по характеру мать Татьяна



Павловна, нажившая в работе приличный горб, отводила, и не раз, беду от мужа, от его неожиданных и часто необдуманных предприятий. «Кажется, — отмечает Алексей Васильевич, — она была умнее отца». Раскулачивание обошло семью стороной, и, может быть, потому о нэпе писатель вспоминал часто и искренне желал возвращения крестьянину воли в хозяйствовании. Он знал в этом толк. Но суждено было пережить очередной поворот, излом крестьянского уклада жизни в годы коллективизации.

Главным в судьбе и творческой биографии было чувство коллективизма, согревавшее в самых трудных ситуациях. Он всегда помнил, как коммунары решили отправить его учиться на собранные для этого средства. «Я выполнил их поручение». Учился, в сущности, всю жизнь. Перед самой войной уехал с этой целью за старшим братом в Горьковскую область, где и окончил курс в учительском институте.

Неизвестно, как сложилась бы судьба, если бы не гибель брата на финской войне. В 1940 году Зверев вернулся в Сибирь. Здесь и застала его война, и он ушел в армию добровольцем. Предложили в армии поучиться на минометчика, и он выучился.

Немыслимо тяжким оказался путь будущего писателя из центра России в Сибирь, а затем через всю страну — на фронт. На войне участвовал в самых горячих сражениях: курско-орловское направление, освобождение правобережной Украины.

Война переломила биографию писателя, как и судьбу страны. Зверев зажил на фронте в стихии народного характера. По праву старшего в своём подразделении (ему было двадцать восемь — тридцать два года) он был отцом и другом солдат. Их судьбы повторились потом и обрели новую жизнь в повестях, рассказах, романах, в публицистике начинающего писателя. «Смотри-ка ты, молодой, а седой», — сказал кто-то из молодых писателей, когда Алексей Васильевич пришёл в литературу.

В биографии героев его повести «Раны» (1976) буквально разбросаны подробности его собственных дум и переживаний и, конечно же, истории тех, с кем вместе воевал. Бывший пахарь, солдат Евлампий Гневывшев, капитан Дахов, горячий юный кавказец Умраян Грант, медицинская сестра Леля, учитель Волков, художник Трунов, лейтенант, вчерашний школьник Лукахин, артиллерист Катков, бесшабашный в прошлом солдат Ивкин, готовый с войной подружиться, капитан Сопунов — много их, кто помог, по признанию писателя, «впервые узнать понятие «народ» в непосредственном его рассмотрении». Люди из училищ и учреждений, от станков и плуга «образовали огромные семьи, названные полками, дивизиями, корпусами, открыто, оголённо стали вместе спать, есть и пить, мёрзнуть и голодать, болеть и умирать, смеяться и плакать. Так возникло глубочайшее чувство дружбы и товарищества. Тепло этого людского единения очень сильно и долговременно».

Модно говорить сейчас, что реализм устарел, да и русская литература «умерла». Прозаик Зверев убеждает: реализм неиссякаем. Он обогащён выразительной символикой войны-костра, образом выздоравливающей страны. Питательные соки его — народные рассказы, прибаутки, меткие поговорки. В нём опыт автора, почти неотделимый от опыта воюющего народа. В нём быт, поднявшийся до знака бытия. Язык Зверева неповторим в своей образности, глубинной народности. Писатель органично влился в мир художественной прозы, которая поименована была в те годы «деревенской» и по достоинству оценена сегодня. Зверев вошёл в число выдающихся мастеров возрождающейся заново национальной литературы.

Выверяя судьбу своих героев опытом народа, писатель не мог не обратиться к проблемам не менее острым, чем война, — экологическим. Его повесть «Лыковцы и лыковские гости» (1980) не только о разорении земли и водных источников Сибири. Она о крушении человека, пытающегося отгородиться от общей судьбы. Иные готовы совершить преступление и сесть в тюрьму, лишь бы не идти на фронт. Укрывшись от коллективизации в жутких лачугах на берегу Ангары, они превратились в хищников, грабителей природы, как и защитники этого промысла — большие начальники, любители «рыбалки».

В 1989 году, уже будучи очень больным, Зверев публикует в «Восточно-Сибирской правде» потрясающий силою художественных обобщений очерк «Семья». Поверив в блага объявленного тогда семейного подряда, сравнив его с фермерством, писатель заговорил о потере крестьянской души, об «шарашивании воли» земледельца, о жестоком безвременье, переживаемом деревней. Мужество ветерана войны на закате судьбы проявилось в главном протесте против шельмования самого святого чувства — патриотизма.

Патриотизм для А. Зверева — чувство не показное, совестливое, некрикливое и «выражается в работе, в деле, в ратных делах». Патриотизм, повторял он, «душа нации», её характер, обретённый в трудном, трагическом движении народа. В статье «О друзьях-товарищах» (1982) он пишет: «Наш, русский патриотизм взращён веками несчастий, бед, страданий, поражений и побед, мучительного обретения независимости, вековой мечты о социальной свободе». Биография истинного художника, сына своей страны, есть и биография родины.

Путь, пройденный Алексеем Зверевым, свидетельствует именно об этом.

*Вост.-Сиб. правда. 2000. 23 февр. С. 3.*

## **«Это всё живёт во мне...» К 60-летию Анатолия Горбунова**

Н.С. Лесков в 1880 году, ссылаясь на книгу Горация «Искусство поэзии», напомнил: «Прежде чем станешь писать — научись же порядочно мыслить». Об этом писал и Ф. Достоевский: «Слог — это, так сказать, внешняя одежда; мысль — это тело, скрывающееся под одеждой» («Журнальные заметки»). Достоевский настаивал: «Наше томительное сознание и наше томительное недоумение... при взгляде кругом» привело к явлению Пушкина, и «потому он первый и заговорил самостоятельным и сознательным русским языком» («Книжность и грамотность»).

В «Дневнике писателя» Фёдор Михайлович констатировал: «перестаём родиться с живым русским языком — и давно уже. Живой же язык явится у нас не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом».

Современная русская поэзия показывает: есть примеры уцелевшего слова, способного отражать точный смысл бытия, быт и мысль, что и есть истинная жизнь стиха.

Много открытий в этой сфере для читателя и почитателя истинного таланта Анатолия Горбунова. Можно без преувеличения сказать, что поэзия — его родной язык, а «простонародность» — яркое выражение живости народного сознания.

Анатолию Константиновичу Горбунову — поэту, прозаику, мудрому знатоку природы — шестьдесят лет. Возраст зрелости, в который вступили ныне дети вой-

ны, перенасыщен трагическими событиями. Ими жила страна все эти шестьдесят лет, испытывая на прочность характеры своих сыновей.

Подумать только, на одну человеческую жизнь может пасть так много испытаний: голодное военное детство в обнищавшей до предела деревне, в юношеском возрасте — перевороты, борьба за власть в верхах, обманчивая хрущёвская оттепель и смута в умах шестидесятников. От начинающего поэта требовался опыт зрелого мужа. Ведь именно в 60-е началось яростное наступление на возрождение национальной мысли. Эти процессы усилились к середине 80-х и продолжают до сей поры. Для думающего и всё понимающего человека не много ли?..

Мужество слова и самостояние — от крепких крестьянских корней. Рождением и ранним духовным прозрением поэт обязан затерянной на севере Иркутской области деревеньке Мутиной, лесной и пашенной, далёкой и всегда близкой.

Семья была большой, многодетной — десять детей, и в условиях войны, да и послевоенного лихолетья, изживать нужду было особенно трудно. Спасением явилось то, что отца миновала солдатская судьба (к началу войны ему было под пятьдесят), но военного лиха он тоже хлебнул. Односельчане выбрали его председателем колхоза.

Выращивали хорошие хлеба, ячмень, овёс... и были голодны. Война приблизала к рукам не только призывников. Деревня снабжала фронт продовольствием. Анатолию не было и двенадцати лет, когда умер отец.

Матушка Прасковья Петровна — из семьи воронежских ссыльных. Кажется, она обладала даром гипноза, снимая прикосновением руки головную боль. Она знала много песен, сказок, прибауток, и подарила сыну не только талант писателя, но и науку лечения травами.

Постоянная нужда и жизнь при лучине — не самое страшное. Горько было видеть, как побежала из деревни молодёжь, как стали исчезать заимки, да и целые деревни. Значит, есть тому причины? В такие минуты небо казалось пустым храмом, а смеющееся утро обрывалось тревогой при виде «пустого поля для труда». Плач матери воспринимался как плач России. Казалось, жизнь сошла с привычных устоев, а суматоха преобразований нарастала. Срывали с обжитых мест: шло «укрупнение» хозяйств, создание коопзверопромхозов, тут же превращаемых в лесхозы. Тогда и родились строки:

*Гроза грядёт.*

*Кувалда и топор*

*сметут шестистолбовые поганки,  
и подлецам на пожелтевшем бланке  
народ напишет смертный приговор.*

Грозы не случилось, а шоковые реформы продолжают как революция сверху. Разговоры о политике поэт обычно прерывает словами: «А давайте прочитаю стихотворение. Сегодня написал».

Горбунов не просто художник с колоссальным запасом незаёмных, необыкновенных слов. Он поражает трудолюбием, неустанной поэтической работой сердца, открытой миру. И мир, охваченный смутой и потрясениями, бывает и глубок и трагичен, как и здравствующий вопреки всему природный светлый рай.

Поэт зорко отмечает, как в топке парохода плачет белая берёза, гром ударяет с неба как бубен, «молочные шишки на кедрачах», а рядом — зарастающий крапиво-вой завод. Всё — рядом, всё — предмет поэтического раздумья, и стихи приходят сами, отливаясь в суровые и светлые строки.

Где, на какой земле возможен ещё всплеск такого таланта? На чём строится в дисгармоничном мире ясность мысли?

В сборнике очерков и рассказов «Тайга и люди», изданном в Иркутске в 1982 году, накануне неслыханных потрясений перестроечной поры, перед читателем предстал образ человека, чистота и ясность, доброта и пронизательность которого способны очистить душу самого «заросшего жизнью» и жесточённого ею. Эта книга и сейчас, многие годы спустя, поражает ясностью исповеданий.

Эпиграф из М. Пришвина «Охранять природу — значит охранять Родину» отражает главный смысл первой прозаической книги поэта. Истинная боль, страдание судьбе живой природы и меньшей братии просто берут душу в плен, держат её цепко, очищают и просветляют. Если бы на этой книге стремились мы воспитывать детей!

В очерках «Черемшатники», «Птичьи слёзы», «Напарники», в рассказах «Петровановы», «Чалдон», «Соболькин фарт», «Предзимье» поведано о многом: о том, как мудро устроен природный храм, как в нём всё взаимосвязано, о людях — сельских тружениках, души которых навеки срослись с великим чудом — могущественной рекой Леной, тайгой, со всем живым и беззащитно-хрупким.

В природе, отмечает автор, «любая Божья тварь полезна», даже комары, летучие мыши, совы. Все они — или корм птицам, или санитары. Оттого и в заветах стариков, охраняющих пернатых, говорилось: сов и филинов не истреблять — несчастье будет. Вольная птица клёст способна в неволе объявить голодовку. Горихвостка, выхаживая птенцов, прилетает к ним до четырёхсот раз в день, а ласточка — до трёхсот пятидесяти.

О хищных двуногих автор говорит сдержанно, хотя тон повествования о торговцах птицами, не замечающих слёз птичьих, перерастает в гневное обличение. Рассказы-очерки объединяют авторские вторжения, их открытые предупреждения: «Говорят, птицы — души умерших людей», «Грубо вмешиваясь в природу, мы нарушаем незримые её взаимосвязи», «За всю свою жизнь я не убил ни одной хищной и певчей птицы. Уверен, что уважение к пернатым друзьям во мне заложено ещё с детства».

Возникает вопрос: могут ли быть напарниками люди, спасающие из полыньи сохатого, и те, что постоянно пакостят в зелёном храме? Туристы, например, граблящие попавшееся на дороге зимовье, или бросающие горящие сигареты? «Не от сухой грозы полыхают леса, от людского безобразия».

Вторая часть книги, посвящённая людям таёжного приленского края, исполнена любви и поклонения. Какие это люди — Петровановы, Округины! «Мутинцы приветливы и гостеприимны. Зайди к любому, попроси помощи — не отвернётся. Вероятно, — читаем в рассказе «Петровановы», — человек, возросший в суровых условиях Севера, добрее южанина, ибо без доброты человеческой здесь жить невозможно». По берегам Лены, как и по всей стране, тяжело прошли «война, бесхлебица, поставки, работа в колхозе от зари до зари», но не вытравили в людях святой отзывчивости, прочности, заботы о будущем родного края. Пелагея Захаровна Светлолобова говорит в финале рассказа «Петровановы»: «Грех отсекать корни от родной земли. Здесь мы со стариком родились, здесь и помирать будем, как родители наши. А детям пусть сердце подскажет, где век вековать». Упоминание о детях не случайно. Здесь считалось, что «не в богатстве смысл жизни человека — в детях. Дети — совесть наша».

Долго рушили эти опоры жизни, но не истребили до конца щедрости души,

питающей себя согласием с миром необыкновенной природной мудрости и гармонии. Яростные ручьи под мирным синим небом, «серебряные рыдания» улетающих журавлей, синие прогалины реки — все красоты мира и его контрасты формировали характер, подобный тому, каким он был у живущего восьмой десяток чалдона. В горбатой избе с однокрылыми ставнями жил тихо, независимо, никому не в обузу. Душевный лад человека, живущего в условиях жгучих морозов, «шарахающих заморозков», сменяющихся обманным теплом, прочен и благодетелен. К нему и тянется всё живое вокруг. В избе Светлолобовых квартирует горностай. Жаворонок приживается по несчастью в доме повествователя. Эту Божью птицу, считалось, убивать нельзя. Охотничий пёс Соболька — глаза и уши хозяев, на каждую живность лает по-разному.

Есть что-то идущее из глубины веков в описании нравов таёжных жителей. И всё это ещё сохранилось в 70–80-е годы минувшего века. Тревожные, горькие ноты прозвучали в книге «Тайга и люди» как предупреждение, как знак наступающего неблагополучия. Появились люди-хищники, наживающиеся на богатствах тайги, обозначилось равнодушие верхов — не доставляли вовремя солярку, опустели поля. Вывезли в Бодайбо коров, и жить стало нечем. Земля-кормилица стала ненужной. Такими были предвестники перестройки, этой революции сверху, сделавшей жизнь северян невыносимой.

Поэзия Горбунова исходит из простоты и ясности прозаической жизни и чудесным образом преображает её. В книге «Звонница» сказано:

*Для вас деревня — хлеб, яйцо,  
Медовый дождик с небосвода...  
Для нас она — душа народа,  
Национальное лицо.*

Биография складывалась так же, как у многих выпускников средней школы конца 50-х — начала 60-х: армия, после службы поиски себя и своего места под солнцем. Работал кочегаром, лесоповальщиком, электромонтёром, механиком на судах Ленского пароходства, бортрадистом на самолётах гражданской авиации. Верно говорят: талантливый человек талантлив во всём. Рабочий и механик на судне, бортрадист на самолётах — для всего надо иметь способности и золотые руки. Помимо того, стал писать стихи, и в 1972 году принял участие в конференции «Молодость. Творчество. Современность».

В литературу поэт пришёл в середине 70-х, в относительно благополучное время, и выразил себя в основном в лирических стихах о природе. В усложняющемся мире судьба её не могла не волновать. Первая книга «Чудница» вышла в 1975 году в Москве, в издательстве «Молодая гвардия», была замечена критикой. Автор предисловия к ней Д. Ковалёв писал: «По стихам А. Горбунова не только легко узнать биографию автора, но и увидеть Сибирь, её людей с их характерами и сметкой, привычками, игривостью и скрытой скорбью, неуступчивостью трудностям и бедам... Наконец, в стихах А. Горбунова пронзительная, бережная любовь к этой, обжитой лучшими людьми России, щедрой и в то же время неподатливой земле»<sup>1</sup>. Молодой поэт был отмечен Почётным дипломом на Всесоюзном литературном конкурсе им. Н. Островского, стал участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей. «Чудницу», в том же 1975 году, опубликовало Восточно-Сибирское книжное издательство.

---

<sup>1</sup>Ковалёв Д. Об авторе // Горбунов А. К. Чудница: Стихотворения. М.: Молодая гвардия, 1975. С. 4.

Поэтический слог при огромном запасе жизненных впечатлений мужал быстро. Язык, с которым он имел счастье родиться, резко выделялся своеобычием и гибкостью. Поэзия Горбунова быстро и прочно утвердилась как национальная. Преданность началам русской жизни, природе и языку, талант и мужественный взгляд на мир не изменили Горбунову за всё тридцатилетие его творческой жизни. Талант писателя вырастал из собственной жизни и, обогащаясь её многотрудными плодами, стал солидным вкладом в духовную жизнь страны в пору её крутых перекатов.

Как мужало перо поэта, можно судить по книгам «Звонница» и «Перекаты», выстраданным в преддверии грядущей перестройки: «Звонница» увидела свет в 1985 году и отражает преимущественно спокойный, лирический настрой.

*Берёзовая звонница.  
На ветках свет колышется.  
Она так ясно помнится,  
Она так ясно слышится!*

Древо обрядовой Руси, праздник берёзовой Троицы появится и позднее, но в другом облики. К несчастью, уходит из памяти святой и чистый образ, растоптан праздник, ею согретый. И горько, что порушена его красота не печенежскими копытами.

*Другое племя, — бесприютное,  
Везде гонимое за ложь,  
Больное, алчное, распутное, —  
В славянских гнёздах  
прижилось.*

Всего три года отделяют «Звонницу» от книги «Перекаты» (серия «Сибирская лира», 1988), но как резко изменились интонация и голос автора! И это не случайно. Именно 1988–1989 годы обнажили, чего стране ждать от нового поворота — к капитализму. О человеческом лице, обещанном при сохранении социализма, речи больше не шло.

Скрытая тревога стала явственной, и красной нитью проходит через сборник «Перекаты». Название-то какое точное! Перекатам, перепадам, тревоге нет конца. В стихотворении «К матери» это состояние выражено пронзительно и точно.

*По отцовской земле  
Сеют лютые люди вражду.  
Долго-долго ещё  
Будут шастать они  
по дорогам,  
Истребляя леса,  
Красоту убивая вокруг.  
И, пока я живу,  
Мне не будет, родная, покоя...  
Дождь шуришит по овсам,  
Я сутуло бреду на погост.*

Тема Сибири-колонии не в первый раз возникает в творчестве писателей-сибиряков. И неспроста. В наше время смысл глобальной колонизации проступил ещё более откровенно, и Горбунов выразил это. Высота трагизма, переживаемого континентом, обозначена чётко, образно, и пронизана болью народного мирови-

дения. Немало увидела сибирская земля «затейников», что кричали: «Долой уклад патриархальный. Деревню старую долой!».

Вот и стоит она без света, хотя и обвита дорогами и проводами. «На грани катаклизма» люди «делят огороды, на огороды делят звёздный мир». Неземные туманы легли на лик Земли. Трель пролётного жаворонка падает на ржавые кочки. Бездонна тухлая вода. Трясина! Гарь!

В стихотворении «Гроза» глубокая русская восприимчивость соединилась со смелостью и точностью образного языка. Читатель видит: прорастают на мирной земле зёрна крови, клубится горький туман. Души убитых превращаются в горький дым, тела — вobelisks. Грозою пахнет хлеб, замешанный на пепле и на крови.

*Страна полей, жила ты не в ладу,  
И вот слилось в одно большое поле,  
В одну континентальную беду.  
В одну судьбу и помысел о воле.*

Вклад поэта в сокровищницу народного понимания жизни не исчерпывается напоминаниями о бедах, о причинах «русских зигзагов» (Ю. Кузнецов). Как православный человек, он не теряет надежд на опаматование и прозрение.

*Я верю, сгинут неурядицы  
Под перебором отчих струн.  
Берёзки в ленты разнарядятся,  
Взойдёт на радугу Перун.*

Мир противоречий и несогласья под пером поэта обретает космический, глобальный смысл. Уже не уйти человеку от всего, что нагромоздил на планете. Но... ещё шумит тайга, «струится солнце в голубую вечность»...

*Всему свой срок, всему  
свой хлеб и путь,  
Покой и грозы, лавры и камня.  
И, стоя на вершине, не забудь,  
Что существует сила притяженья.*

Это и есть жизнь. «Жизнь» — назвал он эти стихи.

Горбунов неуклонно развивается в русле национальной традиции. Последние десять — двенадцать лет его поэтическое сознание движется по двум руслам: гражданская поэзия и стихи для детей. Их поэт рассматривает как завещание самым маленьким, душа которых особенно ранима. Книга для детей «Журчинки» (2000) получила признание.

Что касается гражданской темы, то она прорывается сегодня на газетно-журнальных страницах и в глубоких обобщениях его экспромтов, и в стихах и поэмах, осмысливающих такие неподъёмные для многих современников темы, как эволюция крестьянской души или необъяснимое молчание народа перед лицом катастрофы.

«Мысль — вот источник страдания», — повторил за Ф. Достоевским один из героев Л. Леонова. Вот как пробивает она русло в стихах-эпиграммах Горбунова:

*Не торжествуйте, лилипуты,  
Рожая опусы как мух.  
От вашей ненависти лютой  
Не изойдёт славянский дух.*

(Лилипуты)

В стихотворении «Мухи» тема получила жёсткое, правдивое продолжение<sup>2</sup>.

*Ветераны российской разрухи  
В небе крыльями резво шуршат,  
Улетают зелёные мухи,  
Улетают они в США.*

*А навстречу спешат голубые,  
Тожже славных навозных кровей.  
— Бить их надо, они же больные! —  
Чик-чирикнул с куста воробей.*

*Но заглавная муха сказала,  
Сев на редьку, а может, на хрен:  
— Не волнуйся, тут нет криминала,  
Это просто «культурный обмен».*

Как видит читатель, уцелело, заиграло всеми оттенками народное слово, отразилось время. Подключилась к нему и природная стихия в её простонародном выражении. Что может быть значительнее столь прочной реалистической основы творчества?

Жизнь развеяла дым ожиданий, и поэт мужественно сказал о новом состоянии мира, при котором трудно предсказать ход событий. Об этом его поэма «Пастух (Кнутониада)», переключая трагическую ноту в новое состояние — трагикомедии. И ранее поэт писал об Иванушке-царевиче, который видел, как «счастье уплывало, растекалось по усам, в рот не попадало», но пить-гулять, да ещё рядом с волком серым, не уставал. Итог: карман пуст, волк в леса подался, один Иванушка на дороге столбовой. Появлялись в стихах и образы людей с синью подёрнутыми глазами, и герои-ослушники, кидающие в солнце камни. Ещё недавно всё-таки верилось, что небесная «радуга — живая связь времён — два берега любви соединила».

Любовь и горечь в душе лирического героя стали устойчивым сочетанием. В поэме «Пастух» сталкиваются двое — пастух и городской мыслитель, — одинаково комично безобразные как в ловкости оборотничества, так и в страхе перед силой хозяина, шагающего во власть. Отгорели остатки бунта.

*Переворота в России  
Даже не выдержал скот.  
Ждёт не дожждётся мессию  
Духом упавший народ.*

Недавно грозный пастух с очами, налитыми кровью, играя кнутом, вещал: выкнутим гнусь из дворцов, «сбросим с хребтины народа демократический гнёт». А его собеседник — «пуганый, дёрганный, бледный», «ветры от страха» пустивший, бережёт как орудие пролетариата пастуший кнут.

Один из этих «бунтарей» в гневе изрубил кнут, а потом пожалел. Другой, заседа в думе, «нацию давит в плющатку» по демократическим законам.

Отчаянным усилием воли возвращается повествователь к миру, где ещё можно стоять на ногах.

---

<sup>2</sup>Это стихотворение и рассмотренные ниже поэмы «Пастух» и «Сибирь» войдут в книгу А. Горбунова «Сторона речная»: Стихи и поэмы. Иркутск, 2004. — Сост.



*Тихая, тёплая осень,  
Дали насквозь голубы —*

это в начале поэмы. Это же и в конце:

*...А за окном серебристо  
Зяблик на подвиг зовёт.*

*Травы умыты дождями,  
Скоро полезут грибы.  
Эх, не везёт нам с вождыми:  
Купле-продажные лбы.*

Трагикомический поворот событий в «демократической» России — подлинность, горькая реальность. Молчать о такой «прозрачной остыни» автор не может. В поэме звучит отторжение её.

Трагикомедия, увы, не первая в стране. Вспомним, как Н. Гумилёв перед гибелью осознавал подобный образ мира, подобное состояние умов:

*Трагикомедией —  
названием «Человек» —  
Был девятнадцатый,  
смешной и страшный век.  
Век страшный потому,  
что в полном цвете силы  
Смотрел он на небо,  
как смотрят в глубь могилы,  
И потому смешной,  
что думал он найти  
В недостижимое  
доступные пути;  
Век героических надежд  
и свершений...*

Об этом же писал и С. Есенин в поэме «Страна негодяев».

В размышлениях о судьбах Сибири Горбунов пришёл к пониманию самых острых и остающихся в зоне табу проблем. В поэме «Сибирь» первая часть посвящена древнему периоду её истории, времени, когда бескрайняя земля «жила по совести», когда в ней «от поля хлебова до чума дальнего вопроса не было национального». Словно у двух богов сидел за пазухой трудолюбивый и добрый человек. Тот, который вошёл в историю как носитель особого дара — характера сибирского. Во второй части поэмы поведано, что помешало ему до конца сформироваться. Поэт возвращается к проблеме колонизации края, превращаемого в места ссылки как бунтовщиков, революционеров, так и преступников.

«Окоммунарившаяся» Сибирь познала хаос, репрессии, казни, пожары. В деревню из города стали возить хлебушко.

*Подекабристили  
Друзья-приятели,  
Покоммунистили,  
Подемократили!*

Что же в остатке ушедшего столетия? Одно: надежда на суд истории и на разум обездоленного народа.

Тайна мастерства, опирающегося на мудрость народа, неисчерпаема. Язык, на

котором говорит герой, противостоит злой и разрушительной энергетике, опутавшей сознание. Полнота чувств в защите опыта отцов, в защите природы позволяет надеяться на то, что крестьянская Россия выстрадала своего верного защитника. Значит, и сама она жива и бессмертна.

*Сибирь. 2002. № 1. С. 192–199.*

## **С любовью и верой... «Осенний пал» Василия Забелло**

Новая книга Василия Забелло поэтически точно и глубоко отражает смысл и содержание его раздумий о времени<sup>3</sup>. В его судьбе они не были простыми и лёгкими. В них как бы сфокусировались и подъёмы духа, и горечь утрат, ощущение радости бытия и печаль от сознания тупиковых путей не своих — Родины. «Осенний пал» — образ ярких цветовых излучений умирающей природы, дыма очищения от накопившегося мусора, печали полей и собственного вступления в новую пору жизни. Всё в книге — стихи, проза и публицистика — пронизано светлой тревогой и решимостью заступить на служение родному краю.

Родился Василий Константинович Забелло в 1947 году и рос в небольшом селе Утулик, приютившемся на берегу Байкала, как бы обозревая его несказанную красоту и мощь. Чудо-озеро, мощные скалистые берега его, богатая и тогда ещё нетронутая тайга рождали характер ясный, сильный и поэтический. О верности родному краю и очагу поэт сказал так: «Себя и мир свой помню с трёх лет... Взяться за перо меня заставила родная природа, ставшая моей сутью не меньше собственной души». Запечатлел поэт и отношение земляков к творчеству: «"Этот ты сам написал?" — спросила соседка. А мать, как бы извиняясь за меня, ответила: "Ему за это деньги заплатили"».

Байкал стал колыбелью многих талантливых сибиряков. «Годом чуда и печали» назвал Бородин один из счастливых эпизодов детства, протекавшего в тех же местах, что и у Забелло. Воспоминания о той поре согревают его всю жизнь и в трудные минуты воскресают в его книгах.

Читателю не надо напоминать, что рассказал о Байкале Распутин. Не один год жизни, душевной и творческой энергии отдал он защите озера. Энергия Байкала, сияние его чудес живут в стихах и прозе Румянцева, в публицистике и драматургии Вампилова, в книгах Китайского, Суворова, Горбунова, прозе Зверева, Гурулёва, Нефедьева... Слава Богу, что писателям-сибирякам удалось запечатлеть и оставить на память потомкам не сохранённую, но ещё сияющую красоту.

К началу 80-х годов, когда Забелло пришёл к широкому читателю, яростные споры о путях развития поэзии поутихли.

Поэты-лирики новой волны, окрещённые тогда «тихими», возвысили голос за природное бытие *homo sapiens*, за его священные глубины, включающие в историческое бытие и сосульки на деревьях, и листья липы...

В. Соколов, которого считали родоначальником новой лирики эпохи научно-технического прогресса, так и писал:

---

<sup>3</sup>Забелло В. *Осенний пал: Стихи, рассказы, публицистика. Иркутск: Изд-во «Иркутский писатель», 2001.*

*Нет школ никаких. Только совесть  
Да кем-то завещанный дар,  
Да жизнь, как любимая повесть,  
В которой и холод, и жар.*

Но вернёмся к биографии Забелло. В суровом времени его детства и юности ещё оставалось место романтике, вере в мощь государства и в возможности изменить всё к лучшему.

Детство, как и других детей, появившихся на свет после войны, было трудным, при живом отце — безотцовским. Лишь позднее, когда семья воссоединилась, и бывший фронтовик стал работать лесником, будущий поэт вместе с отцом стал постоянным обитателем загадочного мира. И чувство это сохранилось на всю жизнь. Сформировался характер человека мудрого, чуткого, мужественного.

Школьные годы частично прошли в Слюдянке и Байкальске и тоже не отрывали юношу от родных мест. А после школы — армия, флот. В газете «Тихоокеанская вахта» и появились первые поэтические опыты уже познавшего мир паренька.

В армию Забелло пришёл не безусым неискушённым юношей. Как ни горько об этом сейчас говорить, но не проходит даром для формирования характера производимая в нежном возрасте его ломка. Уже укоренённый в светлом природном мире, юноша стал неожиданно свидетелем жестокого и бездумного разрушения этого мира. О новостройках в Прибайкалье, в том числе о дважды начинавшемся строительстве Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, он напишет позднее: «А мы и понять не успели, отчего у кедров иголки мягонькие, а реки, даже зимой, зелёные, не успели понять и ощутить толком жизненную потребность и необходимость в байкальской красоте, а уже замахнулись на эту красоту. И как только рука поднялась». На глазах омертвели заливы и губы, обеднел южный берег, «разлетелись в пыль» некогда крепкие, коренные фамилии родной деревни. «Велико твоё создание, Господи!» — всегда хотелось воскликнуть вблизи озера-батюшки герою очерка «Эксперимент продолжается». Но к этому нельзя не добавить горечи воспоминаний о строителях: были это заключённые, и их мир и повадки не остались незамеченными: «...подавляющее большинство моих сверстников пополняло армию осуждённых» (Осенний пал, с. 243).

О том, как совершалась порча русского сибирского характера за счёт сбрасывания в Сибирь преступного мира, написано немало. Забелло сказал об этом своими, идущими от сердца словами. Его сверстникам нынче чуть за пятьдесят, и это поколение было не только искалечено вредоносными стройками типа БЦБК, но и попало в жестокую обработку перестроечных «реформ», в ходе которых под лозунгом всеобщего омоложения кадров выбросили за борт одну из самых продуктивных возрастных групп. Пятидесятилетние по нынешним временам старики.

Печататься всерьёз Василий Забелло начал в конце 70-х годов в иркутских газетах и альманахе «Сибирь» после признания его таланта на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность».

Но путь был неспешным. Стихи выходили в коллективных сборниках «Начало» (1981), «Час России» (1988), в журналах «Литературная учёба» (1983) и «Сибирь» (1983). Первые книги «Ледостав» (1988) и «Возвращение» (1990) пришли к читателю в час национальной катастрофы: именно в конце 80-х обозначился смысл курса «реформ». Быть поэтом в такую эпоху нелегко. Но жизнь оставила и утвердила как незыблемую ценность любовь и веру в могущество созданного

Богом мира и осознание, что надеяться остаётся лишь на самого себя. В возрасте тридцати восьми лет принял крещение «в тёплой медовой церкви Рождества Пресвятой Богородицы», но человеком кающимся, признаётся он, стал позднее.

Важное признание. Завихрения истории становились всё круче и неожиданнее, и ощущение причастности к происходящему обусловило гражданский пафос его творчества. Правильно заметил Распутин: «Самое богатое «месторождение» России, богаче нефти, газа и золота, — народ наш, способный на удивительные подвиги, но заваленный по макушку невзгодами и заёмным демократическим дерьмом, так и не отрыт из этих завалов и не позван на службу Отечеству»<sup>4</sup>.

Слова поэта о том, что к творчеству его побудила родная природа, в условиях продолжающегося варварства во всех сферах жизни обретают особый смысл и окрашивают слово неизбывной любовью, горечью, страданием рядом с сознанием себя частицей этого мира, его, так сказать, «мыслящим тростником». В очерке «Эксперимент продолжается» рядом с бесстрашным обнажением фактов удушения священного озера читаем: «И всё-таки было бы неверным освещать только эту сторону жизни, хотя в то время она довлела над нашей психикой. А был ещё в нашей жизни, пускай подсознательно, но всегда неотлучно, исполненный невыразимой красоты и силы батюшка-Байкал. И он, окатывая баргузинской волной прибрежные пески и камни, делал своё вековечное дело, обозначенное природой».

Подтверждаю всем сердцем смысл сказанного поэтом о постоянной подсознательной муке за наше светлое око. Я тоже выросла на байкальском берегу, и не могу сейчас ничего читать из того, что печатают газеты о «перепрофилировании» БЦБК. Невозможно спокойно воспринимать эту самопроизводящуюся ложь. Невозможно видеть разграбленные, изорванные взрывами мраморные берега Байкала. Под эти взрывы прошло и моё детство. Но самое страшное — изуродованная психика людей, участвующих в коллективном преступлении. Забелло сказал об этом смело и без оглядки. Разве можно ждать от жителей Байкальска пощады в отношении к Байкалу или к гибнущей, выбросившейся на берег нерпе с её чудными, полными боли глазами? Город Байкальск назван поэтом «выкидышем шестидесятых годов», сущность его проступает теперь, почти через тридцать лет. «Скороспелый город» строили люди, поставляемые из зон усиленного режима. Дешёвая рабочая сила знала цену себе. Хлынули на стройки те, «которых отторгла родная земля, но которые в поисках счастья и длинного рубля покинули барачные городские окраины, окрестные и дальние колхозы».

В обстановке ложной романтики, в разгул так называемых комсомольских свадеб «развенчивалась душа». Число барачных строений в Байкальске сократилось, но разве может так просто измениться и воскреснуть душа человека?

А что случилось с совестью учёных, тогда и сейчас кормящих себя и потомство тридцатилетними проблемами озера? Их формулировки «Вокруг комбината — зона экологического благополучия» стали звучать иначе: «Вокруг комбината — зона экологического неблагополучия», но не изменилась суть ведомственной науки. Сказать миру: «Остановите преступление» — она не способна.

И думаешь: утихнет ли когда-нибудь боль в душе за всё происходящее? И неужто так и будет, как сказал когда-то сгоряча Валентин Распутин: «Не поможет Байкалу граница, потому что он в России»? Так вот возлюбил нашу страну «цивилизованный» мир! А сокращение запасов пресной воды случится не завтра же!

Расхожее понятие: поэзия — дитя переломных эпох, верно. Но верно также и

---

<sup>4</sup>Распутин В. *Что там, за порогом?* // *Родная земля*. 2000. 29 дек. С. 2.



*Слишком поздно нынче созреваем.  
Слишком рано устаём для дела...  
Знать бы мне, что выведет кривая  
Сквозь мытарства к отчему пределу.*

В другом стихотворении об этом же:

*Ты прости, дорогая земляца,  
Оглянусь — всё овраги да пни...  
Не могу я, как прежде, влюбиться  
И растратить без памяти дни.*

Свет и печаль живут неразлучно. И иначе не может быть. Ведь вот они, рядом, и зловещий камень, и улетающие птицы, и ветер в закрайках стерни, раkitник, охваченный дрожью, дали азиатской и русской земли. И можно ли «в эту жизнь не влюбиться» и не растративать дни без памяти? На вопрос, не упустила ли родная страна свою жар-птицу, следует единственный ответ: «Начинать приходится с утрат». Вот только бы вернулись снова улетающие журавли, и бунтовал бы в гневе и грохоте байкальский ледостав, и вернулась бы к себе самой «тёмная, разодранная, милая страна». В цикле «Готовься, Русь, очиститься от смуты...» мотив возвращения в отчий дом звучит с новой силой, и авторское слово обретает её в народном просторечье.

<i>За окошком поле, А за полем лес. Стынет голубое Полотно небес.</i>	<i>Вот и я в час поздний Тороплюсь туда, Где качает звёзды Зыбкая вода.</i>
---	---

<i>Кедр на дорогу Хвою накидал. На веку он много Ходоков видал.</i>	<i>Где стоят рябины, Над водой грустя... Оклик журавлиный, Родина моя.</i>
---	--

Язык как выражение национальности, как осознание себя частицей свыше данной благодати, приятие святой его гармонии даёт право сказать о поэте как об убеждённом носителе православной идеи. К ней он пришёл окончательно, и это главное в выборе пути именно для поэта. В мире, которому навязывается глобализм, слияние религий и культур, особенно важно, чтобы каждый пишущий внесил в сознание читателя всё лучшее, добытое народом, всё светлое, принесённое им в мир. Едино стадо и един пастырь, по Христу, именно так и возникает. Верность родному языку — путь к единству и совершенству. Нельзя в годину смуты мириться с затуханием голоса родных берегов, исчезновением духа, поредением таёжной чащи, которая молчит сурово и грозно.

Воскресение сейчас, как и в былые времена, свершалось на «горькой и бесхлебной земле», но ему открылись пути. Остальное — в руках человека. Русь — жива.

*И дух её побед, и поля грусть,  
И журавли над замершим привольем...  
Коль русский ты, в тебе былая Русь  
Живёт и отражается неволью.*

В рассказах книги Василия Забелло «Осенний пал» органично слились проза и поэзия, печаль и радость полей, и молитва о невольной вине перед святой красотой, плодами которой вынужден пользоваться.

Содержание рассказа «Фарт» — охота на соболя, ум и сноровку которого не так просто одолеть. Удача оказалась неожиданной. Выслеженный роскошный зверь был «настоящим баргузинским кряжем». «Шелковистый с проседью ворс отдавал чёрным сголуба отливом... такого полуметрового красавца добывать не приходилось».

В рассказе ненавязчиво, но убедительно и без лишних слов проступает подлинный социальный фон, жёсткий, игнорирующий нужды человека быт, его поруганные самые элементарные запросы.

В обеднённой, обобранной стройками тайге охотнику приходится быть браконьером, чтобы прокормить семью. Брошенный на произвол судьбы, задавленный планами добычи, человек хитрит — поневоле приспосабливается, но остаётся человеком. Отойдя километра полтора от кровавого места схватки, взглянув на вершину Галанской гривы, добытчик увидел полыхающую гигантскую свечу, разрывающую в клочья тяжёлые сумерки. «И сразу же в сердце вонзилась какая-то знобящая и неотвратимая укоризна — рад бы глаза отвести, а не в силах. "Прости меня, Хозяин, прости меня, тайга!" — взмолился охотник». Поэзия прозы живёт и царствует в рассказе. Она сурова и прекрасна, питает опыт и смекалку человека, испытывает его на прочность и одаряет верой в силу высшей мудрости.

*Предисловие к кн.: Забелло В. Осенний пал.  
Изд-во «Иркутский писатель», 2001. С. 3–12.*

*Н.С. Тендитник. Ликуя и скорбя :  
статьи, рецензии, публицистика. Сост.-ред.,  
авт. вступ. ст. В.А. Семенова. — Иркутск, 2017.*

## ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

### Бликий человек

СЛОВО О ПРОЗЕ АЛЬБЕРТА ГУРУЛЁВА

Она, вероятно, с июня болталась здесь, уцепившись за железную полосу. Сейчас ее било, хлестало дождем, стремилось сбросить и погнать дальше. Подруги, вымокшие до нитки, были стерты асфальтом под ногами прохожих. Она из последнего держалась за нечаянную опору, подаренную ветром. Тем самым ветром, который ее теперь судил и мучил. Мужество слабого, хранящего жизнь... Мне-то что? Оно вне меня. Там, за окном, под дождем — на оконной решетке. Так, пух, тополиный обрывок...

Сюжет рассказа А. Гурулёва «Ель»<sup>1</sup> — это крупный план событий двух дней старой женщины, последних ее дней. Повествование в конце неожиданно расслаивается. Возникают одновременно два плана: земное и небесное, временное и вечное. Сквозь реальные события просвечивает высший смысл, надреальный, метафизический. А между тем, язык рассказа, сдержанный и лаконичный, отвлеченный от деталей, словно стертых в сознании главной героини, готовил к этому. Речь автора отрывает от земли, дает общий вид с неразличимыми мелочами, эмоциями, переживаниями, видимый, вероятно, отлетающей в небо душой. Такое слияние близкого и панорамного видения придает особую выразительность небольшому рассказу А. Гурулёва. Да и имя старой женщины — «Настасья» (Анастасия, от греч. *anastas* — «воскресший») — помогает чувству не от мира сего, задает нерелевальные координаты жизни главной героини.

Отстраненно перечисляются идущие друг за другом события: прибежала фельдшерица Валя, градусник ставила, дала горьких порошков, заходил Петрован, попросил стаканчик, потоптался у порога. «Сидит Настасья, слушает, как река играет, как вяжется к ели ветер, как стучат топорами Петровановы парни. Слушает свою болезнь». Старая женщина открыта внешнему миру — свету, звукам, шумам, открыта и в себя. Но впечатления лишь касаются ее души, почти не оставляя следа. Душа скользит по зримому и мыслимому, — прощается. Это замирание отмечено в перемещении внимания женщины с одного на другое, в неостановимом движении по воспринимаемому вокруг как смиренному принятию последних знаков жизни.

«Почему она промолчала, позволила Петровану срубить ель?» — спрашивают студенты на семинаре. Почему «высвеченная солнцем ель», «сытая, холеная», «новогодняя» досталась корыстному, лживому человеку? Кем для Настасьи был этот человек? «Молчит Настасья». Старая женщина, выбравшись за ворота на лавочку, любит строящейся напротив избой. «Рубят ее из бревен смолевых, желтых, солнечных. Машет Петрован блестящим топором. Гонит по бревну широкую, как ломоть масла, стружку». Радует Настасья этой рождающейся рядом жизни, напоенной светом. Ее высвеченная солнцем ель сопричастна этому миру, молодой семье, счастью, добродушному дому. Петрован — часть рождающегося рядом мира, его творящая сила. Для укрепления добра и жизни отдана ее ель — прожитая счастли-

<sup>1</sup>Гурулёв А. Ель : рассказ [Электронный ресурс] // Сибирь. — 2020. — № 6. — Электрон. версия печат. публ. — Журнальный мир : сайт. — Режим доступа : <http://xn--80alhdjhdxcxhy5hl.xn--p1ai/content/el>



вая жизнь, высвеченная солнцем. «Хороша лесина. Хоть на лодку, хоть...», — таит Петрован от Настасьи свои замыслы или сам еще не знает. Но трагизм в том, что мастер в живом дереве, метафоре чьей-то чисто прожитой жизни, — видит неживое, вещь. В этом горечь от молчаливого согласия Настасьи.

Одаривает Настасья не только Петрована. Она одаривает счастьем молодую семью в мысленном пожелании-утверждении: «Добрая изба у зувевского зятя будет», наделяя новый дом собственной солнечностью, радостью, крепостью и полнотой жизни («смолевых, солнечных», «широкую, как ломоть масла»). Душа Настасьи растворяется и в сострадании фельдшерицы Вальки, в ее плаче в трубку: «Да Валя это... — голос ее плачет». В ее кратком, сдавленном слезами: «Больной худо моей». В Валькином соучастии и родстве с судьбой другого — «моей», так называет она больную. Уход Настасьи из мира — это способность остаться в других, ощущаемых родными и близкими, в которых остается часть тебя. И каждому ею дано свое счастье, в своей мере, согласно его собственному достоинству.

И ель незримо остается с хозяйкой. Это тонко, хрупко отмечает автор. После поисков новой ели Настасья «еле приплелась домой». Выделенное началом предложения «еле» зарифмовано с «приплелась» и закрепляет корневую основу названия рассказа. Возможно, так получилось само собой, выражая звуком метафорический сплав «Настасья-ель». Зрелая красавица ель у дома, затем поиск молодой ели, долгий ее выбор соединяются в образе главной героини как зрелость и молодость, высвечивая в старости красоту, статность, благодный покой, полноту жизни. Скрытая под внешней болезненностью, красота собирается в образе ели как отражение состояния души Настасьи. Образ старой, больной женщины таит сердцевину — красоту и молодость. Эти качества и обнаруживаются в конце рассказа. «Настасья снова в лесу. Ель выбирает. Вместе с Алексеем. Алексей в мягких ичигах, красной рубашке, молодой и улыбчивый. Настасья тоже молода». Молодость является светоносным началом ее души. Невесомое «снова» запечатлевает созидательный принцип жизни Настасьи, возрождение, неизменное и неискоренимое стремление ее души к восстановлению разрушенного.

Особое значение метафоры-образа ели и в том, что «новогодняя», сытая, холеная, она — олицетворение ежегодного праздника завершения года. Краткое новогоднее счастье ели — в нескольких днях шумного, веселого праздника с подарками, знаменующего переход к новому этапу жизни. Надежды, ожидания, мечты сопутствуют празднику как обещание продолжения жизни. Содержащийся в звонком и радостном «новогодняя» смысл рождает издонное свечение и самого образа ели, и образа старой женщины. Ель хранит в себе солнце, свет, — метафоры счастливо прожитой жизни, сытость как наполненность, холеность как полученное благо. От полноты прожитого — и дар Настасьи. У хозяйки нет обиды за срубленную ель. Только дом ей теперь кажется старым, больным, обиженным. «Ничего, — шепчет. — Еще лучше посадим елку. На Теплом их пропасть...». Настасье известен источник блага, возможность доброго устройства жизни. И тревога в душе женщины возникает, скорее, от предощущения грани, перехода. Новая ель необходима ей как символ продолжения жизни, как следующий узелок жизненной нити.

Рассказ А. Гурулёва «Зависть»<sup>2</sup> опубликован в том же номере журнала «Сибирь». Наполненный красками, эмоциями, отношениями рассказ втягивает в свой

<sup>2</sup>Гурулёв А. Зависть : рассказ [Электронный ресурс] // Сибирь. — 2020. — № 6. — Электрон. версия печат. публ. — Журнальный мир : сайт. — Режим доступа : <http://xn--80alhdjhdxcxy5hl.xn--p1ai/content/el>

чувственный мир, дает ощущение реального присутствия на утиной охоте. Голубой цвет запечатлевается движением («линяет, плотнеет, опускается ближе к земле»), появляются новые краски, они вступают во взаимодействие (белый наливается красной силой), красный заливает кромки облаков, розовой становится вода. Но в величественную палитру заката диссонансом врывается «черная штука» — зависть. Физика повествования — в изображении цветовых, зримых, звуковых, телесных, эмоциональных впечатлений. «Мурашки в застывших от напряжения ногах», «деревянеет шея от крика», «прыгает, качается мушка ружья, рвут воздух выстрелы, вскипает вода под дробовой осыпью» и многое другое, — все осязаемо. Звукопись речи помогает передать слышимость выстрелов, свист крыльев, плавность и легкость полета птиц, их касание крыльями воды, длительность ожидания: «глухо, раз за разом, бухнула крупнокалиберная двустволка», «в свисте косых крыльев, стремительные», «полетели утки, полетели», «летят низко, почти около воды», «и снова тягучее напряженное ожидание», собственный крик как «эхо гудит в хребтах», «и снова тишина, долгая томительная тишина». В звукописи обнаруживается родство с поэзией, передающей звуком чувство и смысл. Но метафизика рассказа все-таки возникает за осязаемой материей слова, в глубине... невысказанного — в столкновениях, противоречиях, разладах и том, что в них происходит.

Живой мир в меняющемся разноцветье запечатлевается душой, отзывчивой на красоту. При этом любование миром поглощается охотничьей страстью, желанием быть первым, удачливым. «Во-он, далеко, над тихим морем летят они», — обращается главный герой ко мне, оправдывая мое присутствие около него на охоте. И потому рассказ — монолог для меня, с надеждой на понимание и прощение. Ощущения главного героя, чуткое наблюдение за миром и собой, за властью зависти, развитием из нее досады, злобы, мести, жестокости, исходит из осознания красоты окружающей природы. Из этого потаенного источника в душе появляется способность осознать себя, увидеть со стороны. Несомненна в этом и роль невидимого собеседника-читателя, к которому обращена исповедь, его предполагаемого внимания к сокровенным признаниям.

Жадность к жизни, стремление ухватить заглушает главное, и это видит читатель, — то, что уничтожается живое, страдающее. Мучителен эпизод с раненой уткой. «Нет уж, не выйдет. По неподвижной-то цели я не промахнусь. Поднимаю ружье и стреляю. Дробь хлещет по воде, где мгновение назад качалась утка. Но ее самой на том месте нет. Она исчезла, она нырнула за какие-то доли секунды до того, как по воде хлестнул дробовой сноп». Неравен поединок вооруженного человека и утки-подранка. Ее желание жить контрастно стремлению человека убить ее ради тщеславия. Для охотника она — только предмет, вещь, дающий чувство превосходства над другими. Жизнь как ценность в природе, к которой, разумеется, принадлежит и сам человек, противостоит мелкому, низкому желанию. «Колотит в горло и ребра сердце, сохнет во рту. И я стреляю, стреляю». Исступленный, охотник убивает не только ослабевшую утку, хватающуюся за жизнь, но и человеческое в себе, утратив жалость и сострадание к слабому.

Жадное поглощение человеком впечатлений, ощущений, дичи — в итоге оставляет его обделенным. Главное упущено в нетерпении и погоне за трофеем. Даже последний патрон достается измученной птице. И охотнику приходится с досадой наблюдать, как уходит от него добыча. «А утки летят близко, крупные кряковые утки. Это самые лучшие, самые крупные утки из тех, что я видел за сегодняшний

вечер. И табунки летят часто». Природа дает урок жадному, завистливому человеку, развенчивая его желания, ставшие смыслом жизни. Она мудро улыбается на его потуги быть первым, быть победителем. «Просвистел крыльями и безбоязненно шлепнулся в воду, неподалеку от моего острова, одинокий селезень-гоголь. Гоголь, видимо, славно провел сегодня день. Сытый и довольный, он плескался на мелководье, поправлял перья, потягивался крыльями». Растраченные патроны становятся метафорой растраченных сил, напрасных ожиданий, упущенной возможности. Но важно, что это было понято человеком: «немного жалею о пустой от зависти стрельбе». Это мимолетное признание и обещает что-то большее, чем просто сожаление о расстрелянном патронташе. Осознание потерянного является внутренним стержнем исповеди.

Преображение в природе, ее красота, сила и полнота жизни, происходящие вокруг человека, прощение природой человека за жестокость, разрушение, готовят преобразование и его души, которое остается пока только ожиданием. Двойная фокусировка повествования снижает значимость переживаний человека, их эмоциональную напряженность, включенность в соперничество — до инородного среди гармонии и согласия. Истинное величие, словно говорит природа, — в красоте, которая вокруг. Способность воспринять ее и останавливает человека, поворачивая взгляд внутрь, чтобы наполнить себя этой вечной красотой. Попытки человека получить покой в душе пока безуспешны. «Я закуриваю, гляжу, как плывет и тает в чистом воздухе табачный дым и думаю, что мне хорошо и спокойно. И что я сделал свое дело: расстрелял патронташ, добыл утку, и вот теперь тихо и благостно смотрю на притихшее перед ночью море, на темнеющие облака, на размытый горизонт». Человеческие страсти растворяются, как табачный дым тает в чистом воздухе, что в малой метафоре открывает художественные достоинства гурулёвской прозы со сложными переплетениями реальности и скрытого смысла.

Композиционным центром в драматургии рассказа является диалог главного героя и его друга Валентина. Значимы координаты общения — на расстоянии, с помощью крика и междометий («что-то вроде «о-э», «о-э», — глухо кричу я»), с паузами и непонятными ответами. Значимо и то, что главный герой находится на острове, далеко от Валентина. «Островок почти голый, но на одном его крутом склоне растет несколько разлапистых сосенок». С одной стороны, физическая отделенность, изолированность человека значит отрыв от людей. С другой, автономия позволяет человеку сосредоточиться на телесном, эмоциональном, нравственном состоянии, обратить взгляд в себя и попытаться разобраться в своем отношении к людям, другу. При этом нахождение на острове осуществлено осознанно, по собственному выбору («ведь вот же какое неудачное место я выбрал»), что фактически грозит разрывом, невозможностью услышать ответ. Присутствует и псевдокоммуникация — с намерением не быть услышанным: «рассчитывая на то, что Валентин не поймет, а кричать снова не решится». Интересно, что в какие-то моменты выстрел воспринимается главным героем как реплика: «Учить вас надо. И уже специально для Валентина и того, соседа на лесистой косе, стреляю из обоих стволов, раз за разом». В конце рассказа среди молчания выстрелы со стороны воспринимаются тоже как ответы. Подобные ситуации в художественном мире имеют, как минимум, тройной код: событийный, семиотический, метафорический. В целом, динамика общения сложна, пунктирна. В ней чередуются фразы, понятые ответы, затяжные паузы, неясные ответы: «он, тоскуя, кричит», «я жду завистливых криков Валентина, но он молчит», «кричу я», «но Валентин молчит»,

«— Есть? — кричу я снова», «Валентин что-то отвечает», «он молчал». Крик, молчание, опять крик. Мотив крика, отсутствия или непонятости ответа с ключевым рефреном — «я не могу разобрать его слов», «и опять не понять ответа» — обнаруживают значение зова о помощи, который не понят или не принят адресатом. Крик одного и молчание другого метафоричны. Скрытое значение такого отдаленного и странного общения — в отчуждении человека от людей, в распаде связей, угасании потребности быть рядом.

Время в рассказе дробится, как дробится мстительностью, жестокостью душа человека. То оно замедляется, то сжимается до мгновения, осколков целого. Мгновения, доли секунды и «долгие» секунды сконцентрированы в сцене добивания утки-подранка. Они — в краткости, резкости действий человека и их последствия: «дробь хлещет», «дробь рябит», «вгоняю», «прыгает мушка ружья», «рвут воздух выстрелы», «вскипает вода». Эти мгновения — та доля жизни, которую отмерил человек ослабевшей утке. По ходу рассказа время пульсирует: «и снова тишина», «проходит напряжение», «и снова тягучее напряженное ожидание». Течение времени меняется, словно по произволу кинорежиссера: «ко мне, как во сне, как в замедленном кино, плыла по синему воздуху утиная стая». Замедленность кадра, видимость, но не слышимость звука, обостряют кажимость и произвол действий человека среди величия окружающей природы. Скачкообразное время человека конфликтно природному времени — тихому, неторопливому, подвластному высшему закону, где каждой смене и движению определен свой черед. Этот контраст обостряет впечатление призрачности, нелепости притязаний человека на первенство.

В рассказе «Зависть» метафоричен сам образ утиной охоты, который не может не быть связан какими-то дальними отзвуками с вампиловской пьесой. Неуловимые ассоциации остаются тайной произведения. Но можно сказать, что и в пьесе, и в рассказе значим образ удачливой охоты. У Вампилова Зилов не убил ни одной утки, и образ охоты в пьесе «Утиная охота» имеет трансцендентный характер как пространство вневременной красоты, чистоты и подлинности бытия. В рассказе А. Гурулёва утиная охота развернута в текущее событие, полное деталей, действий, материи — осязаемой, ощущаемой, слышимой, видимой. Пространство высшей красоты в рассказе становится рингом для состязания в превосходстве, местом мстительности, жестокости. Для главного героя оно стало еще и местом попытки — себя, утки-подранка. В этом смысле человек и раненая утка едины, оба страдают. Он — от собственной страсти, разрушающей душу, она — от смертельных ран, нанесенных человеком. Желание главного героя «спокойно, умиротворенно смотреть на вечернее море, на пролетающих уток» становится иллюзией, обманом. Жизнь продолжается как попытка: «на этом попытка не кончилась». Мучаясь сам, охотник мучает ожившую после выстрела птицу.

Рассказы А. Гурулёва «Ель» и «Зависть» идут парой. Они логичны в отражении диалектики жизни, дополняют друг друга. В одном — полнота бытия и самоотречение, щедрое дарение, продолжение себя в фельдшернице Вальке, Петроване, в новой избе зуевского зятя, новой елочке, знаменующей иное бытие — за пределами дома, деревни, земли. В другом — жадность к жизни, потребность чувства превосходства, отношение к миру как недополученному дару, где за чувством обделённости, нехватки стоит желание взять чужое. Сюжет «Зависти» держится страстью главного героя жить и получать все, что якобы незаслуженно присвоили другие. В первом рассказе — отдаление и уход от земного, во втором — ощу-

щение бытия как возможности иметь. Уничтожение в себе чувства сострадания тянет за собой утрату единства с окружающим. Остров главного героя контрастен растворению себя в мире главной героини другого рассказа. Для нее мир велик и разнообразен. Настасья любит смолистыми, солнечными бревнами строящейся напротив избы, слушает реку, радуется ельнику с обилием «лучших» елочек, выбирая, «трогает колючие лапы елочек», словно руки людей. Любование миром, сорадование ему выдает чувство любви, согласия с ним, душевное продолжение себя в других.

Но осознанность, исповедальность «Зависти» — важная ступень в движении души к высшему, постижению смысла жизни. «Зависть» обещает, готовит жертвенное дарение женщины-ели себя в рассказе «Ель». Оба рассказа А. Гурулёва перерастают сюжеты, их событийную ограниченность, становятся притчами, развернутыми метафорами. Сквозь видимость происходящего просвечивает сущностное — то главное, что направляет человека, становится смыслом его земного существования.

## В поисках пути праведного

О романе Анатолия Байбородина «Боже мой...»

В издательстве «Вече» увидел свет дополненный, переработанный писателем роман «Боже мой...», написанный сорок лет назад, изданный вначале отдельной книгой, а потом — в журнале «Роман-газета» тиражом в полтора миллиона. И вот новая редакция романа... Очевидно, что поднятые в произведении проблемы не канули в Лету, они существенно обострились и вышли, если можно так сказать, на новый уровень. Вряд ли ошибусь, если замечу, что именно это обстоятельство заставило Ан. Байбородина посмотреть на события и явления 70-х годов прошлого века с высоты сегодняшних обретений и потерь.

Ан. Бабородин вошёл в русскую литературу в конце 70-х — начале 80-х годов с православно-христианским взглядом на действительность, что передалось от матери, сибирской крестьянки, которая даже в разгар атеизма оставалась Богомольной христианкой. Мать вышла из сибирской семьи старообрядцев, «семейских», и хотя позже молилась и в патриаршских церквях, сохранила своеобразный «семейский» диалект и старинные обычаи. Отец — гуран, так прозывали коренных забайкальцев, языком, нравом, обликом смешанных с бурятами и тунгусами, что слыли талантливыми сказителями. Этим сказительным даром обладал и отец.

Этический, языковой мир отца и матери определили творческую судьбу Ан. Байбородина как писателя, чей своеобразный язык заставляет читателя восхищаться и трепетать над строками, воспевающими его родной таёжный и озёрный край: «Сплошную седмицу скучно моросило, вытягивало душу, и не верилось в синий небесный просвет, а про солнышко и вовсе забыли, словно здешний люд и не заслужил солнышко по грехам смертным; но вдруг милостью Божией в полдень рванул ветер-верховик: раскачав и взъерошив низкое, мутное небо, порвал заунывную мглу, и тотчас из синей полыни всплыло солнце, и хлынуло на землю тёплое сияние, оживляя и ласково грея деревню, поскотинные поля, лес и озеро. Ярко, изумрудно светилась сырая трава, взыграла поникшая было и посеревшая листва, засинели лужи. Небо над сизым заозёрным хребтом цвело алым цветом, суля после мороси влажный зной и грибной урожай, чтоб хоть литовкой коси, словно луговую траву».

Не случайно произведения писателя на первых порах причислили к так называемой «деревенской прозе», да и благословил его в литературу один из признанных корифеев этого направления — Валентин Распутин, сделавший отнюдь не комплиментарный, но очень доброжелательный анализ первых опусов молодого тогда Байбородина.

Роман «Боже мой...» был начат в конце семидесятых и обозначил главную тему творчества Байбородина — бережное отношение к русскости вообще и к Православию как духовному оплоту нации, к русскому языку как краеугольному камню национального самосознания. Уже тогда, много десятилетий назад, обозначились кризисные явления и подтачивающие язвы на теле великорусского языка, названные писателем «русскоязычной речью, серой и безликой, похожей на бетон, под которым в муках умер цветастый пойменный луг». Автор печалится

«о любомудрой, певучей и живописной народной (крестьянской) речи, похожей на летнее поле в душистом разнотравье-разноцветье». Читая статьи и материалы в газетах «Правда» и «Известия», других центральных изданиях того времени, да и сегодняшнюю прессу, можно убедиться, насколько далека эта «русскоязычная» речь от живого родника народного общения. Писателя уже тогда беспокоило не только распространение «новояза» среди журналистской братии, но и в народе со «всеобщим средним образованием». В редакционных кабинетах нет-нет да и велись жаркие споры о том, каким должен быть газетный язык, и чем он отличается от языка повседневного общения.

Главный герой романа журналист Василий Ознобихин в одной из таких дискуссий посетовал коллеге-журналистке Полине, этакой эмансипе с сигаретой в зубах: «Иные скотники и доярки приноровились говорить по-газетному... Слушать лихо; и больно, и жалко, опять же: словно на чужбине живём, где власть запрещает говорить по-русски, на языке дедов и прадедов». На что журналистка с университетским образованием отвечала: «Навыдумывал ты, Вася... А что, газетный язык — не русский язык?». «Какой русский?! — поморщился Василий. — Труха от сена... Да ещё слов заморских напихали... Помню, читал словарь русского языка: мать честная, да там же всякое народное словцо... родное, коренное... с пометкой устаревшее, лексически сниженное, — короче, третьего сорта. А словарь тот печатался... я посмотрел... когда простой народ поголовно говорил на этом... сниженном... Значит, и простой народ — сниженный, третьесортный...». Из чего Василий (а он — во многом автобиографичный персонаж) делает вывод: «Общество в пропасть катится, а язык мертвеет...».

Как актуальны эти сомнения и опасения автора сегодня, когда проблема стала ещё острее: уходят в небытие носители чистейшего русского слова, зато распространяются с пугающим натиском англицизмы, где надо и где вовсе не нужно, применяются иноязычные слова ради какой-то бесовской моды: лузер, имидж, тинейджер, лизинг, лейбл, менеджер и даже спикать, смокать и дринкнуть! Хотя этим и десяткам других англицизмов есть вполне употребительные эквиваленты в русском языке.

То, как автор романа рисует журналистскую братию и окружение, не вызывает к ним симпатии в глазах читателя, не деля героев на положительных и отрицательных, акварельными мазками выделяя в них все самые затаённые движения души и чудовищное несоответствие возложенной на них миссии. Писатель как бы задался целью: каждый персонаж отражает ту или иную степень деградации и нивелирования личности, отказа от своих национальных духовных ориентиров, цинизм и пренебрежение своими корнями в погоне за сиюминутными удовольствиями.

Сюжет романа прост: это один день из жизни районной редакции в августе 1973 года. Перед читателем вереницей проходят во всей своей красе бывший колхозный бригадир, окончивший партшколу и ставший редактором, бывший зоотехник, а ныне заведующий сельхозотделом редакции Гена Чебунин, бойкая и бесцеремонная завотделом писем Полина и её нагловатый муж, фотограф и пройдоха Дарданелла, бездарная корреспондентка с культпросветобразованием Люба Мигай, давно метящий выбиться в редактора ответсекретарь Коля Свист, всегда готовый ради карьеры сделать подножку сослуживцу, и другие персонажи, в общем-то, беззлые, но по большому счёту равнодушные к своей работе и собственной судьбе люди.

Из этого ряда немного выбивается Дарданелла, не обделённый талантом фотохудожника, пытающийся на этом зарабатывать, впрочем, безуспешно; ради эффектного кадра готовый пойти на подлог и постановку, снимая то, чего в жизни не существовало, но удавалось изобразить сюрреалистическую сценку, хотя рядом можно было снимать сколько угодно не менее захватывающих сюжетов из реальной жизни. Одного окрика из райкома партии хватило, чтобы «фотохудожник» быстро переориентировался на съёмки передовиков, делая их портреты для районной Доски почёта.

Верхом цинизма и падения нравов можно назвать сцену с Дарданеллой, который, будучи в командировке вместе с главным героем, на коленях выпрашивает у матери Василия «родовую икону, отсулённую дедом с бабкой», изображая себя православным верующим и тут же лихорадочно соображая, сколько можно выручить при её продаже в городе. «Беспамятство, безродность, национальный нигилизм» — так определил пределы нравственного и духовного одичания Валентин Распутин. Сегодня мы видим, что разрушение продолжается дальше — цинизм, блудословие, окаянство, нравственное и духовное скверноядие стали продолжением духовного одичания и показали себя во всей красе в лихие 90-е.

Есть ли предел нравственному и духовному осквернению общества, настолько ли безнадёжно его нынешнее состояние, где пути очищения и воскрешения высочайших духовных начал, издавна присущих русскому народу и всем народам, обитавшим и возрастающим под лоном Православия и русского языка?! Ответ на этот вопрос в романе ощутим, если читать произведение Байбородина со вниманием и с душевным трепетом.

У гениального русского писателя Николая Семёновича Лескова есть совершенно замечательный сборник «Праведники». В кратком предисловии к нему автор приводит свой диалог с одним «большим русским писателем» (А.Ф. Писемский), который утверждал, что пишет то, что видит вокруг себя: «а вижу я одни гадости». «Это у вас болезнь зрения», — возражает ему Лесков. Но сам Николай Семёнович задумался: «Как, неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто всё доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трёх праведников, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одной дрянью, которая живёт в моей и твоей душе, мой читатель?».

И, как показал Н.С. Лесков в своей книге, среди всеобщей дряни всегда можно найти «трёх праведников», на которых стоит русская земля. С этой верой и мы примемся за чтение романа Байбородина «Боже мой...». В нём есть, по меньшей мере, одна праведная душа — это мать главного героя Арина Романовна. Она сохранила не только веру, но и родовые иконы, и иконы тех односельчан, кто в годы гонений побоялся сохранять в доме свидетельства «темноты и отсталости», когда партийные агитаторы ходили по дворам и в горницах проверяли божницы, требуя убрать «антисоветскую агитацию»...

Пожалуй, и главного героя Василия Ознобихина можно отнести к «праведникам», несмотря на то, что автор отнюдь не идеализирует героя («чудечко на блюдечке» — называет его жена Лидия). Но главное — в его пугливой натуре теплится вера в то, что «так жить нельзя», что спасение от разложения и одичания всех и вся — в народном слове, в народной вере. Его статьи в газете не похожи на строки литературных подёнщиков: «Эхом деревенского говора звучало его слово,



вольное, словно пение ветра, заплутавшего среди высокой степной ковыли; слово капризное, похожее на девичий завиток у глаз, на белёдые озёрные пески, чаячий плач, хруст осеннего палого листа и сиротский свет февральского месяца — желтобородого старца».

На пути к праведности и Геннадий Чебунин, хоть и любитель выпить, хоть и пишет скучно, но — добрейшая душа, трудяга и большой знаток сельского хозяйства. Далёкая от русской народной этики, от крестьянской языковой стихии, воспитанная на классической русской и мировой поэзии, талантливая газетчица Полина странным образом сочетает в своем творческом мире обострённо критический, злой взгляд на людские пороки, что обличает на страницах газеты, и любовь к нежной поэзии. Хотя Василий горячо спорит с Полиной за ее неприятие простонародной речи в газетной стилистике, за ее вздорность, тем не менее, чувствует в журналистке душу сострадательную, совестливую.

Роман завершается картиной, привычной для «районки» тех лет: ближе к полуночи завершается подписание номера в печать, а Василий, стараясь не попасться на глаза редактору и ответсекретарю, пробирается в цех, где завершается правка, и уговаривает верстальщицу тётю Нюру сделать правку: восстановить несколько раз повторенное местной учительницей словосочетание «Боже мой...», вычеркнутое редактором. Поступок, мягко говоря, неоднозначный: он подставляет не только редактора, но и обманывает дежурившую по номеру Полину и измотанную, уставшую верстальщицу.

Да и сам Василий сомневается: «Может, и правда, не стоит игра свеч?... — опять спросил он себя. — Вот и тётя Нюра не хочет править. Ну, вычеркнул тятя «боже мой», и что изменится, если я вставлю... Какая, к лешему, разница, если вставлю «боже мой...»? Овчинка выделки не стоит...» — уговаривал себя Василий, а некая настырная сила, вздыбившись в душе, не давала пойти на попятный...». С годами Василий поймёт, что всё это было суета сует, но в тот момент поступок не виделся ему ребяческим: «смирennemудрие пришло долгие зимы спустя, а пока шёл спокойно, легко и счастливо, словно гору своротил, либо свалил с плеч тяжкую ношу». Ноша эта — ненасытный конформизм, который погубил не одну творческую душу, и, в конце концов, когда-то надо было поступить по совести, по правде. Почему не сегодня?

## АЛЕКСЕЙ ГОЛОВКО

### Суровой прозой о верлибре

В дни недавнего празднования 100-летия Иркутского государственного университета, основанного в 1918, мне вспоминались яркие события студенческой жизни в его стенах. Я учился на физическом факультете с 1966 по 1971, участвовал в общественной жизни в качестве редактора стенгазеты факультета и пробовал писать стихи. Одно стихотворение — зарисовка из стройотрядовской жизни — было опубликовано в многотиражной газете ИГУ. Вот оно:

<i>Сосны замерли, будто прислушавшись. Там, внизу — танцплощадки пятно. И есенинская взволнованность с задушевной тоской заодно. Там — концерт. Математик Володя нам читает про Шаганэ и тоскует о русском народе, о волнистой ржи при луне. Ну, а мы — на суровом Севере, только сосны да сосны кругом,</i>	<i>и мечтаем о южном берегу с жарким солнцем, горячим песком. Только мы бы там долго не пробыли, потому что мы с Севера, что ли, и нужна нам сибирская воля вместо мягкости южных ночей. О, Есенин! Как жаль — ты не с нами и не пел ты сибирской красы. Жаль, не видел ты Бирюсы и не плавал Байкала волнами...</i>
--	--

В той газете иногда публиковались стихи студентов — начинающих поэтов, и существовало ЛИТО (литературное объединение) университета, старостой которого был Владимир Артёмов, а куратором — Ростислав Иванович Смирнов. Один поэтический вечер, организованный ЛИТО осенью 1969 года, мне хорошо запомнился.

Вечер открыл Владимир Артёмов, в то время студент 4 курса филфака. Он держался уверенно, голос чуть срывался, но речь текла ровно и внушительно. Он говорил о ценности поэзии в жизни общества, о работе ЛИТО и продвижении творчества его участников в печати, огласил программу вечера: выступления поэтов состоявшихся, поэтов начинающих, общая дискуссия.

Первым выступил Виктор Отинов с яркой эмоциональной лирикой, в которой есть мотивы из жизни геологов, с которыми он успел побывать в экспедициях. Запомнились его строки:

*Я — климат континентальный,  
я склеен из настроений.  
Сегодня я — тверже стали,  
а завтра — букет сирени.  
Ты видишь меня веселым,  
безоблачным и туманным.  
Тебе не услышать стоны  
за звоном глухим стаканов...*

Вторым выступил Яков Кром, уже известный читателям областных газет своими подборками стихов. Далее со стихами выступила студентка 2-го курса филфака Татьяна Филимонова, экспансивная девушка с ниспадающей на лоб челкой. В стихах ее кипели бурные, шекспировского уровня страсти, и присутствовавшая на вечере Анна Селявская, не выдержав, подала реплику с сомнением в том, что девушка действительно пережила в жизни такое. Было еще несколько выступле-

ний, в одном из которых прозвучало эпатажное стихотворение с рефреном «не высывайся!» И в явном противоречии с этой установкой, на вечере один поэт «высунулся», как говорится, по полной программе.

Это был Александр Сокольников. Он прочел свои стихи в стиле верлибра при молчаливом внимании зала, которое прерывалось только хлопками в ладоши, издаваемыми одной девушкой в заднем ряду. Судя по лицам, назревала буря дискуссии, которая произошла позже.

Выступили несколько начинающих поэтов с математического, физического, биологического факультетов. Среди них был физик Валерий Выборов, замечательно тонкая пейзажная лирика которого обратила на себя внимание, и это выразилось в подборке его стихов, напечатанной вскоре в газете «Советская молодежь» с предисловием Сергея Иоффе. Удивительно то, что одно его стихотворение, услышанное однажды, врезалось навсегда в мою память:

*Когда настанут холода  
и снежный вихрь закружится,  
в полночный час на провода  
слетит ноябрь синей птицей.  
Когда сквозь первый павший снег  
трава восково зажелтеет,  
когда застынут вены рек,  
а солнце землю не согреет —  
когда придёт ко мне беда,  
твой гулкий выстрел лес разбудит.  
Мой друг, со мной тебя не будет,  
когда настанут холода.*

Во второй части вечера состоялось обсуждение прочитанных стихов, и в его центре оказалось творчество Александра Сокольникова. Вначале выступили студенты. Одна девушка заявила, что стихов этих она не понимает, как и того, с какой целью они написаны. Другая девушка заявила, что не всем доступно понимание таких произведений, подобно тому, как различную музыку понимают по-разному люди различного уровня подготовки. Если кому-то это непонятно, нельзя считать это бредом. Ей тут же возразили: «Но ведь классическая музыка всем понятна!» Она ответила: «Нет, не вся. Например, музыка Равеля не всем понятна». Разговор продолжился на тему понятности стихов Пушкина, Лермонтова, Блока.

После нескольких задорных выступлений молодежи за и против стихов Сокольникова, его попросили пояснить образ «накрыться лужей». Александр вышел вперед и начал объяснять — неуклюже, сбивчиво. Он говорил, что в рукопашном бою, когда солдат падает, его укрывает тот, кто идет за ним. И когда он, поэт, идет по улице, по лужам с тонким слоем льда, ему кажется, что он может накрыться лужей — той, что оказалась за его спиной. Его спросили «в какой плоскости?» — и он ответил, что в вертикальной, от земли до неба, и когда спросили, от чего накрыться, он ответил: «Ну, просто накрыться!»

Потом Александр вышел к доске, взял мел и очертил круг, пересек его вертикальной линией, протянув ее до верхнего края доски. Он спросил аудиторию: «Что это?» Все молчали, а он ответил сам: «Я утверждаю, что это — капля дождя!» Некоторые с ним согласились. Далее он рассказывал о своем необычном видении мира. Например, он выходит утром на улицу и видит над городом голубую дымку. И ему кажется, что это — Париж. Или смотрит на листья клена, и ему кажется, что это — руки, закрывающие лицо от ветра.

Одна преподавательница заявила, что в его стихах нет логической завершенности, четкой мысли, их можно продолжать бесконечно. образов много, причем хороших, но они нагромождены без всякой последовательности. Александр ответил, что пишет «единым духом», по вдохновению, и больше не правит стихи. Ему возразили, что великие поэты много работают над своими произведениями, а он, видите ли, считает свои творения каноническими. Он ответил: «Ну, если мои стихи гениальны, то слава Богу!»

Были и хвалебные выступления — о совершенстве образов в стихах Сокольникова, например в его миниатюре

*Пчела извлекает  
патефонной иглой  
янтарную музыку мёда.*

Затем выступил известный авторитетный литературовед Ростислав Иванович Смирнов — о традициях русского стихосложения, о преобладающем стиле — силлабо-тоническом, который характерен для русского языка и останется основным, ведущим. Всё постороннее, наносное не приживется, исчезнет. «Верлибр не приживается у нас, как не прижился при Пушкине силлабический стиль». В стихах Сокольникова — нагромождение образов, нет организующего начала. «Эти стихи напоминают творчество Велемира Хлебникова, но это — пройденный этап в нашей литературе».

Александр был очень возбужден той характеристикой, что дал ему Смирнов. Он заявил, что в его стихах организующим началом является последовательность мыслей автора, как в песнях бурлаков. Оспаривал он и мнение о верлибре, сообщил, что знает одного крупного поэта, написавшего строки:

*Я возьму меч,  
разрублю земной шар пополам  
и положу его половинки на твою грудь,  
и у тебя будет ребенок,  
и он будет сосать из северного полюса.*

И он спросил: «Ростислав Иванович, как вам нравятся эти стихи?» Тот ответил: «Превосходные!» И Александр сказал внушительно: «Так вот: эти стихи написал я». «Но зачем мистификация?» — «У меня нет другого способа спорить с вами!»

В зале поднялся шум, ропот. Сокольников сидел, большой, в зеленой рубашке с засученными рукавами и джинсах, в рыжеватой бороде его сверкали бисеринки пота.

Выступила Анна Петровна Селявская — вначале о всех прозвучавших стихах, что им недостает оригинальности. Как бы нет лица автора. В случае Сокольникова — лицо есть, «может быть, лицо это нам не нравится — слишком выступают надбровные дуги, слишком красивая борода, но оно есть, а лица других авторов в стихах увидеть трудно». Далее Анна Петровна заявила, что, к сожалению, в некоторых строках Александра нет должного целомудрия: к примеру, как понимать строки: «мы любим женщину толчками, как трогаются тепловозы на полустанках»? Александр оторопел и ответил на это вопросом: «А как, по-вашему, любят рыбы?» Та ответила: «Ну, если это считаете нормальным, лучше накрыться лужей!»

В заключение вечера, выступил Владимир Артемов и подвел итоги своей гладкой продуманной речью, предложив в следующий раз, по предложению Ростислава Ивановича, уделить внимание гражданственности в поэзии.

Прошло полвека со времени того вечера, и сама жизнь подытожила судьбы поэтов и их критиков, а также их творений. Многих уже нет в живых: В.А. Артемова, опубликовавшего прекрасные исследования творчества Евгения Евтушенко, Р.И. Смирнова, поэта и литературоведа, А.П. Селявской, великолепного лектора и исследовательницы русского фольклора, хороших поэтов Виктора Отинова и Якова Крома. Столь трудно шедшая к читателям поэзия Александра Сокольникова приобрела не только популярность, но и место в публикациях. Вспоминаю все это, и мне приходит в голову настойчивая мысль о не уничтожении, выживании подлинной поэзии, которая остается в памяти современников и пробивается к свету и в свет, подобно весеннему ростку сквозь толщу всех наслоений.

## ЕЛЕНА ЖДАНОВА

### Пять минут, полёт нормальный...

Слово о СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «АЗЬ-АРТ»

*От редакции:* В 2021 году Министерство культуры и архивов Иркутской области уже во второй раз поддержало проект Максима Живетьева по изданию литературного журнала для молодежи «Азь-арт». До конца года выйдут два номера, которые познакомят читателей с молодой литературой Приангарья. А сейчас публикуем обзор на журнал «Азь-арт» за 2020 год.

В 2020 году в Иркутске при финансовой поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области вышел молодёжный литературный журнал «Азь-арт». Он собрал на своих страницах разных по своему профессиональному опыту авторов, которых объединила любовь к слову. В журнале можно почитать стихи, рассказы, эссе, художественную критику, литературоведческие статьи, театральные рецензии. Разброс литературных жанров так же велик, как и выбор тем, которые интересны авторам.

Инновационным в журнале мне видится подход редактора к работе с художниками-иллюстраторами, которые представлены в «Азь-арте» не только как иллюстраторы, но и как поэты и прозаики. Кроме того, в журнале размещена художественная критика на творчество художников. Такой комплексный подход помогает объёмно увидеть портреты Ирины Железняк, Лидии Шаркуновой и Марины Ножниной. Читатель может посмотреть рисунки Ирины, почитать её миниатюры, потом сменить оптику и увидеть её глазами поэта Лидии Шаркуновой, которая не только написала для первого номера искусствоведческий обзор на графику Ирины, но и опубликовала во втором свои рисунки и стихотворную подборку. В свою очередь, обзор на Лидины иллюстрации написала художник и поэт Марина Ножнина, чьи стихи можно найти во втором номере, а рисунки — в третьем.

С Мариной Ножниной мы познакомились в 2018 году на обсуждении 41-го номера альманаха «Первоцвет», в котором были опубликованы её стихи и моя рецензия на телеверсию спектакля Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Последний срок». Энергичный объёмный стих Марины производит впечатление сразу, даже при поверхностном чтении. У неё рыжая поэзия, расцвеченная золотыми оттенками тепла и света. Пылкая, полная жажды жизни героиня вихрем врывается в обыденную реальность, преображая всё вокруг своим прикосновением. Любовь к сыну, тоска по матери, острое переживание весны и осени образуют в её поэзии мощные по силе воздействия образы, которые ещё долго сохраняются в памяти отражённым метафорическим светом.

В 2019 году ЛИТО «Азь-Арт» провело Областной конкурс поэзии и малой прозы «Лето поэта», в котором в номинации «Поэзия» 1 место заняла Наталья Добаркина. Наталья стремительно ворвалась в современную поэзию. Ей присуще мифологическое ощущение времени, в горниле которого воедино переплавляются языческие и христианские мотивы, из которых она выстраивает почти по-античному трагический образ поэта. Её стихи были замечены и опубликованы в таких крупных журналах, как «Сибирские огни» и «Огни Кузбасса».

Одним из самых сильных авторов журнала я считаю Марию Байбородину с её рассказом «Фотография, крысы и воровство». Незамысловатая история о молодой женщине, в одиночку воспитывающей дочку, позволяет отнести автора к новым традиционалистам. Мария описывает простые на первый взгляд жизненные коллизии, в которых оказывается её героиня, но пристальность к малейшим душевным переживаниям, любовное изображение нашего времени создаёт в рассказе живую атмосферу, где смеются, плачут, удивляются, надеются, дружат, обижают, прощают и философствуют настоящие, а не картонные люди.

Парадоксальным автором, который успешно играет на стыке натурализма и метафизики, стала для меня Любовь Головина. Казалось бы, рассказ «Дружеские кости» работает в поле новогодней истории, в котором при помощи языковой игры Любовь переосмысляет понятие чуда, вписывая его в циничный мир взрослых, разучившихся мечтать. «Дружеские кости», балансируя на стыке детектива, мелодрамы, комедии и мистики, отсылают читателя к фольклорным корням святочных рассказов, в которых финал истории не всегда оказывался счастливым. Жанровая текучесть определяет способ существования героев на грани обыденности, вокруг которых рвётся ткань повседневности, и только сочувствие и наивность героев не позволяют миру рухнуть в необратимый хаос.

Неоднозначное впечатление на меня производит проза Максима Живетьева. Он пишет исторические рассказы, в которых с переменным успехом пытается воспроизвести эпоху конца XIX — начала XX века. Как зачин он использует в них историю переселения родни в Сибирь. Контурно обозначив историческое время, он выписывает усреднённые эмоции, которые как шапку можно надевать на разных персонажей, будь то условная умирающая от чумы девушка, беременная женщина, неопределённого возраста казак или гимназист. Семейная история служит строительным материалом, куда вписывается «мировая история». Я думаю, что автор использует канон исторического романа не для того, чтобы детально воспроизвести прошлое, где живут, страдают и умирают его герои, а для того, чтобы понять себя и своё время, или точнее безвременье, на которое пришлась его молодость. Поиск своих корней помогает автору проработать травму распада, которая подспудно подтачивает настоящее, придавая ему привкус фрагментарности бытия. Он вписывает в семейную летопись события, которые не происходили в реальности, и, мифологизируя свою жизнь, придаёт ей смысл.

У Максима Живетьева мне нравятся те рассказы, которые выросли из его очерков. В них есть искренность переживания и философские размышления на тему вымирающего рода («С видом на Байкал»).

Юрий Харлашкин работает в жанре эксплуатационного кино (намеренно смешиваю в сравнении прозу с кино, потому что для художественной литературы критерии эксплуатационного жанра ещё не определены): берёт популярную у массового читателя тему (социальная заброшенность женщин и детей, девиантное поведение мужчин), показывает маргинальность атмосферы, в которой существует его персонаж, и, вызывая к рефлекторному чувству несправедливости, причиняет боль сентиментальному читателю. Привлекая внимание читателя на 8 секунд, он выбивает из него кратковременную эмоцию. Мне видится, что от подобной поверхности Юрию Харлашкину удаётся отойти в рассказе «Сигналка», где он в социальный сюжет встраивает знаковую систему. У главного героя — подростка Мишки — нет друзей, кроме собаки Найды. Когда в его дом внезапно нагрянула проверяющая комиссия, на защиту мальчишки встала только собака,

которая напугала незваных гостей грозным лаем. Комиссию волнует не благополучие проверяемых семей, а показатели по району, поэтому для проформы они установили в доме Мишки электронное противопожарное устройство, считая, что за один рабочий день достаточно проявили казённой заботы о чужих детях. Сигналка олицетворяет социальное зло, которое представлено головоутипством государственных чиновников, равнодушием соседей, алкоголизмом матери. Собака же олицетворяет преданность, дружбу, охрану дома, тепло живого существа. В небольшом по объёму рассказе автор выстраивает двухполюсную сигнальную систему, где на одной стороне помещает явления, которые маркирует с отрицательным знаком, а на другой — с положительным. Собака Найда уравнивает авторскую категоричность, придавая рассказу объём и фактурность.

В 2020 году ЛИТО «Азь-Арт» провело Областной литературный конкурс «Зима фантаста». Конкурс выявил потенциал молодёжной фантастики, зафиксировал тенденции в развитии жанра, отразил основные образы и идеи, которые волнуют сибирских авторов. По-прежнему востребована антиутопия, космическая опера, планетарная фантастика, киберпанк, мистика со сверхъестественными силами, которые не связаны с конкретной религией, хоррор, научное фэнтези. В мирах, созданных участниками конкурса, происходят глобальные катастрофы, колонисты заселяют неизвестные планеты, космические пираты ведут работорговлю, люди сосуществуют с дикими зверями и роботами, а героика рыцарских романов и волшебных сказок переосмысливается в ироническом ключе.

Кристина Ретивых пишет рассказ «Маленькая принцесса» в жанре киберпанк, где обыгрывает аллегорические образы из повести-сказки «Маленький принц». Перерабатывая образ Лиса, созданный Экзюпери как символ дружбы, Кристина выстраивает структуру рассказа, которая держится на мнимом поединке трикстера с человеком. Маленькая принцесса не осознаёт своей вины человека перед диким наномиром, в который она врывается с открытостью любознательного ребёнка и уверенностью в незыблемости дедовских правил жизни. Столкновение двух цивилизаций даже не ощущается, потому что в рассказе нет никого, кто мог бы проявить терпение и мудрость. Кристина умело закручивает интригу, сохраняя её до финала, и оставляет конец открытым, давая читателю возможность подумать. Осознанны автором или нет отсылки к японской мифологии и американскому фэнтези, но образы Лисы и Волка в последнее время стали чаще встречаться в массовой культуре.

Павел Семченко в рассказе «Запертый в степи» создаёт постапокалиптический мир, в котором травмированная человеческой деятельностью земля брошена людьми. Остатки человечества живут на забытых территориях, покоряя их заново. Великая русская культура существует в памяти бортинженера Михайло, который из имён и названий вспоминает только Пушкина и Санкт-Петербург. Редуцированная до Петра и Пушкина русская цивилизация хранится в пространстве вечной зимы, где Михайло приручает рысь, называя её человеческим именем Лиза, изредка взаимодействует с племенем тавенцев, и мечтает расквитаться с бывшим другом, который пытался его убить. Павел Семченко практически пишет записки охотника, приправленные условно-фантастической образностью.

Екатерина Куйдина пишет рассказ «Огни» в жанре научного фэнтези, где для сюжетной завязки использует идеи лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины 1908 года Ильи Мечникова, который искал «эликсир бессмертия». Примерный возраст главного героя, Игоря, совпадает со временем, на



которое пришёлся пик популярности идей Мечникова. Автор создаёт историю о юношеской незрелости, балансируя на грани отсылок к научным и мистическим идеям, которые при должной разработке могут вылиться в интересный роман. По настроению рассказ мне напомнил книги из линейки «Вселенная Метро 2035», которая специализируется на фантастике, развитие сюжета которой географически привязано к метро.

В 2021 году Екатерина приняла участие в Областном литературном конкурсе «Весна драматурга», где была отмечена в номинации «Интермедия» за ироничную сценку «Обычный человек», с которой можно познакомиться на страницах третьего номера «Азь-арта».

Михаил Кривёнок в рассказе «Бу-у-к и потерянные страницы» ведёт повествование от лица маленького мальчика. Его отец любит писать чернилами, сочиняет чудесные истории и играет с сыном в весёлые игры. Однажды у отца появляется печатная машинка, из-за которой он буквально исчезает в мире фантазии. Мальчик отправляется на его поиски, и к концу приключения уже сам становится отцом, которому нужно научить сына искусству придумывания историй. В рассказе Михаил рассматривает природу творчества, затрагивает вопросы о воспитании, умело меняет точку зрения в рамках одного персонажа.

В 2021 году Михаил также принял участие в Областном литературном конкурсе «Весна драматурга». Его пьеса «Без чувств» была отмечена в номинации «Одноактная пьеса» и опубликована в третьем номере журнала.

Таковыми именами и сюжетами запомнилась мне молодая литература Приангарья за 2020 год. С интересом жду, каких новых авторов откроет читателям «Азь-арт» в 2021 году.



ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА

Геннадий Машкин —  
писатель талантливый и разный

ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА



*Г.Н. Машкин*

Отчего-то всегда было легко говорить с Геннадием Машкиным. О литературе, о жизни, о чём-то случайном, забавном, внезапно пришедшем на ум... Один из друзей Вампилова, кажется, автор названия молодой писательской компании «Иркутская стенка», он любил рассказывать что-нибудь из прошлого, из 60-х годов. Помню про озеро Фролиху, на которое они однажды ходили походом на рыбалку. Там какое-то было приключение, они с Вампиловым и ещё с кем-то на время отлучились, потом не то заблудились, не то долго не могли отыскать подхода к озеру. Глеб Пакулов остался на базе, ждал их.

— А Глебушка на берегу ходит и кричит: «Ребя-я-ятушки, ребя-я-ятушки!» — очень смешно у Машкина выходило и сказку напоминало: «Ребя-я-ятушки, козля-я-ятушки»...

Самое удивительное, на непринуждённость наших отношений никак не влияли мои редакторские придиридки к его произведениям, которые автор прославленного «Синего моря, белого парохода» время от времени предлагал издательству, хотя чаще печатался в Москве.

Так, однажды он принёс в редакцию роман под названием «Голец Лавинный» на производственную тему, которую нам настойчиво предлагали сверху. Серьёзных и правдивых вещей среди них обычно не попадалось, и потому навязывание вызывало сопротивление. Писатели не работали у заводских станков и на хлебных станах, чтобы увидеть мир труда изнутри. То же самое журналисты, хотя они были ближе к жизни, зато не очень дружили со свежим, сочным словом. Как однажды почти дуэтом выразились главный редактор Ростислав Филиппов и художественный редактор Евгений Касьянов (один начал, другой подхватил): кто пашет, тот не пишет — кто пишет, тот не пашет. Развеселили планёрку в ответ на очередной призыв директора Юрия Ивановича Бурыкина организовать рукопись на рабочую тему.

У Геннадия Николаевича был творческий период, когда он подобными предложениями не пренебрегал. Наверное, как недавний геолог, считал себя достаточно

осведомлённым в трудовой сфере, а как профессиональный писатель полагал, что обязан легко справляться с любым заданием. Да и гонорар — лишний разве?.. Читателя он не хотел слишком удручать производственными заморочками и потому вводил в повествование насмешливые нотки. Оттого при чтении «Гольца Лавинного» у меня возникло ощущение, что всё в этом романе завязывается и развязывается словно шутя. В общем, моё заключение получилось отрицательным.

Машкин с ним не согласился, и тогда я предложила ему назвать кандидатуру рецензента, мнению которого он доверяет. Пусть нас рассудит. Надо сказать, рецензирование в разные годы было в издательстве то обязательным, то не очень. К автору с именем чаще применялось «не очень» — сэкономились издательские деньги, особенно если рукопись была толстой. Негласное это правило было хорошо известно писателям, поэтому некоторые обижались, если их творение отдавалось на рецензию. Машкин как раз входил в категорию именитых.

Но Геннадий Николаевич не обиделся на моё предложение и без долгих раздумий назвал своего друга Геннадия Николаева, бывшего иркутянина, переехавшего в Ленинград. Меня этот выбор вполне устроил. Признанный прозаик, Николаев был ещё и опытным редактором, в 1971–1974 годах возглавлял наш альманах «Ангара», а в городе на Неве стал главным редактором журнала «Звезда». Кроме того, я слышала о нём как о человеке честном и ответственном.

Посылая рукопись Николаеву, я приложила к ней и своё заключение: если я не права — оспорьте его. Я, конечно, понимала, что ставлю Геннадия Философовича в непростое положение. Даже если возразить ему будет особо нечего, но каково это — вдруг ни с того ни с сего обидеть давнего друга?.. Раздумывала: не откажется ли? Всегда ведь можно сослаться на нехватку времени. Но с другой стороны, это будет отказом не только издательству, но и Машкину...

Ответ пришёл, рецензия была написана. Примерно половину её площади занимали достоинства творчества Машкина вообще, потом шли рассуждения о производственной теме, а в конце предложение: может, этот роман стоит издать под рубрикой «Ироническая проза»?

Машкин, прочитав рецензию, только хмыкнул и ушёл, забрав свой «Голец», и больше нам его не предлагал. Правда, спустя год или два, заглянув как обычно, он бросил мне на стол книгу со знакомым названием и упрёком:

— Вот смотри, Москва печатает, а вы тут копаетесь...

«Голец Лавинный» был издан Профиздатом, и я, не чувствуя никаких угрызений, с облегчением вздохнула:

— Поздравляю!..

Профиздат среди издательств особого авторитета в то время не имел.

В наших отношениях ничего не изменилось. Мы по-прежнему с обоюдным удовольствием беседовали на разные темы. Позже я всё-таки заглянула в московское издание «Гольца Лавинного». Мне показалось, что после рецензии Николаева Машкин доработал роман, «осерьёзнил» его.

Омрачила наше приятельство работа над книгой «Черты созидания».

В те же 80-е годы, на подходе к перестройке, издательство затеяло серию «Писатель и Сибирь». Подразумевалось дать читателю глубокое, именно писательское осмысление проблем нашей жизни. Примером был, конечно, Валентин Распутин с его могучей публицистикой.

Мне выпало составлять (вместе с журналистом Н. Кривомазовым) и редактировать третий выпуск — «промышленный». Причём собирать сборник разных ма-

териалов морока немалая, тем более журналистских и писательских вместе (без журналистов в этом деле мы обойтись не могли). От плана-проспекта по ходу работы остались рожки да ножки: кто-то из утверждённых авторов внезапно как в воду канул, другой не справился с темой, третий, наоборот, написал в три раза больше, чем надо.

Главная трудность состояла в самой промышленности, которая в эти годы была — увы! — не на подъёме. Говорить о ней означало говорить о проблемах. Собственно, это и было задачей серии «Писатель и Сибирь». Однако руководство призывало нас настраивать авторов не на унылую фактографию, а на заинтересованный подход, поиск хотя бы приблизительных путей выхода, поднимать дух на преодоление недостатков. В общем, как говорилось в те времена, «критика должна быть конструктивной». Выдержать такую линию было трудно, и вот как пример: не прошёл остропроблемный очерк Леонида Капелюшного, собкора «Известий», о прокладке Северомуйского туннеля, где случилась авария, унёсшая жизни нескольких рабочих. Мне отстоять очерк у начальства не удалось, автор подал в суд и выиграл гонорар, т.к. договор с ним уже был заключён.

Вся эта горячка осталась позади, книга уже вышла, когда я однажды увидела в издательстве Валентина Распутина и Ростислава Филиппова. Они направлялись в приёмную. «Наверное, что-то интересное затевается», — подумала я. В те годы у издательства и писательской организации было несколько совместных проектов.

Минут через пятнадцать секретарь вызвала меня к директору. Я вошла и увидела в кабинете тех, с кем только что поздоровалась.

Оказывается, писатели пришли с претензиями ко мне. Филиппов — он как раз недавно стал секретарём писательской организации — возмущался тем, что материалы сборника «Черты созидания» сокращены без согласия авторов. Среди обиженных был назван и Геннадий Машкин. Я уже выслушала намерения его речь, полную негодования. О том как он, выполняя заказ издательства, отложил в сторону неоконченную повесть, которую ждёт Москва, поехал в командировку в Саянск, вник в дела изыскателей и буровиков будущего химкомбината, написал очерк «Обновление карты» объёмом, прописанным в договоре, — а редактор берёт его и урезает!

Несмотря на эту прелюдию, я всё равно почувствовала себя застигнутой врасплох. Сбивчиво ссылалась на безвыходность положения: много замен материалов по ходу дела, рукопись пришлось перекраивать не на один ряд, запланированный объём трещал, сроки горели...

Директор Юрий Иванович смотрел хмуро. Ему не хотелось портить отношений с писателями, но и завышение листажа была его постоянная головная боль. Единственно, что ему оставалось, так это строго заметить мне, что всякую правку надо согласовывать с автором, что он и сделал.

Распутин в основном молчал, а когда мы все выходили из приёмной, сказал мне:

— Чтобы убрать у меня одну строчку, редактор звонила мне из Мюнхена.

Ответить было нечего.

Вспомнился и тот безрадостный день, когда Геннадий Николаевич увидел готовую книгу. Взглянув на обложку, он сокрушённо воскликнул:

— «Черты созидания» — чёрт знает что! Кто придумал это название?! Я же предлагал — «Солёные пади Саянска». Только послушай, как звучит! Никакого сравнения!

Я была готова провалиться. Я и сама не могла видеть это название — художничий плод долгих поисков. Да, машкинское было отвергнуто сразу, потому что получалось, будто книга об одном Саянске, и к тому же ни один материал так не назывался. Но увы! То ли от усталости, то ли от помрачения ума я остановилась на худшем варианте, и это пришлось признать.

— Да, Геннадий Николаевич, — сказала я понуро, — ваше было лучше...

...Светлая полоса наших отношений прихлась на время, когда Восточно-Сибирское книжное издательство завершало свою славную историю. Но мы ещё не прозревали близкого конца.

Где-то в самом начале 90-х Машкин, выходя из соседней, детской, редакции, приоткрыл дверь и крикнул в мою сторону:

— Я скоро принесу повесть, которая тебе понравится! Вот посмотришь!..

«Дай-то Бог!» — подумала я, давно мечтавая сказать писателю что-то приятное о его прозе. Получалось, мы говорили с ним о чём угодно, но только не о ней. К тому же здоровье его как раз в эти годы пошатнулось, он пережил сложный перелом ноги, ходил с палочкой, казалось, даже сидеть долго в одном положении ему трудно. Вид у него был напряжённый и мрачноватый, и только в общении он оживал и становился прежним, готовым найти причину если не посмеяться, то хотя бы усмехнуться. Мне было не по себе, оттого что всё никак не могу его подбодрить.

И вот Машкин принёс свою новую повесть. Она называлась «Исповедь в Акше».

Простая по композиции, повесть была построена на рассказе старой крестьянки о годах молодости, пришедшейся на жестокие годы Гражданской войны. Сиротство, бедность, трудное вставание на ноги, а тут смута, братоубийственная война. Наперекор революционной стихии, в которой нет места обыкновенному человеческому счастью, строили свою жизнь Степанида и Иван. Их постигли скитания, его — по военным дорогам, от белых к красным, из Забайкалья то в Монголию, то в Маньчжурию и обратно, её — вслед за ним. Среди пожара и разрухи жизнь не хотела продолжаться — рождались и умирали дети, из шестерых выжили только двое. Едва успокоились бои, как начались разборки с «бывшими», мужа расстреляли...

Повесть была написана с доверием к героине, сочувствием к судьбам сибиряков, пониманием трагедии раздвоения России. «Исповедь в Акше» оказалась близка к «Житиям народным» — серии, которую я как раз начинала в издательстве. Такими повествованиями история говорит из первых уст, считала я.

Меня «Исповедь в Акше» порадовала вдвойне: и как страничка всё ещё не законченного полотна Гражданской войны, и как новый успех писателя Геннадия Машкина.

Конечно же, я с радостью поделилась с ним впечатлением.

— А я что говорил! — довольно отвечал Машкин.

Мы сразу начали готовить новую книгу. Было решено: Геннадий Николаевич добавляет к повести цикл рассказов разных лет, и мы выпускаем сборник под названием «Исповедь в Акше». Пусть рассказов будет немного, убеждала я писателя, главное, чтобы они были на уровне новой повести.

Книгу поставили в план, и — она зависла. Издательство к этому времени осталось без системы Книготорга и Библиотечного коллектора, и, вынужденное своими силами заниматься продажами, всё больше кренилось в сторону массового

спроса. А спрос был тогда на поэтов Серебряного века, зарубежный сентиментальный роман, кулинарные книги... Творчество современных писателей-сибиряков было отодвинуто, к тому же от издательства больше не требовали, как раньше, отражать литературный процесс своего региона. Москва с Госкомиздатом СССР, которому мы подчинялись, отвернулась ещё раньше...

От безвыходности наши писатели принялись за организацию частных издательств. В одном из них, «Письмена», в 1994 году и вышла новая книга Геннадия Машкина. Это была не совсем та книга, что готовилась в ВСКИ: объём её увеличился за счёт нескольких, в своё время отклонённых рассказов, изменилось название. Вместо «Исповедь в Акше» на обложке стояло — «Любовь на один сезон» (по одному из старых рассказов).

Было понятно — издатель хотел не отстать от модных веяний и надеялся заголовком про любовь привлечь читателей. Однако это не помогло, и тираж в 10 тыс. экземпляров уже не пошёл влёт, или хотя бы близко к былым темпам. Но больше всего пострадала повесть «Исповедь в Акше». Несмотря на то, что она стояла первой в книге, она не прозвучала как новинка для читателя 90-х годов.

Раньше соблюдался такой закон: называть сборник по новой вещи автора. Название было сообщением читателю, что у писателя эта новая вещь появилась. Теперь же мало кто знает об «Исповеди в Акше» Геннадия Машкина, о нём больше судят по произведениям 60–70-х годов. Вот чего жаль.

В конце 90-х довелось по просьбе Геннадия Николаевича прочитать два его геологических романа, готовых к публикации, — «Выстрел из кембрия» и «Дальняя тайга». Они были одобрены мной, и я снова порадовалась за писателя. В 1999 романы вышли в типографии № 1, в книге под названием «Таинственные Лены берега».

Автор подарил мне эту книгу с надписью: «От всего сердца!» Когда же я заглянула в выходные данные, то там, где указан редактор, с удивлением обнаружила свою фамилию. Тут же звоню.

— Геннадий Николаевич! Это почему я у вас редактором стою? Я ведь не редактировала.

Он отозвался весело, как о пустяке.

— Да ты же всё это читала! А фамилию редактора надо было поставить для порядка!

Вот он, незрелый, а потому всегда горячий для меня плод издательской самодетельности! В 90-е годы все типографии получили лицензии на право выпускать книги и стали работать с авторами напрямую. Редактора, что называется, «сбросили с корабля современности». Это устраивало обе стороны: типография получает деньги от заказчика согласно объёму рукописи, не тратит времени и финансов на редактора. Автор же сберегает свои нервы от редакторских замечаний. Ну а читатель? Ему остаётся радоваться, если поработал хотя бы корректор!

Правду сказать, новые романы Геннадия Машкина особого редактирования и не требовали. Один, «Выстрел из кембрия», был посвящён разведке нефти в Восточной Сибири, второй — «Дальняя тайга» — открытию месторождения золота в Сухом Логе, в чём поучаствовал в своё время и геолог Машкин. Он не раз говорил об этом. Получились добротные произведения, в лучшем смысле «производственные» и даже исторические — об освоении Сибири в середине XX века.

Быть причастной к их публикации я бы не возражала, если бы не ещё одна повесть, замыкающая сборник, «Свирепая глухомань». Помнится, эту повесть, не

то сатирическую, не то развлекательную, издательство отклонило ещё лет двадцать назад, и я бы не посоветовала автору ставить её рядом с двумя солидными романами. Несмотря на это, мне было очень жаль, что литературовед из Иркутского госуниверситета не заинтересовался этой книгой, когда я предложила ему написать на неё рецензию.

Последнее воспоминание, связанное с Геннадием Машкиным, — это самое начало 2000-х годов, обсуждение его объёмного сборника повестей и рассказов разных лет на заседании редсовета издательства «Иркутский писатель», которым руководил в то время Анатолий Байбородин.

Мнения по составу сборника разошлись, были предложения по сокращению, но особенно горячая дискуссия вспыхнула между автором и Глебом Пакуловым, тем самым Глебушкой, с которым они рыбачили на озере Фролиха. Глеб Иосифович тогда дописывал свой теперь уже известный роман о протопопе Аввакуме «Гарь», был в хорошей творческой форме, возражал с особой доказательностью. Но и Геннадий Николаевич не оставался в долгу, и можно сказать, это был поединок двух титанов из уходящей в историю «Иркутской стенки», когда вопросы писательского мастерства, подлинности изображения, языковой выразительности были главными и ставились конкретно по произведению. Несмотря на изменившееся время, писатели словно вернули ушедшие годы, когда в спорах высекался творческий огонь, озаряя их новые произведения.

С той поры я не раз думала о том, что из всего написанного Геннадием Машкиным необходимо отобрать всё лучшее и переиздать, чтобы в истории сибирской литературы запечатлелось его свидетельство о времени и людях, не замутнённое чем-то случайным и необязательным.

Геннадию Николаевичу очень повезло в последнее, примерно, десятилетие жизни, когда после смерти первой жены второй стала Людмила Терентьевна Рондик. Она приняла близко к сердцу не только судьбу писателя, но и его творчество. Не раз говорила мне, что её любимая вещь — «Письменная работа», о чистоте чувств двух влюблённых; очень сопереживала трудам мужа над продолжением повести «Синее море, белый пароход» — «Бродяги с Сахалина», дала мне журнал, в котором эта повесть была затем опубликована. После ухода из жизни Геннадия Николаевича она стала готовить к изданию ещё неизвестные его произведения и занималась этим до конца своих дней.

...Прошли годы с того холодного января, когда писателя, изнедавшего многие муки от болезней, семья и друзья проводили в последний путь. Но у меня он остался в памяти жизнерадостным, готовым к шутке собеседником, насмешливым в споре, с юношески здоровой реакцией на всё, что происходит вокруг. Не зря его считают своим в детской литературе.

*2010, 2021*

## ВАСИЛИЙ ОЗНОБИХИН

# Вдохновение и мужество

ПАМЯТИ НАДЕЖДЫ СТЕПАНОВНЫ ТЕНДИТНИК



*Н.С. Тендитник*

В молодые лета, общаясь с учёной и литературной братией, дружил я с даровитыми, что превосходили меня летами, в словах и деяниях коих слышались отзвуки горней мудрости, выстоялся дар, утихомирилось честолюбие, иным искусникам сжигающее душу в дьявольском полыме. К Валентину Григорьевичу Распутину относился с ученической кротостью, а с Алексеем Васильевичем Зверевым, Надеждой Степановной Тендитник связывала равноправная дружба, хотя я им в дети годился. Мы чаевали, толковали о русской литературе то в опрятной светёлке Надежды Степановны, то в хлебосольной гостиной Алексея Васильевича Зверева, рядом с чудными живописными пейзажами Анатолия Костовского, Владимира Кузьмина и Валерия Зверева, писательского сына. Намыкавшись по замыганым, крикливым

общагам, я умилялся и робел в зале Зверева, в профессорском кабинете Надежды Степановны, где в застеклённых старинных шкафах так величаво и приманчиво светились корешками сочинения русских классических писателей.

Когда я худо-бедно учился в иркутском университете на филфаке, Надежда Степановна уже давно читала советскую литературу XX века, но мне не довелось слушать ее лекции, а тем паче сдавать экзамены, — Бог миловал, как заверяли битые филологи: больно строга, дай Бог со второго, третьего захода трояк схлопотать. Впрочем, то, может, и студенческие мифы... Но, опять же, что греха таить, иные студенты-филологи, и тем более журналисты, протиравшие штаны на университетских лавках, лукаво помышляли, как бы эдак провести мягкодушного доцента вокруг пальца, толком не помня, как и величается его курс, накануне экзамена заполошно пролистав затрёпанный, замасленный учебник, на который в общаге водружалась сковородка с жареной картошкой. А уж перестроечные студенты...особо те, что учились платно... и пуще изошрялись в лукавстве.

После либерально-демократического, сокрушительного переворота в России, когда власть имущие с помощью безродной интеллигенции загнали русское национальное чувство и творчество в катакомбы, когда Надежда Степановна дочитывала свои последние лекции по современной русской литературе, перед её экзаменом хитромудрые студенты, случалось, заполошно гадали: ругать ли славянофила Распутина или хвалить? Потому что у другого филологического доцента надо было непременно костерить Распутина, а Евтушенку с Аксёновым хвалить. Распутина ругать за его «слепую» любовь к некому богоносному русскому народу



и России с её неким христианским мессианством, за его славянофильскую неприязнь к художественному буржуазному Западу, а уж «мировых писателей» хвалить за их цивилизованную широту взглядов. Вот и угадай бедолага студент, кого хвалить, кого на лопатки ложить.

\* \* \*

Наслышанный о Тендитнике в университетские свои лета, познакомился с Надеждой Степановной, когда филологический доцент уже слыла известным в России литературным критиком, о похвальном слове которой в журнале либо газете жадно мечтали даже матерые писатели, но видели лишь в честолюбивых грёзах. Сии грёзы и страстные мечты порой принимали трагикомические образы. На моих глазах даровитый, но одичавший от бесславия, измождённый поэт, похожий на ершистого подростка, зло требовал у Надежды Степановны, чтоб непременно написала про его стихи, но коль та не изъявила желания, в нервном припадке кинулся на критика, и благо, что подвернулся здоровый прозаик и на руках вынес бесноватого лирика из Дома литераторов. И такое бывало... Так что, за писательское счастье почиталось, если Надежда Степановна вдруг обратит на тебя благосклонный критический взор, которого о ту пору удостоились лишь Александр Вампилов, Валентин Распутин, и чуть позже Алексей Зверев.

То, что Надежда Степановна печатно хвалила вампиловское и распутинское творчество — ясно: мировая слава и горы книг, а вот с Алексеем Зверевым вышло сложнее — талантливый писатель, но, увы, мало известен даже в Сибири, не говоря уж о Москве. Хотя увидели белый свет в книгах повести «Рань», «Выздоровление», «Передышка», «Гарусный платок», «Лыковцы и лыковские гости», «Сашкина душа», «Залоги», «Жили-были учителя», а потом и роман «Ефимова держава», но интереса у критиков книги не породили. Недаром Валентин Распутин в предисловии к сборнику Алексея Зверева и побранил критику: «Критика наша, надо признать, довольно неповоротлива. Она как в святцы заглядывает в одни и те же имена, по которым и судит о состоянии всей литературы. Литература между тем и полнее и глубже, и при всей несвежести сравнения ее с айсбергом, оно, однако же, остается достаточно верным: то, что попадает в поле критического внимания, есть лишь малая часть действительной мощи нашей литературы. Там, в глубинах и на просторах России, многие и многие писатели чутко и верно улавливают происходящие в обществе духовные и нравственные движения и говорят о них с болью и верой, говорят честно и талантливо. И дело тут не в похвалах, которыми они обделены, а в том, чтобы высокую и чистую проповедь их книг знал и понимал наш так называемый большой читатель. Конечно, несправедливо, что Алексея Васильевича не знают очень хорошо, и что большая критика его замечает мало. Вот это несправедливо. Он достоин, конечно, чтобы его читали по всей стране и издавали по всей стране, чтобы правду, которую он говорит, впитывало большое количество читателей».

О сию пору Надежда Тендитник, приспустившись с вампиловско-распутинских вершин, в отличие от столичных критиков, спекулятивно пасущих лишь именитых, до них открытых, пишет похвальное слово о творчестве Алексея Зверева, а потом и о прочих прибайкальских писателях, чей художественный дар впечатлил критика.

\* \* \*

В мою же начальную пору, когда я прибывался к писательской братии с ранними повестями и рассказами, отношения мои с Надеждой Степановной, ласково говоря, не заладились: вместо одобрительного слова схлопотал я даже не трояк, как в студенчестве, а суровый нагоняй. Помню, за «круглым» писательским столом обсуждали мою повесть «Отхон», которая потом легла в основу романа «Поздний сын», изданного московским издательством «Современник». И вот Надежда Степановна на пару с писательницей Валентиной Сидоренко, с которой водила дружбу, в пух и прах выбрали мою разнесчастную повесть: дескать, я, не зная сибирской деревни, исказил, унизил образ сельского жителя — в повести мужики пьют горькую, да и горемычные бабёнки не отстают... Ныне думаю, жила в их обвинениях правота: хотя в деревне, где я родился и вырос, крепко пили, но жили и трезвенные, добрые трудяги, на коих испокон веку держалась Россия. Трудяг-то я и забыл изобразить... Но я смеаю о сем нынче, а тогда... тогда душа взбунтовала против двух «знатоков» деревенской жизни: «Ладно, я, по-вашему, не знаю сельских жителей, прожив в деревне двадцать лет от рождения, но откуда вы-то можете знать деревенский люд, если одна корневая горожанка, а другая выросла на иркутской окраине?!»

После «круглого стола» вышла в иркутской газете ещё и статья Надежды Степановны, где опять досталось мне по окаянной шее, и опять было до слез обидно, и пуще жгла неприязнь к безжалостному критику. За четверть писательского века я, как настырный графоман, посылал в журналы свои опусы, получал от ворот поворот, даже из журнала «Наш современник» получил дюжину суровых отповедей, в одной из которых журнальный редактор даже интересовались: мол, нет ли у меня кроме писательства другой, хоть завалышей профессиишки... О ту пору утешала лишь потешная мысль: Господь примет не по литературным публикациям...

Время калечит, время и лечит: все миновало, все забылось, но разве мог я, молодой и зелёный, узреть в миражной дали, что уплывут и растают годы, словно утренний туман, и мы с гневливым критиком будем дружно пить чай в её уютной светёлке, согласно толкуя о литературе, что Надежда Степановна даже удостоит мои повести и рассказы одобрительного слова в печати.

\* \* \*

Благодаря фанатичной, до самоотречения, азартной работоспособности Надежда Степановна Тендитник была фундаментально и глубоко образованна, что подтвердит любой, кому довелось или посчастливилось читать ее сочинения. Я же ведаю о сем не только из статей и общения, но и разбирая архив покойной, которого хватило бы на пару докторских диссертаций. В первый же день, когда мы с критиком Валентиной Андреевной Семеновой раскрыли шкафы и начали описывать бумаги, пришли в изумление, узрев сотни выписок из книг, журналов и газет, многие сотни подготовительных материалов для лекций, для научных и критических статей. Надежда Степановна была серьёзной и основательной в изучении, постижении русской литературы, но её просвещённость лишь обосновала, укрепила ее исконную любовь к родному русскому народу. А порой случалось иначе, о чем и скорбел Александр Пушкин:

*Ты просвещением свой разум осветил,  
Ты правды чистый лик увидел.  
И нежно чуждые народы возлюбил,  
И мудро свой возненавидел.*

Горький Пушкинский вывод подтвердил и Владимир Даль, великий знаток народного языка: «У нас, более чем где-нибудь, просвещение — такое, какое есть, — сделалось гонителем всего родного и народного». Я полагаю, от просвещённой беды, от образованщины, порождающей национальный, а с ним и духовно-нравственный нигилизм и цинизм, Надежду Степановну уберегла сама народная литература, в конце двадцатого века прозванная критиками «деревенской», коя ярко и талантливо слила воедино мудрое и украсное устное слово с классическим письменным.

\* \* \*

Нрав Надежды Степановны Тендитник вызрел не мёд, но суровая нетерпимость ко взглядам, отличным от мировоззрения откровенно русофильского, исходила не от дерзкого характера, но от идейной вдохновенности и национального мужества. Подобные нравы являлись в разные русские времена, и ярко выражались на трагическом переломе эпох; помянем православных русских иереев и архиереев, дьяконов, иноков, инокинь, обретших мученический венец от ленинских супостатов. Горячо верила Надежда Степановна в русский народ, и до сердечной боли переживала российские лихолетья, когда холопы мирового хама, повеличенные либералами, похитили власть в России и, ограбив, пихнули державу в пропасть. При сем с гениальным дьявольским психологизмом рассчитали, что лет через десять даже русский цвет устанет протестовать, смекнув, что протесты — пустое сотрясение воздуха, что если простеца десять лет величать свиньёй и кормить пойлом из корыта, то он и к сему привыкнет, и будет думать, что другой жизни и вовсе нет. Так и иные русские патриоты с годами обвыклись с колониальным бытованием, впали в хмельную апатию, либо, вспомнив слова поэта «и жить торопится, и чувствовать спешит», утонули в радостях земных. И осталось от горе-патриотов, лет десять назад за Святую Русь рвущих рубаху до пупа, одно лишь пустое фарисейство.

Но Надежда Степановна Тендитник до исхода не смирилась с засевающими зло на русской земле, и в письменном столе ждали часа черновые записи, что вызрели бы в сочинения, обличающие иноземную и здешнюю русофобию, утверждающие в читательских душах восхитительную, сострадательную любовь к родному русскому народу.

2003 год



ТАМАРА ДРАНИЦА

## Иркутский портрет

Равноудаленная от Запада и Востока, расположенная между северной тайгой и великими степями Евразии, Иркутская «провинция» занимает особое место среди других регионов Сибири. Формировавшаяся на протяжении трех столетий культурная среда Иркутска оказалась очень благоприятной для появления самобытных личностей, но и достаточно суровой в отношении их жизненных путей. В ее художественном пространстве динамично, но не конфликтно пересекаются разные стилевые и стилистические интересы, балансирующие иногда на грани реалистических и поставангардных концепций, но не выходящие в целом за пределы вечных ценностей классической эстетики.

Стабильная динамика художественной ситуации Иркутска, укорененная в исторических и культурных традициях с их здоровым и умеренным консерватизмом, имеет еще одну, может быть, главную причину — уникальную природу, напоенную созидательной энергетикой Байкала.

Освоение Сибири в XVII в. — это цивилизационный прорыв, сравнимый с Великими географическими открытиями. Изменение мироощущения русского человека, связанное с обживанием огромного пространства, обусловило своеобразие сибирской культуры, в основе которой преобладало жизнеутверждающее, оптимистическое начало православной традиции. XVIII в. в Иркутске — это продолжение истории сибирской иконы (так называемое «иркутское барокко»), написание парсун и робкие попытки изобразить реалистический облик человека.

В XIX в. коллективными усилиями прогрессивной интеллигенции, духовенства и просвещенного купечества Иркутск обрел статус культурно-просветительского центра Сибири. Портреты «сиятельных» особ, купцов, духовенства и простых горожан создавали невольные ссыльнопоселенцы — декабристы, путешествующие с дипломатическими миссиями столичные академики живописи и талантливые местные мастера, прошедшие прекрасную академическую школу: *П.И. Старцев* (1842–1903), *М.И. Песков* (1834–1864), *Н.И. Верхотуров* (1862–1942), а также самобытный самоучка — «купеческий портретист» *М.А. Васильев* (1784–1839).

Образ сибиряка как носителя особого типа русского национального характера во всем своеобразии его этнокультурного облика, совмещающего азиатские и чисто русские черты, нашел отражение в творчестве сибирских художников разных поколений. Случилось это, однако, далеко не сразу: сначала облик сибиряка фиксировался во всем своем типическом правдоподобии, и только много позднее — в первой трети XX в. — был запечатлен художниками как *образ*.

В 1927 г. на Первом Всесибирском съезде художников, проходившем на фоне Первой Всесибирской выставки, его главный теоретик, художник-педагог И.Л. Копылов объявил о рождении «сибирского стиля» в советском изобразительном искусстве:

«Сибирь даст в будущем и Венеции, и Флоренции, и Мюнхены, — Сибирь для развития большого искусства я считаю самым удачным местом в СССР». Однако «сибирский стиль» не стал явлением коллективным. Как отмечала иркутская газета «Власть труда»: «Настоящая, подлинная душа еще не вскрыта нашими художниками, есть пока только сибирский материал, с которым многие... обращаются бережно и умело». Между тем «сибирский стиль» уже существовал... В горячих дискуссиях о его задачах и путях развития никто из художников не обратил внимания, что экспрессивный неоклассический стиль *Николая Андреевича Андреева* (1889–1938) и есть выражение идейно-эстетических идеалов нового сибирского искусства.

Во внешне и психологически достоверных образах чалдонов и аборигенов Сибири Н.А. Андреев выразил глубинные основы человеческого бытования в сложном переплетении его родовых, природных, социальных связей. Торжественно ясный и одновременно тревожный строй живописных повествований художника имеет смысловую и эмоциональную многосложность: на размышления художника о вечном времени и краткости человеческой жизни, о вселенской красоте природы и прозе каждодневных людских будней наслаивается ностальгия по обетованной земле и недостижимой гармонии.

Искусство *Алексея Петровича Жибинова* (1905–1955) не лишено противоречий и напряженных внутренних конфликтов. Художник пробовал себя в символизме, обращался к «синтетическому реализму» Павла Филонова, а в поздний период — к реалистической традиции. Его светлые мечты о возможном счастье разбивались о горькие разочарования в действительном мироустройстве. Только, пожалуй, в редких по исповедальной силе автопортретах художник обретал искомое равновесие между возвышенным идеалом и драматическими реалиями времени.

В конце 1950-х гг. на необъятные сибирские просторы «за туманом и за запахом тайги» хлынул широкий поток строителей новой социалистической Сибири. Вслед за ними в неведомые, почти экзотические края устремились творческие бригады «суровых» романтиков в искусстве. То, чем занимались местные художники, столичной, авангардно настроенной молодежи казалось слишком традиционным и провинциальным. Между тем иркутских мастеров привлекала не внешняя новизна трактовок, а новизна внутренних мироощущений современников. Избегая пафосности, они писали свои русские характеры, обыкновенные в повседневной жизни и замечательные в моменты редкого душевного самораскрытия.

Военное лихолетье, полугодное студенческое время, обманчивые свободы оттепели, тихая рутина застоя сформировали особый жизнестойкий и жизнелюбивый тип художника: личность нравственно здоровую, открытую миру, ответственную за свое предназначение и ремесло. Именно в 1950–1980-е гг. появились самые светлые, искренние, человечные портретные образы современников.

Когда выпускник Харьковского художественного института А.И. Вычужанин (1929–1984) вместе с однокурсниками А.И. Алексеевым (род. 1929) и Г.В. Богдановым (1926–1991) приехали в Иркутск, здесь уже существовала своя художественная традиция и начинали свой творческий путь замечательные мастера портрета В.В. Тетенькин, А.Г. Костовский, А.Ф. Рубцов и другие.

На иркутской почве раскрылся яркий самобытный талант портретиста *Аркадия Ивановича Вычужанина*. Он был философом и мудрецом, человеком немногословным и скупым на внешние проявления эмоций. Так же сдержанны и

благородны, исполнены чувства собственного достоинства образы творческой интеллигенции и простых тружеников в его портретах. Для Вычугжанина, внимательного и тонкого психолога, не существовало внутренних тайников личности. Его камерные, лаконичные по исполнению портреты («Автопортрет») или развернутые в пространстве портретные композиции («Портрет скульптора Ряшенцева») исполнены искренней веры в нравственное, созидательное предназначение человека.

В магических пространствах портретов *Владимира Владимировича Тетенькина* (1929–2009), словно сотканных из чарующих вибраций и нюансов цвета, легко, свободно, естественно пребывают скромные и обаятельные женщины, умудренные жизнью художники и простые деревенские жители, чистые в своей душевной открытости («Студентка»). Во внутреннем мире его моделей есть некий отзвук живой природы, поскольку В.В. Тетенькин, как и другие иркутские мастера, был великолепным пейзажистом, понимающим, что природа не только гармонизирует внутренний мир личности, но и обостряет ее реакцию на духовно-нравственный климат общества.

В портретных образах *Анатолия Георгиевича Костовского* (1928–2018), пожалуй, самого сибирского по духу мастера, как бы сконцентрирована духовная энергетика его героев, их витальная, природная сила, мужественное приятие жизни, неизбывная вера в творческое предназначение человека («Портрет художника Леви»). Гибкий, выразительный пластический язык художника, почти избыточный по богатству цветовой палитры, всегда подчинен портретной ситуации, каждый раз новой и неожиданной.

В портретах *Галины Евгеньевны Новиковой* (1940–2000) как бы соединились два времени: советское, в котором сформировался духовный облик художника, и настоящее, остро предчувствующее драматические катаклизмы техногенной цивилизации. Пронзительно, глубоко воспринятая чужая жизнь или драматические изломы собственной судьбы словно бы не изображаются, а впрессовываются в жестковато-прочную, вибрирующую под напором образной информации форму ее портретов и автопортретов. Рационально-прагматическое, отчужденное существование человека в мире Г. Новикова не приняла, предпочитая добровольный уход в спасительный мир метафоры или «бездеятельное» творческое созерцание жизни («Автопортрет с бабушкой», «Портрет артиста М. Ульянова»).

Г. Новикова была соавтором одного из самых драматических сюжетов иркутской истории изобразительного искусства рубежа XX–XXI вв. и невольным свидетелем преждевременного завершения творческих биографий тогда еще молодых прижизненных классиков Сергея Коренева, Бориса Десяткина и Юрия Митькина.

«Потерянное поколение» художников не стало поколением нигилистов и ниспровергателей. В их коротком творческом времени царил культ учителей и духовных наставников. Интеллектуально-метафорические (С. Коренев), субъективно-романтические (Б. Десяткин, Н. Вершинин), лирико-психологические (Д. Лысяков, Ю. Карнаухов) портретные концепции возникали в недрах «старого» реалистического метода, обретавшего в потоке времени новые неожиданные черты и свойства.

Остро чувствуя неровный, болезненный пульс своего времени, *Сергей Ананьевич Коренев* (1953–1999) созерцал человеческие судьбы из своего сокровенного поэтического далека. Случайный осколок Серебряного века, эстет и поклонник изящного стиля, он писал портреты, поражающие странным сочетанием пронзи-

тельного обаяния, душевной чистоты и нездешней задумчивой печали. Свободный и одинокий, художник наполнял свои портретные элегии «горьким, пьянящим вкусом жизни» (Ш. Бодлер).

Если в этом рубежном времени С. Коренев был случайным «очарованным странником», то его соратники Б. Десяткин и Н. Вершинин оказались бунтарями и живописными экстремистами.

Мироощущение *Бориса Васильевича Десяткина* (1948–1996) было фаталистическим. Обратные стороны его напряженных по цветовой палитре портретов содержали странные комментарии: «Все, конец, я победил». Б. Десяткин пытался расшифровать сакральный рисунок собственной личности, чтобы через напряженное самопознание понять и принять другого человека. Портреты Б. Десяткина сравнимы с театральными постановками, в которых каждый персонаж играет предначертанную ему роль: смешную, нелепую, трагическую. В его портретных пророчествах угадывались неясные контуры будущего, лишённого эсхатологического исхода.

Подобно Б. Десяткину, *Николай Николаевич Вершинин* (1957–2007) был творчески одержимым живописцем. Его портретные образы часто перерастали в бессюжетные повествования и почти не подлежали внятному пересказу. Жизненные пути его мятущихся, снедаемых сильными и возвышенными страстями героев словно были предначертаны свыше: не случайно событийное пространство его портретов было насыщено сакральной символикой (пламя свечи, луна, икона, палитра) и астрологическими знаками.

Портретная живопись нового поколения художников, следуя закону вечного возвращения, вновь обретает спокойный и сосредоточенный психологизм, свободный от конфликтов и борьбы противоположностей. На фоне отвлеченно-рациональных потоков современного поставангарда *Юрий Карнаухов* (род. 1957) и *Дмитрий Лысяков* (род. 1967) останавливают свой сознательный выбор на невыдаваемых традициях портретного реализма. «В искусстве ценю... искренность, а не оригинальность. С этих позиций я и выстраиваю свой диалог с окружающим миром» (Д. Лысяков). Ему вторит Ю. Карнаухов: «Общество вернется к одухотворенному великому искусству... Только реалистическое искусство имеет широкий диапазон и жизненную силу».

Таковы самые характерные признаки и узловыe моменты эволюции иркутского живописного портрета. Время, в котором существует и творит художник, находится в непростых отношениях со временем художественного образа. Творческое сознание, воля и интуиция художника позволяют видеть человека не только «здесь и сейчас», но и «над временем» — в контексте выработанных культурной традицией идеалов, моральных норм и философско-эстетических категорий.

<http://сибирскиеогни.рф/content/irkutskiy-portret>

На страницах обложки и вклейки репродукции портретов из фондов Иркутского художественного музея и архива издателя Мурзина С.Н.

# Сумочка к ребру



СТЕПАН ПРАВДОРУБСКИЙ

## Пародии

### Плывет улыбка, веслами гремя

*Плывет улыбка тихо по лицу.  
Загадку вечную несет она к венцу.  
И нимфы, как прекрасный ореол,  
Витают, словно мир любви пришел.*

Валерий Махонин

Плывет улыбка, веслами гремя.  
Что делать ей меж лицами двумя.  
К кому пристать. Приклеиться навек.  
Чтоб знали все — улыбчив человек.

А нимфы держат нимб, или ворота,  
Чтоб видели — улыбка большерота.  
Витают все, кружатся и плывут.  
И видится: поэзии капут!

### Упали косы

*Упали косы на мою печаль.  
Твой взор укрыт бездонной глубиной.  
Ту синюю бессмысленную даль,  
Куда несु прошедшее со мной.*

Валерий Махонин

Я отнесу и выброшу на свалку:  
Карандаши, и ручку, и стиралку.  
Потом твой взор я упакую в чемодан.  
И с косами все брошу в океан.

А в синюю бессмысленную даль  
Отправлю, просто так, свою печаль.  
Писать не буду я печальные стихи.  
К моей печали отчего-то все глухи.



## Звезда предрассветная

*На серебряном небе узоры.  
Я хочу обвенчаться с луной.  
И в веселых, волнующих взорах  
Мне мечтается только с тобой.*

Валерий Махонин

Мой взор, ну просто, как забор.  
Куда ни гляну — все узор.  
Узор на печке, на стене.  
Узор в небесной вышине.

В узорах дорогих луна.  
Она на радость мне дана.  
Пора! Венчаюсь я с Луной!  
Прекрасной, милой дорогой.

Она Луна. Я буду Лун.  
Она плывет и я плывун.  
В веселых взорах мы воспеты.  
А как еще? Ведь мы — поэты!

## ВЛАДИМИР СКИФ

### Приключения с паляницей<sup>1</sup>

*...С доброй ношей — паляницей,  
что не тяжела в пути...*

*...Мы остались деньков бы на пару,  
отогрелись, насев на харчи,  
но боялись тепла самовара  
и седыбы у болтливой печи.*

Александр Лекомцев

Мы итить не боялись по тайгам,  
не страшились далёкой итьбы.  
Мы ишли весело, не впотайку,  
и дошли бы, не звери кабы.

Мы ишли и зверьё не замали,  
на загорбках влачили харчи,  
токо звери нас зараз пымали  
и во хлябь зачали волокчи.

Я пытался схрумтеть паляницу,  
чтоб её не схрумтели оне,  
но не мог разламить хлебовицу:  
волокченье мешало мине.

Звери схавали нас в заковылье,  
несмотря ни на чью худобу,  
облизнулись и весело взвыли,  
потому что любили едьбу.

<sup>1</sup>Паляница — (укр. паляниця) — украинский хлеб из пшеничной муки, по форме — приплюснутый, округлый, как правило, с характерным «козырьком» из корки сверху, образованным благодаря надрезу перед выпечкой.

## АЛЕКСАНДР ЛЕКОМЦЕВ

### Собачья тоска

*Брожу один в районе Быково<sup>2</sup>  
По умирающим цветам,  
Где пёс с глазами полудикими  
За мною ходит по пятам...*

Владимир Скиф

Вот морда пса с глазами дикими,  
Мне от него спасенья нет.  
Сожрёт меня в районе Быково  
И не посмотрит, что — поэт.

У Блока — скифы приспособлены  
К его стихам, их: «Тьмы и тьмы...»  
А я — особый, я — особенный,  
Поскольку с ним — поэты мы.

А, впрочем, он с глазами кролика...  
Хозяйку ищет при луне.  
(У Блока глубока символика,  
Но нынче истина — во мне).

Я всё брожу. Уж много пройдено.  
В районе Быково брожу.  
И на себя пишу пародии...  
Одни пародии пишу.

## АНАТОЛИЙ ЗМИЕВСКИЙ

### Дружеское посвящение Владимиру Скифу

Скиф-Смирнов — поэт изрядный,  
*с ним лишь я могу тягаться.*  
Слогом скифовским нарядным  
можно только восторгаться.

Как поэт он бесподобен,  
бесподобен как мужчина.

О земном сказать страданье  
так умеет этот автор,  
что раскалывает камни  
мощь космических метафор!

Верный раб любви, Владимир  
мил до слёз, когда саранки  
нежно-нежно шепчет имя  
иль зарю впрягает в санки.

Он в стихах — не лжив, не злобен —  
зла и лжи видал пучину!

В честь его пусть примет пенье  
Вовка Скиф от Тольки Змея!  
Я не льщу... В стихосложенье  
*он силён, но я сильнее.*

### Предполагаемый ответ Владимира Скифа. Тоже дружеский

Посвященье твоё, Анатолий,  
к сожаленью, включает и бредни.  
Ты не справился (пьяный был, что ли?)  
*со второю строкой и с последней.*

---

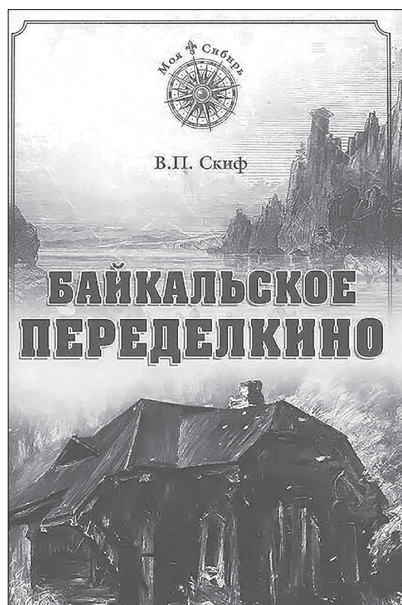
<sup>2</sup>Быково — деревня на берегу Братского водохранилища.



ИГОРЬ ШУМЕЙКО

## Писатели байкальского побережья

В.П.Скиф. Байкальское Переделкино. — М. : Издательство «Вече», 2015



То, что автор оставил заглавие книги «Байкальское Переделкино» (издатели советовали другое), если вдуматься, хороший знак. Рассказ — о маленьком уголке на берегу Байкала, уникальной концентрации домов, дач, жизней многих талантливых писателей, художников, издателей, реставраторов. И что первый его летописец, поэт Владимир Скиф оставил «Переделкино» — свидетельство: в провинции, в России сей бренд еще ассоциируется с собранием талантов, гениев — а не со спорами собственников, «хозяйствующих субъектов», деливших переделкинские дачи, словно алюминиевые комбинаты, ликеро-водочные заводы в «лихие 90-е»...

Это место, где «от отца-Байкала единственная дочь-Ангара убегает к Енисею», первым из русских писателей отметил еще Чехов: «Прогулка по Байкалу вышла чудная, во веки веков

не забуду». Кстати, в знаменитое путешествие, завершившееся книгой «Остров Сахалин», Чехов почти уговорил поехать и друга Левитана, предчувствуя красоты, которые мог запечатлеть великий художник. В самый последний день Левитан отказался, сославшись на нездоровье... Да что мне-то пересказывать! Сам Чехов в письме скажет куда изящнее: «Байкал удивителен, недаром сибиряки величают его не озером, а морем... Вообще говоря, от Байкала начинается сибирская поэзия, до Байкала была проза... Скотина Левитан, что не поехал со мной».

Через 7-8 лет именно здесь оказался центр и самое сложное место великого Транссиба. Бросив Петербург, на здешние станции от Листвянки до Байкала на несколько лет переехал министр путей сообщения империи князь Хилков. Невероятный труд, порой гениальные экспромты... пока Кругобайкалка, одна из сложнейших на Земле трасс, пробиваясь туннелями, обходила Байкал с юга, а Русско-японская война уже грянула, — придумали положить рельсы прямо на байкальский лёд. Владимир Набоков в «Других берегах» вспоминал, как фотооткрытки с поездами, идущими по льду, воспринимались в Европе, — просто как рисунки-«фэнтэзи». О той войне сказано много горького, но ни железнодорожники, ни байкальский лёд не подвели.

От истока Ангары на юг, где горные цепи одна за одной подбегают вплотную, прямо ныряют в Байкал, здесь Антон Павлович Чехов, подобно царю Петру, ука-

зал «отсель поэзия Сибири...», без какого-либо «Постановления» стихийно собрались дома, дачи, судьбы. Вампилов, Распутин, Бородин, Глеб Пакулов... еще немало славных имен и поэт-летописец Владимир Скиф.

Валентин Распутин в 1970-х купил на станции «Байкал» бревенчатый дом. Через много лет он приобрёл на Ангаре другой, байкальский подарил родственнику Володе Скифу. Их жены Светлана и Евгения — дочери известного сибирского общественного деятеля и поэта Ивана Молчанова.

На противоположном от порта Байкал берегу — белый знак-обелиск. Точное место, где погиб «советский Чехов», Александр Вампилов. Кроме всего в книге и точная реконструкция этой трагедии: прекрасный спортсмен, футболист Вампилов не утонул, дотянул, коснулся берега, но долгого шока ледяной воды не выдержало сердце. А на юг по Кругобайкалке (старая железная дорога вдоль самого среза озера, порой и над ним) — посёлок Маритуй, где в семье учителей рос Леонид Бородин.

Но рассказы Скифа о старожилах и гостях «Байкальского Переделкина» никак не вмещаются в популярный жанр «байки из ЦДЛ», слишком много поэзии, природы, *настоящего*...

— Как-то в середине сентября мы с Валею (*Распутиным* — *И.Ш.*) копали картошку, а Носырев (*лесник*) с женой Натальей причалили у самого нашего дома и позвали нас за брусникой. Мы собрались, взяли горбовики, сели в лодку, и Носырев, что есть духу, рванул в открытое море. Через полчаса пути поднялся страшный ветер, начался шторм. Байкал опасен своей непредсказуемостью, неожиданностью. Вокруг нас заходили громадные, величиной с двухэтажный дом волны. Лодка ухнула в бездну, взлетела на гребень, на лице у Носырева не дрогнул ни один мускул. Мы взлетали наверх, с обмирающим сердцем катились вниз, казалось — на дно Байкала. Я потерял дар речи и молча вцепился в борт лодки, Валя тоже молчал, а Наташа закричала:

— Виктор! Что делаешь? Думай, кого везёшь! Ну-ка, прижимайся к берегу!

Носырев будто не слышал, продолжая разрезать гребни волн. Тут уж и Валя не выдержал:

— Витя, давай к берегу! Там, если перевернёмся, может, выплывем.

Носырев выбрал пологое место, лихо причалил среди шумного прибоя. Мы выбрались из лодки бледные, с дрожащими от напряжения ногами, и молча сели на крупные прибрежные булыги. Носырев бодро возвестил:

— Извините, ребята! Я штурман опытный, не надо было волноваться. А теперь за брусникой.

Байкал бушевал часов пять. За это время мы набрали отборной спелой, чёрно-красной ягоды и без новых приключений вернулись в родную гавань. Теперь ни в чью лодку не сажусь. А Виктор Носырев ведь так и погиб в Байкале. В девятых годах его затёрло вместе с лодкой весенним, взбесившимся байкальским льдом(...)

Всерьез — мгновенный шторм и, далее — рысь, не «красивая киска» из фэйсбука на 800 лайков, а реальная смертельная опасность. Занятная двойная смена стихий<sup>1</sup>. Сухопутное приключение В. Скиф отражает... надеюсь и вы удивитесь:

---

<sup>1</sup>Как добросовестный рецензент, должен предупредить читателя: почти половина страниц книги — «столбцы» (так Заболоцкий стихи называл).

## Лесник

Леснику сказал я: — Виктор!  
Вот опять ты глушишь спирт.  
А в кордоне, у развилки,  
Странно дерево скрипит.

Не прошло и получаса,  
Как явился мой лесник...  
Кобелишко зачесался,  
Взлаял, хрипнул и поник...

Дело, кажется, не в ветре.  
Ветра нет. Природа спит.  
А на пятом километре  
Страшно дерево скрипит.

Поводя недобрым оком,  
Осадил соловый рысь.  
Притороченная сбоку,  
У седла болталась рысь.

Мне лесник ответил: — Ладно.  
Взял солового коня,  
Карабин шестизарядный  
И умчался от меня.

Мне лесник сказал: — Над кручей  
Рысь гнездо себе свила  
И на дереве скрипучем  
Зазевавшихся ждала.

Осень длинная висела  
На берёзах, листьяках.  
Отчим домом пахло сено,  
Кобелишко спал в ногах.

И за вами тоже кралась,  
Чтоб кого-нибудь схватить.  
Ну, а дерево старалось  
Глупых вас — предупредить(...)

Это мог написать Дерсу Узала, если б подучился у Арсеньева в походе грамоте маленько.

Это мог написать Эдагар По, если б бросил пить и приехал на Байкал в гости к Распутину.

Владимиру Скифу надо побыстрее объяснить, нам — узнать: в чем там дело? Отчего страшный скрип? А что рассказ вдруг оказался ритмичный, рифмованный, да еще как! — неожиданность. Равно и Эдгару важно было рассказать о той Аннабель Ли, он может и не заметил, продолжает ли свои новеллы — или уже... самое звучное в мировой поэзии стихотворение.

Ведь и так было б интересно? — Да. Так зачем еще рифма, ритм?

Эта полнейшая беспричинность, абсолютная бесполезность и есть — *пена морская*, из которой рождается и далее... (см. *древ. греч. мифолог.*). Красота, поэзия книги Скифа своей избыточностью поверх и без того занятных рассказов напоминают тот же Байкал. Четверть мировой питьевой воды, объективно говоря: ресурс, из числа важнейших в XXI веке. Но еще и красота!

Но «Переделкины», дабы утвердиться в истории литературы, должны славиться не только счастливыми «резидентами», но и гостями, встречами их. Процессом. Гости, славное собрание имен: Евгений Носов, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Мария Аввакумова, Татьяна Бек... Случаи с ними, разговоры, «дней минувших анекдоты».

— Весной, приезжая на Байкал, мы копаемся в огороде, доме, стараясь поскорее придать жилой вид нашему байкальскому пристанищу. Как-то в середине девяностых в начале мая я, как всегда, переехал на пароме в порт Байкал и направился к дому. Идти от причала менее километра. Подхожу, вижу группу ликующих

людей, разливающих по бокалам шампанское, кричащих «ура!». Иду мимо них, чтобы открыть калитку, и вдруг меня кто-то из них спрашивает:

— Вы Распутин?

— Нет, не Распутин.

— Жалко. Нам деревенские сказали, что это его дом.

— Да, это был его дом, а теперь мой.

— А это правда, что он здесь жил и писал свои книги?

— Правда.

Они снова закричали «ура!»

— А мы из Питера. Выпейте с нами шампанского и давайте сфотографируемся.

— Но я же не Распутин.

— А кто вы?

— Родственник.

— Родственник...

И снова туристы грохнули «ура!».

Сию простую, правдивую историю Скиф рассказывал не раз, в том числе и автору этих строк. Про себя я тогда отметил интересную деталь: читатели не знали Распутина в лицо. Валентин Григорьевич мимоходом словно доказал некую теорему: можно «царить» в сознании поколения и не мелькая на ТВ!

Некоторые слушатели спешили украсить этой историей и свои мемуары, так что Владимиру, впервые добравшемуся до собственного рассказа, пришлось восстанавливать «исходник»:

— *Сергей Есин в книге «На рубеже веков. Дневник ректора», описывая это, сбивается:*

*Прозаики отыгрывались байками. Самые занятные о Распутине. Вокруг него уже создаётся прижизненный миф. Есть изба на Байкале, где он написал «Живи и помни». Потом эту избу вроде бы перекупил иркутский же поэт Владимир Петрович Скиф. Так вот, подходит раз В.П. к избе, а возле неё стоят туристы и пьют из бутылки шампанское...*

*Так вот, Сергей Николаевич, уточню: дом был не куплен у Распутина, а подарен им нашей семье. Остальное — правда.*

Кто-то печатно сожалел, что Скиф «перестроил тот флигель, где создавалась повесть "Прощание с Матёрой"». Владимир возражает доброжелательно. Что ж, «ревность о Памяти» можно понять, лишь бы это не оставалось на «внешнем круге внимания», а... как у тех «ходовиков у Распутина», кстати, ленинградских учителей, что жили с его книгами, не видев автора.

Летописец Скиф дотошен, воспроизводя реплики, подписи на книгах. Иркутянин Скиф старается как можно подробнее рассказать о духовной жизни края: на страницах не только земляки писатель Валерий Хайрюзов, поэт Василий Забелло, но и художники, артисты, издатели. Скиф-поэт щедро делится своими страницами, приводя вереницу стихов героев своих воспоминаний, начиная с Марии Аввакумовой. Скиф-супруг сдержанно-душевно рассказывает о своей Евгении Молчановой. Скиф — «новый Пришвин» — не устает любоваться сам и поражать читателя:

«В дни перестройки на Байкале, на острове Ольхон появились дикие кони. В тяжелый час от бескормицы, невостробованности их просто выгнали, или сами

они ушли в дикое ольхонское пространство. Паслись летом, зимой, благо на Ольхоне снег небольшой. Копытили его, добывая траву. У одной кобылицы родился ярко-гнедой жеребенок. Рос, превратился в великолепного коня. Рос и табун, Гнедой стал вожакom. Лет через десять табун стали отстреливать охотники. Конину в Сибири любят. Но необыкновенное чутье Гнедого часто спасает табун, ставший героем рассказов, стихотворений».

О, Байкал, еще и мустанги на твоих берегах!

## С ней дружат Байкал и Отечество

Предисловие к книге Тамары Бусаргиной  
«Их песни допоют байкальские метели...»



Тамара Георгиевна Бусаргина... Коренным иркутянам это имя о многом говорит: жена выдающегося русского писателя Глеба Пакулова, автора знаменитого романа «Гарь» о судьбе и жизни непокорного протопопа Аввакума, замечательный искусствовед, писатель, драматург. Автор многих статей и воспоминаний о сибирских писателях и художниках.

Её жизнь изначально была связана с культурой, искусством, творческими людьми Сибири. Встретившись в начале продолжительного жизненного пути с Глебом Пакуловым, она не расставалась с ним до самой его кончины в 2011 году. Автор чрезвычайно ярких произведений в стихах и прозе — Глеб Пакулов оставил значительное по высокому писательскому уровню литературное наследие: поэтические книги «Славяне», «То знак мне был...»,

глубокий исторический роман «Гарь», захватывающий историко-приключенческий роман «Варвары» о наших предках скифах, повесть «Ведьмин ключ», интерпретированную в книгу и кинофильм «Беглецы» с Елизаветой Боярской в главной роли, и другие повести — «Глубинка», «Останцы», детские произведения «Горнист Чапая», «Витязи Светлогора». «Сказка про девочку Лею, короля Граба и великана Добрушу».

Бусаргина Тамара Георгиевна родилась в Иркутске. Окончила Иркутский государственный университет и факультет теории и истории искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Защитилась и стала кандидатом искусствоведения. И, конечно же, автором более сорока работ по истории искусства Сибири, детскому художественному творчеству. Но главное, что ей была уготована судьба быть и жить рядом с удивительным русским писателем Глебом Пакуловым.

Не зря роман «Гарь» вышел в свет с оригинальным, сердечным посвящением: *«Бусаргиной Тамаре Георгиевне — жене и другу — надёжному посошку моему в странствиях по стёжкам-дорожкам Отечества Русского»*. Это не только посвящение, но ещё и оценка всей жизни друга и жены, несомненно оказавшейся для писателя Пакулова истинным подвижником, его первым читателем и критиком, а впоследствии автором предисловий и послесловий к его книгам, изданным в Иркутске, Новосибирске, Москве.

А теперь уже ставшей настоящим сибирским писателем, написавшей книгу воспоминаний о былом, о неповторимой иркутской жизни 60-70-80-х годов прошлого столетия. Ну, вот — выскочили слова «прошлого столетия», и я подумал: а ведь никто из ушедших и ныне живущих писателей, кажется, не подозревал о



своём будущем, о тех временах, когда кто-то будет вспоминать, наверное, самое продуктивное для писателей время и размышлять над их творчеством. Стали появляться книги воспоминаний, стали оживать почти полузабытые страницы той, укатившейся в необозримую даль жизни. Видимо, чувствуя приближение нынешних парадоксальных времён, издательство «Вече» стало выпускать серию книг «Моя Сибирь», где рождаются сборники воспоминаний, размышлений, публицистики, которые будут охватывать прежние достойные для осмысления времена: Игорь Шумейко «Ближний Дальний Восток», Владимир Скиф «Байкальское Переделкино», Анатолий Байбородин «Сокровища Сибири», «Слово о роде и народе», Валерий Хайрюзов «Мы же русские!», Валентина Семёнова «Под небом родным и тревожным».

И, конечно же, в этом ряду одной из неожиданно-ярких и запоминающихся будет книга Тамары Бусаргиной «Их песни допоят байкальские метели», куда войдут её лучшие очерки и воспоминания о писателях: Александре Вампилове, Владимире Гуркине, Глебе Пакулове, Валентине Распутине, Олеге Слободчикове; художниках: Анатолии Костовском, Владимире Кузьмине, Андрее Рубцове, Елене Павловой; скульпторе Льве Серикове; чеканщике Евгении Богомоллове; фотохудожнике Сергее Переносенко; искусствоведе Тамаре Дранице.

А культурная и литературная жизнь Иркутска семидесятых-восьмидесятых годов была стремительной, талантливой, сумасшедшей. Рождались лучшие не только в Сибири, но и в стране произведения, выходили на всесоюзную арену такие писатели, которые потом станут непревзойдённой до сего дня славой России. Это, прежде всего, великий русский писатель Валентин Распутин, неповторимый и бешено талантливый Глеб Пакулов, выдающиеся драматурги Александр Вампилов и Владимир Гуркин, большие русские поэты Светлана Кузнецова, Анатолий Горбунов, Михаил Трофимов, Татьяна Суворцева, Анатолий Змиевский, мощный поэт и энциклопедист Геннадий Гайда.

Все мы в то время были молодые и бесшабашные, знавшие, что жизнь впереди бесконечна и воистину прекрасна! В моей начальной творческой жизни оказалась притягательно-магнитной семейная пара Пакуловых — Глеб и Тамара. Тем более в определённый период жизни мы пересеклись на байкальских высотах, причалах, катерах и лодках, в распадах, ручьях и таёжных перекрёстках, где распускала своё перо черемша, багровела почти в гранатовых россыпях брусника, кричали из травы белые грибы и подосиновики.

Там, на Байкале, Глеб с Тамарой жили почти в купеческом, как в дореволюционной России, доме, похожем на поместье. Кто только не бывал в их байкальском гнёздышке — писатели Виктор Астафьев, Евгений Носов, Валентин Распутин, Александр Вампилов, Геннадий Машкин, Евгений Суворов, московский поэт Владимир Соколов, бард Валерий (Алик) Стуков, давший Вампилову в пьесе «Утиная охота» метафору «Алик».

#### **Алик в пьесе «Утиная охота»:**

Вера говорит Зилову: «Ты Алик из Аликов!» (*алик — имя нарицательное, синоним — алкаш — В.С.*)

Я в своей книге «Байкальское Переделкино» рассказал о Распутине и Вампилове, Викторе Астафьеве и Леониде Бородине, Глебе Пакулове и Алике Стукове. А в этом предисловии мне, наверно, будет дозволительно рассказать о самых близких и сердечных друзьях — Глебе и Тамаре Пакуловых.

В их доме я всегда находил радость и взаимопонимание, читал новые стихи,

впервые читал свой венок сонетов «Родина», перевод «Слова о полку Игореве» и получал дельные замечания, и даже сделал несколько поправок, подсказанных Глебом. Вот, например, как эта:

*«Как гробы раззявлены колчаны,  
Стрелы — заострённые мечи...»*

После одной из очередных встреч в 2016 году у меня родились стихи, посвящённые Тамаре Георгиевне Бусаргиной:

*Премудрости жизни не выучишь разом,  
Не выстоишь воином в поле святом...  
Когда вдруг заиятятся сердце и разум,  
Охота прийти в твой обласканный дом.*

*Князь Игорь вбегал Аввакуму на смену,  
Забыв, что он половца бил на скаку...  
Глазами Кончак пробуравливал стену,  
Как только я «Слово» читал «о полку».*

*Я читал твои встречи, слова, разговоры,  
Ты чуяла сердцем дыханье стихов.  
В России валились дома и заборы,  
И тлела деревня среди угольков.*

*Я знанья свои в вашем доме упрочил,  
Когда святорусскому слову внимал,  
Я в вашей семье обретал средоточье,  
И веру, и правду, и честь принимал.*

*Грома затихали, а войны гремели,  
Былое в веках уставало от дум...  
А помнишь, как с Глебом вы слушать умели,  
И рядом сидел протопоп Аввакум.*

*...И мне никогда не забыть в этом доме,  
Как свет и любовь полыхали в крови,  
Где жил Аввакум в чёрно-бархатном томе...  
И мне не избыть благодарной любви!*

Известные русские журналы «Сибирь» (Иркутск) и «Сибирские огни» (Новосибирск) с великим удовольствием печатают статьи и очерки Тамары.

Бывало, не отказывал ей в публикациях и Станислав Куняев.

Во многих замечательных материалах мы можем прочесть всё то самое дорогое и близкое, что связывало нас с теперь уже навсегда уходящим прошлым. Какие характеры! Какие таланты произрастали в Иркутске. И Тамара Георгиевна — замечательный свидетель и участник тех событий и той жизни — возродила в своих воспоминаниях широкое полотно времён, воистину непохожих на нынешнее время. Она увидела и сохранила в памяти живое средоточие литературного Иркутска середины и конца прошлого века.

Невозможно читать без сердечной боли очерк о последних днях жизни Александра Вампилова. Такой неизбывной потерей веет от трагических байкальских страниц, связанных с Сашиной гибелью и утратой фактически только-только взлетевшего над театральными подмостками сибирского драматурга и прозвучавшего не только в ленинградском БДТ, но и в других театрах Советского Союза.

Статьи и очерки о сибирских художниках давно и прочно вошли в сознание сибиряков, и Тамара Георгиевна, наконец-то, собрала их в единое целое, в книгу, которая займёт достойное место среди писательского и читательского мира Иркутска. Думается, что её пьесы будут прочитаны и восприняты как неотъемлемая часть её творчества. И, даст Бог, они будут поставлены в иркутских театрах, чтобы мы могли воскликнуть:

— С премьерой, Тамара Георгиевна! И, конечно, с премьерой этой книги!

## Книжная полка



**Бусаргина, Т.Г.**

**«Их песни допюют байкальские метели» / Т.Г. Бусаргина. — М.: Вече, 2021. — 448 с. — (Моя Сибирь).**

В издательстве «Вече» вышла книга воспоминаний и очерков Тамары Георгиевны Бусаргиной, кандидата искусствоведения, вдовы известного сибирского писателя Глеба Пакулова. Книга содержит воспоминания об Александре Вампилове, с которым она тесно общалась в последние годы жизни драматурга, была свидетелем байкальской трагедии. Более сорока лет была знакома с незабываемым Валентином Распутиным. Друзьями семьи Пакуловых были Геннадий Машкин, Ростислав Филиппов, Владимир Скиф, Анатолий Байбородин и др.

Воспоминания и очерки Т.Г. Бусаргиной

живо и образно передают особенности времени «творческого запоя шестидесятых», навсегда, видимо, потерянного времени надежд, романтических устремлений, писательского братства.

**Байбородин, А.Г.**

**Боже мой... : роман / Анатолий Байбородин. — М. : Вече, 2021. — 368 с. — (Сибиряда).**

Анатолий Байбородин — известный иркутский писатель, лауреат премии им. В.Г. Распутина. Им немало написано, немало напечатано — и в Сибири, где он живёт, и в Москве, и за дальними рубежами России. В романе «Боже мой», начинавшемся с небольшого рассказа, А. Байбородин называет одну из причин потери защитного чувства народа — беспамятство, безродность, национальный нигилизм. Главный герой романа повторяет раз за разом, а порой и кричит в отчаянии, казалось бы, прописные истины, касающиеся судьбы русских людей, он видит, как все больше и больше, особенно в «интеллектуальной», полуинтеллигентской среде, даже в сибирской глубинке, торжествует национальное безразличие и равнодушие.



*Александр Казинцев*

## **Возвращение**

**Казинцев, А.**

**Возвращение : статьи / А. Казинцев.  
— М. : Вест — Консалтинг, 2021 — 120 с.**

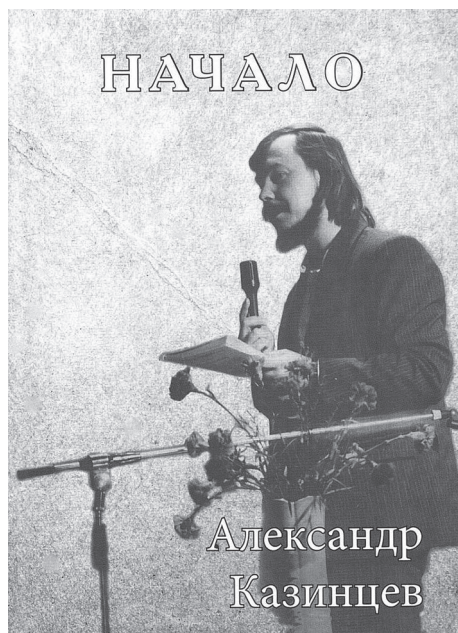
Книга «Возвращение» собрана из статей Александра Казинцева о поэтах Александре Блоке, Борисе Пастернаке, Николае Заболоцком, Осипе Мандельштаме, Павле Катенине. Их судьбах и творчестве, о разных, мучительных путях, но одном общем для этих поэтов стремлении — единения с народом и в результате — со своей землёй.

Написанные великолепным языком, свободно и убедительно, статьи актуальны и сейчас: они о России.

**Казинцев, А.**

**Начало : стихотворения / А. Казинцев. — М.: Вест-Консалтинг, 2021 — 64 с.**

Стихи, собранные в книге, все одного времени — Александру Казинцеву было 19 лет. Тем поразительнее их читать: кроме лёгкости и свежести молодости, в них сила настоящего большого поэта. Про иные и не поверишь, что они написаны юношей. Впрочем, как он сам говорит в Предисловии, это стихи человека, входящего в жизнь. В пору, когда мир открывается перед человеком всеми красками, с сотней цветовых тонов, запахами травы, деревьев, земли и неба. И человек открывается миру, принимает его — обостренным зрением, живой душой и распахнутым сердцем.





**Максимов, В. П.**

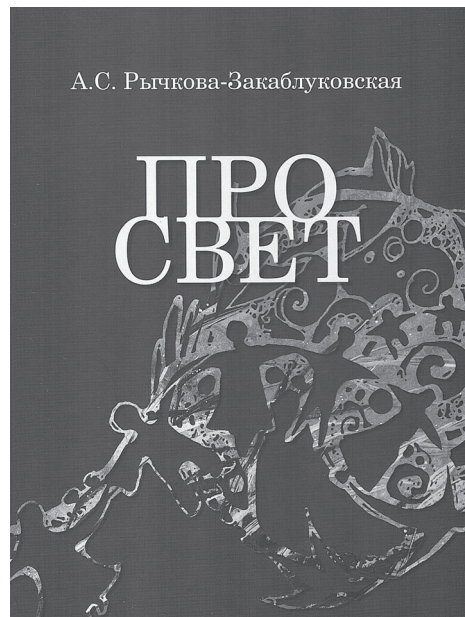
**Ахиллес, Александр Великий и прочие... : повесть, рассказы / В.П. Максимов. — Иркутск : Востсибкнига, 2021. — 272 с.**

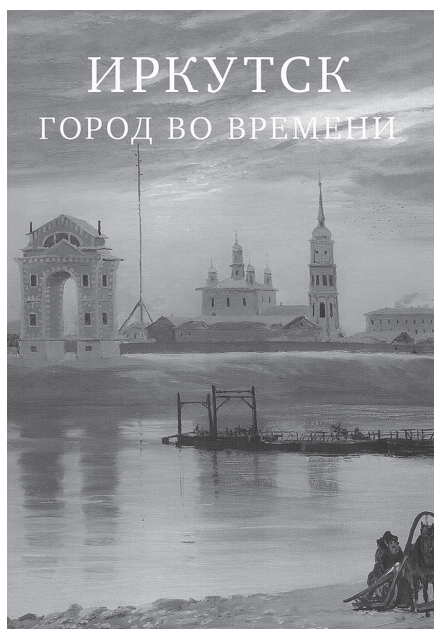
В новую книгу известного сибирского писателя В. Максимова «Ахиллес, Александр Великий и прочие...» вошли произведения, написанные в последние годы. Это историческая повесть из античных времен и рассказы.

**Рычкова-Закаблукская, А.С.**

**Про свет : стихи / А.С. Рычкова-Закаблукская. Востсибкнига, 2021. — 104 с: ил.**

Третья книга поэта Алены Рычковой-Закаблукской раскрывает отношение женщины как хранительницы и продолжательницы рода к миру привычного. Под её влиянием обыденность чудесным образом преобразуется в мифологическое пространство, насыщенное народной символикой, удачно вписанной в контекст современности. Книга издана по решению Издательского совета Иркутского Дома литераторов.





**Иркутск. Город во времени: альбом-каталог / сост: Н.С. Сысоева; вступ. ст.: Н.С. Сысоева, А.И. Голято, М.А. Аверьянова, А.М. Свердлова-Александрова; справочный аппарат: И.Г. Федчина, А.С. Потапова, М.А. Аверьянова, О.П. Юрчук; редактор статей М.Л. Ткачёва; корректор А.В. Кокин; оформление: А.А. Шелтунов. — Иркутск: ИРО ВТОО «Союз художников России»: ИРО ОТПОО «Союз архитекторов России»: ГБУК ИОХМ им. В.П. Сукачёва, 2020. — 392 с.: ил.**

Альбом-каталог и выставочный проект «Город во времени» впервые представляют коллекцию произведений из собрания Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва, частных коллекций, а

также мастерских иркутских художников, посвященных теме городского пейзажа. В издание включены лучшие архитектурные проекты смотра-конкурса XX межрегионального фестиваля «Зодчество в Сибири». Издание содержит вступительные статьи, краткие биографические справки о художниках и каталог произведений. Книга рассчитана на искусствоведов, историков, художников, студентов художественных учебных заведений, а также на широкий круг ценителей изобразительного искусства.

# События



## Высокие награды

Ордена «Звезда Достоевского» за достижения в области духовно-нравственной культуры и благотворительность удостоился известный русский поэт, советник губернатора Иркутской области по культуре **Скиф Владимир Петрович**.



РЕШЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ НАГРАДНОЙ КОЛЛЕГИИ ОРДЕНА «ЗВЕЗДА ДОСТОЕВСКОГО»:

- АЛЕКСЕЙ АМИТРИЕВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (ИРИПРАВНИК Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)
- СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ (КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
- СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ (КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
- ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ (КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ
- КОЛЛЕГИЯ АВТОРАТОВ «ПРЕДВЕРСЬЕ»
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КУРЬЯССА ИМЕНИ В.А. ФЕДОРОВА
- КУРЬЯССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

№039 от 19.02.2021 г.

**СКИФ  
ВЛАДИМИР  
ПЕТРОВИЧ**  
КАВАЛЕР ОРДЕНА  
«ЗВЕЗДА ДОСТОЕВСКОГО»

За достижения в области  
духовно-нравственной культуры  
и благотворительности.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
НАГРАДНОЙ КОЛЛЕГИИ  
Б. В. ВУМИНСТОВ

ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ  
НАГРАДНОЙ КОЛЛЕГИИ  
А. А. ДОСТОЕВСКИЙ

*Доброта сама по себе является без награды,  
и добродетель всегда будет званата  
благими справедливостями. Коллегии,  
рано же, поздно же.*

*Скиф Владимир Петрович*

Москва - Барнаул - Кемерово  
2021

Также ордена «Звезда Достоевского» за достижения в области духовно-нравственной культуры и благотворительность удостоился писатель, главный редактор журнала «Сибирь» **Байбородин Анатолий Григорьевич**.



Девизом ордена послужили слова Федора Михайловича Достоевского: «Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, рано ли, поздно ли».

Кавалерами ордена «Звезда Достоевского» стали также известные в России деятели культуры: митрополит Илларион, митрополит Аристарх, председатель Правления Союза писателей России Иванов Н.Ф., Достоевский Д.А., Крупин В.Н., Куняев С.Ю., Ножкин М.И., Елфимов А.Г., Кердан А.Б., Тарковский М.А., Перминов Ю.П., Бурмистров Б.В., Домбай С.Л. и другие.



## Журнал «Сибирь» удостоился «Золотого Витязя»

Литературно-художественный и культурно-просветительский журнал писателей России «Сибирь» за верность традициям великой русской литературы и в связи с девяностолетием со дня образования стал лауреатом XII Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» 2021 года. Приз был торжественно вручен главному редактору журнала Байбородину А.Г. в Правлении Союза писателей России.

Читателей журнала «Сибирь» уведомляем, что по итогам голосования среди членов иркутской организации Союза писателей России с будущего года журнал будет возглавлять Баранов Ю.И.

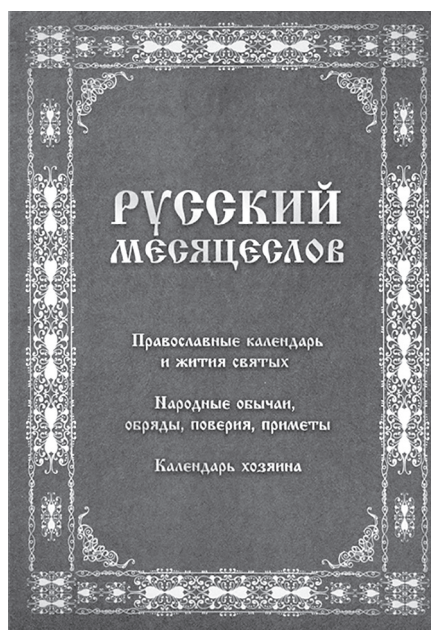




А приз жюри получила книга главного редактора журнала «Сибирь» Анатолия Байбородина «Русский месяцеслов».

Форум объединяет литераторов из разных стран, пишущих на русском языке. Главный критерий — произведения должны отражать девиз форума «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

Николай Бурляев, президент Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», сказал: «Мы должны думать о нашей славянской культуре. Она есть, славянская культура. В этом году мы собрали очень много литераторов, хотя мы не стремимся побить количественные рекорды. У нас иная цель — отбирать тех, кто есть соль земли русской».



## «Сияние России» в Иркутске

С 26 сентября по 2 октября в Приангарье прошли традиционные Дни русской духовности и культуры «Сияние России». Праздник был основан в 1994 году по инициативе оперного певца и общественного деятеля Александра Васильевича Шахматова, а также при поддержке писателей Валентина Распутина и Марка Сергеева, губернатора Иркутской области Бориса Говорина и епископа Иркутского и Ангарского Вадима. В этом году в празднике не смогли принять участие гости из других регионов, однако ценители русского слова не остались без интересных встреч и приятных неожиданностей.

Всего состоялось 17 творческих встреч с писателями и поэтами в ЦБС г. Иркутска и ещё 25 — в учебных заведениях, библиотеках и музеях области. Вот некоторые встречи...

**26 сентября** состоялось торжественное открытие Дней русской духовности и культуры спектаклем по пьесе Валентины Сидоренко «И последние станут первыми» в Театре народной драмы. Пьеса рассказывает о сибирском селе, о людях, сложные судьбы которых оказались избитыми, поломанными и забытыми, как было забыто село, которое они покидали в поисках лучшей жизни. Спектакль стал настоящим подарком для зрителей.

**Утром 27 сентября** иркутские писатели, общественные деятели и просто неравнодушные люди почтили память Валентина Григорьевича Распутина, возложив цветы к его могиле на Некрополе Знаменского монастыря и побеседовав о важности сохранения его культурного завещания.

Позже на Отделении гуманитарно-эстетического образования Педагогического института ИГУ прошла творческая встреча студентов и преподавателей с писателями Владимиром Корниловым, Александром Семёновым, Виктором Балыковым и Валерием Дмитриевским. Они рассказывали о своём творчестве, читали стихи, отвечали на вопросы заинтересованных студентов. Будущим поэтам и писателям было предложено опубликовать свои стихи и заметки в альманахе «Ангарские ворота».

Одновременно в Байкальском государственном музее состоялась встреча с литераторами Олегом Слободчиковым, Василием Забелло, Максимом Орловым, Светланой Аниной (Седых) и Светланой Шегебаевой. Писатели прочитали свои произведения, раскрыли свои творческие лаборатории и призвали развивать вкус, читая сибирских классиков.

Но мероприятия прошли не только в Иркутске. Так, в библиотеке №1 г. Тулун состоялась встреча писателя Николая Зарубина со школьниками. В Пивоваровской средней общеобразовательной школе перед младшеклассниками выступили детские авторы Елена Анохина и Юрий Баранов, а перед старшими ребятами — поэты Владимир Корнилов и Василий Забелло. Литературный десант добрался и до ЦБС г. Усолье-Сибирское, куда приехали Олег Слободчиков, Максим Орлов, Валерий Дмитриевский, Валентина Семёнова и Юрий Харлашкин. А вечером в школе п. Новонукутский презентовал свою книгу «Ставенки резные» поэт Александр Кобелев.

**28 сентября** в университете путей сообщения прошла встреча с писателями Владимиром Корниловым, Олегом Слободчиковым, Светланой Аниной, Валентиной Семёновой и Светланой Шегебаевой. Гости побеседовали о важности сохранения духовных ценностей и культурного наследия, об историческом пути Сибири и прочли свои стихотворения.

Со студентами Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова встретились писатели Олег Слободчиков, Василий Скробот, Елена Анохина, Юрий Харлашкин и Владимир Скиф.

**29 сентября** в Гуманитарном центре им. семьи Полевых состоялась встреча писателей Владимира Скифа, Олега Слободчикова и Юрия Харлашкина, которая собрала читателей разных поколений. Для четвероклассников Владимир Скиф прочитал стихи из книги «Шла по улице корова» и из готовящейся к печати «Мой товарищ медвежонок». Ребята подготовили сюрприз и сами тоже прочитали стихи поэта наизусть. Взрослой аудитории Олег Слободчиков, автор исторических романов, рассказал о загадках освоения землепроходцами и моряками Сибири и Русской Америки, а Юрий Харлашкин по-новому представил события из жизни святых Кирилла и Мефодия, оказавших влияние на создание славянской азбуки.

В научной библиотеке ИрНИТУ перед студентами и учениками 7-го класса школы № 65 выступили Владимир Корнилов, Василий Забелло, Валерий Дмитриевский и Юрий Баранов.

В «Байкальском техникуме права и предпринимательства» со студентами встретились поэты Максим Орлов, Александр Семёнов и Светлана Шегебаева.

Со старшеклассниками «Средней школы Леонова» побеседовали и читали свои стихи писатели Марина Яковенко, Василий Скробот, Валерий Дмитриевский и редактор отдела прозы журнала «Сибирь» Светлана Зубакова.

В ЦБС г. Шелехов прошла творческая встреча с писателями Владимиром Корниловым, Светланой Аниной, Иваном Козловым и Юрием Харлашкиным.

**30 сентября** в Библиотеке № 1 г. Тулун прошла творческая встреча Николая Зарубина со школьниками.

В этот же день состоялись традиционные выезды гостей в Качугский и Усть-Удинский районы. Писатели Олег Слободчиков, Александр Никифоров, Андрей Мирошников и редактор отдела прозы журнала «Сибирь» Светлана Зубакова приняли участие в праздничном вечере, прошедшем в Центральном ДК им. С. Рычковой в п. Качуг.

На родину В.Г. Распутина поехали писатели Владимир Корнилов, Василий Забелло, Александр Семёнов, Валерий Дмитриевский и Юрий Баранов. Их выступление в Межпоселенческом районном ДК Усть-Удинского района также имело успех.

Вечером этого дня в «Музее В.Г. Распутина» состоялась встреча с писателем Александром Лаптевым «России трудная судьба».

Праздник Дни русской духовности и культуры «Сияние России» завершился, оставив в сердцах зрителей и читателей яркие воспоминания. До встречи в следующем году!